Геннадий Черкашин

ВОЗВРАЩЕНИЕ

1 р. 30 к.

Издательство
«Детская литература»

На всероссийском конкурсе
книг для детей и юношества
«РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ»,
посвященном 40-летию ПОБЕДЫ
над фашизмом, за книгу
«ВОЗВРАЩЕНИЕ»
автор был удостоен
Второй премии
Госкомиздата РСФСР и
Союза писателей РСФСР

БЫЛО ОДНО МЕСТО НА ЗЕМЛЕ,

куда я обязан был всегда возвращаться. Всего одно место
на огромной планете — Севастополь.

И БЫЛ ЕЩЕ ОДИН ГОРОД,

куда я обязан был вернуться, — город, где никогда не был,
но куда мечтал попасть мой отец,
погибший в августе сорок первого под стенами этого города,
так и не повидав Владимирской горки, Подола, Крещатика
и замечательных соборов,
самый древний из которых называется Софийским.

И БЫЛ ТРЕТИЙ ГОРОД,

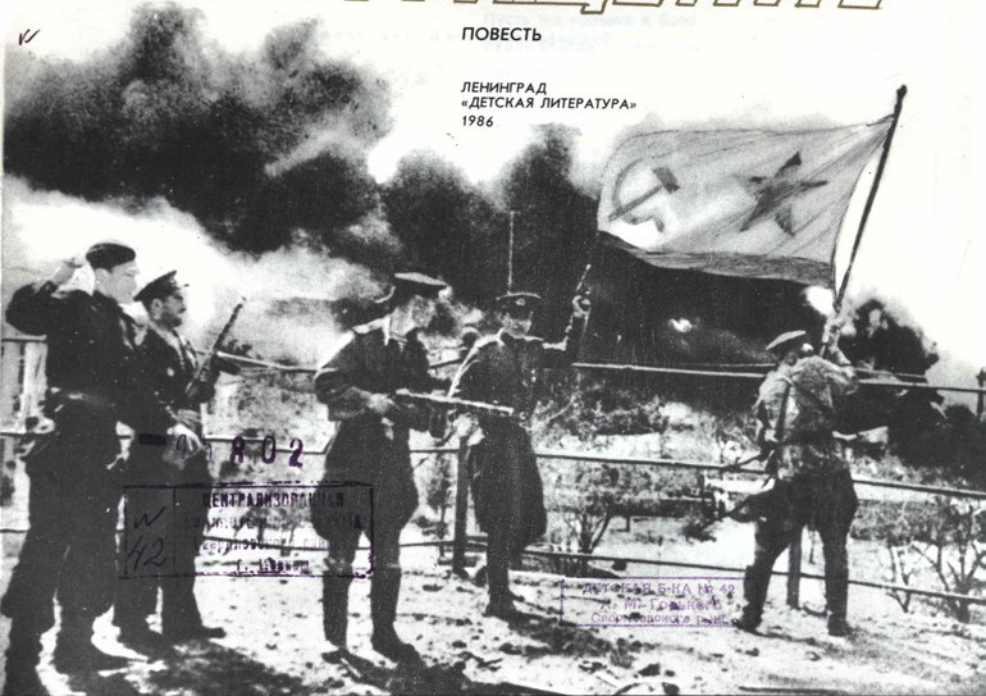
вклинившийся в жизнь каждого из нас не по нашей воле,
который был сам по себе
и тем не менее на протяжении четырех лет
как заноза сидел в каждом
из нас, — украшенный Бранденбургскими воротами город Берлин...

Геннадий Черкашин

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ПОВЕСТЬ

ЛЕНИНГРАД
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1986



802
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
42

Р2
Ч48

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

С. Гагарин — член Союза писателей СССР,
В. Фролов — член Союза писателей СССР,
А. Раздолгин — капитан 2 ранга,
сотрудник Центрального военно-морского музея.

Фотографии на обложке В. Давиденко

В книге использованы фотографии:

В. Давиденко, А. Коркотадзе,
В. Полукеева,
а также фотографии и кинохроника из
фондов Центрального военно-морского музея, Музея
героической обороны и освобождения Севастополя,
Мемориального комплекса «Брестская крепость —
герой».

Оформление А. Карпова

Ч $\frac{4803010102-189}{М101(03)-86}$ Без объявл.

© Издательство «Детская литература», 1985 г.
© Оформление, глава «Интервью для газеты»,
издательство «Детская литература», 1986 г.

Об одном прошу тех,
кто переживет
это время:
НЕ ЗАБУДЬТЕ!..
Терпеливо собирайте
свидетельства о тех,
кто пал
за себя и за вас...

Пусть же павшие в бою
будут всегда близки вам
как друзья,
как родные,
как вы сами!

Юлиус Фучик

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТОТ ИЮНЬ

ГОРЕЧЬ ВОЙНЫ

Война теперь вспоминалась все реже, но даже когда это случалось, все равно все было не так, как на самом деле. Я понимал, что забыл ее. Тогда я делал усилие, заставлял свою память вернуть меня в осажденный Севастополь, и кое-что мне действительно удавалось вспомнить, например как пахнет воздух после взрыва бомбы. Или желто-коричневую грязь на заросших щетиной лицах раненых, которым мы приносили в котелках воду. Но то главное, что было сутью нашей тогдашней жизни, — это не давалось мне, ускользало за брустверы, которыми прожитые годы оградили тот резервуар памяти, где плескалась горечь войны.

Правда, иногда во сне эта горечь каким-то образом просачивалась, и тогда взрывная волна заваливала меня землей и камнями, я был не в состоянии пошевелиться, задыхался, будил себя каким-то невероятным усилием и долго после этого лежал, всем телом ощущая, как гулко стучит в груди сердце. И думал, какое это счастье — никогда не знать войны.

ОТЕЦ

Почему-то это запомнилось, врезалось в память: отец с газетой в руках. Незнакомое мне выражение лица. Его большое, с крупными чертами, мужественное лицо словно окаменело. Он отрывается от газеты, смотрит на маму и говорит:

— Вчера в Москве подписан с Германией пакт о ненападении сроком на десять лет.

— Так это же хорошо, — говорит мама. — Будем еще десять лет жить в мире.

— Да, — соглашается отец. — Нам совсем не нужна война. Но фашизм, как показал процесс над Георгием Димитровым, как показала Испания, коварен, вероломен, подл по всей своей сути. Отсюда и тревога. Пакт, конечно, подписан, но где гарантия, что Германия его не нарушит?..

Еще запомнилось, как он стоял в шинели, высоченный, сильный, и мы с братом одновременно оказались у него на руках — отец подхватил нас и прижал к себе. Щеки царапались о красные кубики на петлицах. Их было у него три — старший лейтенант.

— До встречи.

Серая буденовка украсила его голову. Он подхватил чемодан и вещевой мешок и вышел. Закрылась дверь.

Было начало июня сорок первого года, почему-то холодного.

Его голова еще проплыла за кухонным окном, пересекла проем слева направо...

— Папа будет жить в военных лагерях под Житомиром, его призвали на переподготовку, — пояснила мама младшему брату. Ему было только четыре года, и он любил задавать вопросы.

Я прочитал его письмо тридцать семь лет спустя, письмо, которое он написал вскоре своему другу:

12.6.41.

Добрый день, Аркадий Иванович!

Первым делом ты извини, что долго не писал. Здесь работы намного побольше,

чем у нас в институте, хотя ее у нас и много было. С приездом на вокзал в Житомир меня посадили на машину и прямым сообщением в лагерь, находящийся в 15 километрах от города в прекрасном лесу. В сумерки 4.6.41. я прибыл в лагерь и на следующий день с 7.00 на занятия, до обеда 8 часов и после мертвого часа еще 3—4 часа. А изучать есть что — душа радуется, видя такую технику на вооружении зенитной артиллерии. Поначалу я был в полном смысле слова новичком, а сейчас уже втянулся и считаю, что освою на отлично.

С месяц будем еще заниматься, а потом практическая работа в подразделениях, где я лично буду стажироваться, еще неизвестно. Особых новостей нет. По международным вопросам, кроме газетных новостей, нет никаких. Очень скверно, что мало газет, а дома целых две газеты припадают. В вопросах подписки на военные газеты и журналы в этой части далеко хуже, чем у нас на кафедре.

Последние 5 дней я находился на боевых арт. стрельбах. Письмо начал писать позавчера, а заканчиваю сегодня, то есть 14.6.41 г. Пришлось прерваться, так как заступил дежурить.

Меня, Аркадий, интересует, каковы ваши дела, как закончился учебный год, в особенности по радистам, мотоводителям, снайперам и другим.

Моя просьба к тебе — сооруди мне посылку с несколькими тетрадями, 1 хордоугломер, хорошие измеритель и циркуль (все это от готовальни, чтобы меньше занимало места), метра по два миллиметровой бумаги и кальки, надо много выполнять заданий, а достать всего этого негде.

Я еще 6.6.41. послал жене письмо, но ответа пока нет. Почему-то письма долго идут, мои коллеги есть из Горловки — они приехали на 4 дня раньше, на письма получили ответы через 14 дней.

Напиши мне, уехали ли они или нет? Как мои сынишки? Куда она выехала, чтобы я смог сразу ей написать.

Ну пока. Я сильно устал, ведь сутки совершенно не спал. Не откладывай в долгий ящик, отвечай сразу.

Мой адрес: УССР г. Житомир, мне.

Вложив в конверт фотографию, отец заклеил письмо и отнес его писарю. Пожелтевшие листы сохраняли изгибы, которые он сделал, когда складывал два школьных листа в клеточку. Письмо было написано карандашом, четким красивым почерком.

Он отнес письмо, вернулся в палатку и лег спать...

Мы не получили письмо отца, которое он отправил шестого июня, потому что после его отъезда мама быстро собрала нас и мы уехали к бабушке. В Севастополь.

За Бахчисараем, где меня всегда поражал красивый, в восточном стиле, вокзал с водонапорной башней, поезд втягивался в горы. Сгущались сумерки. В сухой постук колес неожиданно вливался стонущий гул металла — это поезд въезжал на Камышловский мост. Я припадал к открытому окну. За арками и фермами моста чернел жуткий зев пропасти. В простершейся справа по ходу поезда Бельбекской долине уже в домах зажигались огни. Пассажиры восхищались яблоневыми и грушевыми садами, которые густым черно-зеленым ковром устилали дно долины, в их речи слышались названия сел и полустанков: «Сюрень», «Гаджикой», «Дуванкой», «Мекензиевы горы»... Слова были загадочны и прекрасны. Сердце сжималось от какого-то ранее неведомого восторга. Все ярче разгорались звезды над поросшими лесом гребнями низких гор, над плешивыми холмами. Теплый, пахнущий травами воздух наполнял вагон, но появлялся проводник и требовал закрыть окна. «Пойдут туннели, — говорил он, — сажи, дыму набьется... По-оживей, граждане!» Кто-то просовывал руки под лямки ремней и рывком поднимал подвижную раму. Окна за-

крывались со стуком, и вовремя: паровоз, давая гудки, уже заныривал в гору.

Туннели чередовались, как черные полосы на шлагбауме, на какой-то миг за стеклом мелькали пляшущие на рейде огни, по пологой дуге поезд огибал Инкерман, отстукивал дробь на крошечном мостике через Черную речку и, вынырнув из очередной горы, нависал над бухтами и балками Корабельной стороны.

Прильнув к стеклу, я глядел на море. На черную воду, где извивались золотистые змейки. Силуэты громадных кораблей вырастали из воды, словно скалистые утесы, среди звезд раскачивались топовые огни, над водой плыли зеленые и красные огоньки — это по бухте передвигались катера.

Я уже тогда переживал подлинную радость, возвращаясь в Севастополь — в свой родной город. Правда, в моем метрическом свидетельстве стояло название другого города — туда в год моего рождения был переведен отец. Выпускник Севастопольского училища зенитной артиллерии, он был назначен заведовать военной кафедрой в Донецкий индустриальный институт. Рассудив, что беременной жене лучше остаться в материнском доме, чем ехать еще неизвестно куда, отец отбыл. Я родился 13 сентября — в день его тридцатилетия. Мама уже знала, что отцу дали комнату в коммунальной квартире, поэтому она не стала медлить. В чемоданы полетели пеленки, простыни, распашонки, и мы покинули наш город, забыв в предотъездной суматохе оформить факт моего рождения в севастопольском ЗАГСе.

Таким образом, свое первое путешествие я совершил без документов. О том, что мне нужна метрическая, счастливые родители вспомнили не раньше чем через месяц. Уже стоял конец октября, шли дожди, опадала листва на пирамидальных тополях, и мокрые от осенних дождей терриконы шахт более не серебрились в лучах вечернего заката.

Услышав, что я родился в Севастополе, работница местного ЗАГСа округлила глаза и в метрической, которую она заполняла, сделала грамматическую ошибку, написав мое имя с одним «н». Затем она перевела дух и, глядя на родителей с укором, посоветовала в следующий раз сообщать о таких фактах раньше, чем будет испорчен бланк. «Чтобы оформить акт рождения вашего сына, — сказала она, — вам надо ехать в Севастополь». — «Ну так запишите, что мой сын родился в вашем городе», — сказал отец. «Это другое дело», — согласилась работница и быстро заполнила остальные графы.

На фотографиях той поры лица родителей светятся счастьем. Мать гордилась подарком, который она преподнесла мужу в день рождения. Влюбленный в нее отец — а она и вправду была красива — теперь готов был носить ее на руках.

Наверное, то счастье, которое они тогда испытывали, каким-то образом передавалось окружающим, иначе не объяснишь, почему наш пожилой и холостой сосед, обладатель двух смежных комнат, уже вскоре после нашего внедрения в квартиру вошел в комнату родителей и твердым голосом изрек, что он принял решение нас переселить на свою площадь, а самому переселиться на нашу. «Никакие протесты не принимаются, — заявил он и засмеялся: — Вы молоды, вам одного ребенка мало. У вас будут две комнаты: одна детская, а другая ваша. Я ведь, Оленька, вам в отцы гожусь, так что подчиняйтесь».

Через два года в детской нас уже было двое — мама оказалась восприимчивой к советам. Правда, и моего брата она родила в Севастополе и тоже в сентябре, за неделю до нашего с отцом дня рождения. У отца уже полным ходом шли занятия, и поэтому он не смог наведаться к нам, так что встречать маму с новорожденным братом мы отправились вместе с бабушкой. «Он похож на Сашу», — сказала мама, показывая нам круглую курносую

физиономию. Много лет спустя я поразился, насколько женщины могут узнавать черты любимых людей в крохотных мордашках своих младенцев — брат и впрямь вырос похожим на отца.

В тот день, когда отец начал писать письмо своему товарищу, мы вышли на перрон Севастопольского вокзала, где нас ждала бабушка.

Домой добирались трамваем. Идущий с Корабельной стороны трамвай словно взлетал над Южной бухтой с ее пляшущими электрическими змеями-бликами и черными силуэтами кораблей вдоль причалов и, победоносно звякнув, замирал на Пушкинской. Здесь мы делали пересадку на кольцевой маршрут. Теперь за раскрытыми окнами проносились белые красивые дома, просторная площадь Третьего Интернационала с памятником Ленину и белой колоннадой пристани, которую все называли не иначе как Графской. Слева от трамвайной колеи, прижимаясь спиной к Краснофлотскому бульвару, стояло двухэтажное здание Дома Красной Армии и Флота имени Лейтенанта Шмидта, бывшее Морское собрание. Пояснения давала мама, радостная оттого, что вернулась в родной город, бабушка что-то добавляла, и цепкая мальчишеская память все схватывала на лету; не ведал я, что когда-нибудь все это станет невозвратным прошлым, что на месте этого здания, так хорошо описанного Львом Толстым в «Севастопольских рассказах», будет мемориал с названиями кораблей и воинских частей, оборонявших город, сюда будут приносить венки и цветы и наряженные в матросскую форму юноши и девушки будут стоять в почетном карауле.

— Примбуль, — объявляла кондукторша. — Институт физических методов лечения имени Сеченова, следующая — банк и Художественный музей...

Трамвай шел по дуге между Краснофлотским и Приморским бульварами. На высоких чугунных столбах горели шарообразные уличные фонари. На тротуарах было много гуляющего народа, в толпе легко узнавались по белой форме моряки. Возле двух белокаменных киосков, где люди пили шипящую крем-соду, мы вышли, чтобы снова сделать пересадку. В толпе слышался женский смех, перебор гитарных струн. Запах близкого моря, праздничная толпа притягивали, хотелось вместе с мамой присоединиться к этим веселым праздничным людям. Наверное, и мама желала того же, потому что вдруг сказала, улыбаясь: «Люди идут на Приморский. Там, дети, я познакомилась с вашим папой...»

Однажды она рассказала мне, как это произошло.

— В тот вечер мы были на бульваре с Котичком, — начала она.

Котичком мама называла свою молочную сестру, одновременно приходящуюся ей двоюродной тетей, Катю Ковальчук — свою наперсницу и подругу. Фотографии той поры сохранили их облик — худенькие, стройные, подстриженные и одетые по тогдашней моде. Глядя на эту фотографию и слушая маму, я понимал своего отца. Он тоже был парень что надо — высокий, с сильным мускулистым телом и с завидной осанкой — полная противоположность хрупкой, тоненькой, как былинка, девушке, которая сидела со своей родственницей и подругой на скамейке в центре Приморского бульвара.

— И вот мы сидим с ней, — говорила она, — а мимо идут лейтенанты, затянутые портупеями. Прошли они мимо, и вдруг видим: снова идут, значит, что-то их привлекло. Вернее, кто-то... Котичек шепчет: «Олик, это они к нам». И точно. Подходят. Твой отец говорит: «Девушки, можно рядом приземлиться?» А я была девушка гордая и говорю, не глядя на него:

место, мол, не куплено, потому как хотите. А они уже сели, и эти мои слова очень им не понравились. А Котичек меня щиплет за руку — что это, мол, такое я несу. А я уже не могу остановиться, гонор свой показываю. Ну твой отец тоже о гордости вспомнил. Уже на ноги встал, чтобы уйти. И тут Котичек спасла положение. Она его уже где-то видела раньше. Говорит: «Саша, а я вас знаю!.. Да вы садитесь, не обращайте на Ольгу внимание. Садитесь». Они и сели...

Вот и выходило, что отца нам подарила тетя Катя Ковальчук, в замужестве Глухова.

УЛИЦЫ ДЕТСТВА

Да, пока отец в лесу под Житомиром писал нам свое предпоследнее письмо, мы ехали в трамвае по Севастополю. И пусть никого не удивляет, что я так подробно описываю эту нашу поездку; я делаю это нарочно, потому что т о г о С е в а с т о п о л я б о л ь ш е н е с у щ е с т в у е т. Он стерт с лица земли, исчез. Есть еще люди, которые помнят довоенный Севастополь, но они последние, кто хранит облик нашего замечательного города в своей памяти. Когда они его вспоминают, их глаза увлажняются — они все еще любят т о т Севастополь. Они помнят и овальное здание городского банка на улице Фрунзе, где трамвай делал остановку, прежде чем свернуть направо — к приземистому зданию рыбцеха на берегу Артиллерийской бухты. У хлипких деревянных причалов покачивались белые и зеленые ялики рыбаков, баркасы и фелюги.

Базар был тут же, прямо на берегу. Кроме рыбного ряда, где в зависимости от сезона можно было свободно купить и гигантскую камбалу-калкан, и кусок белуги, и золотистую султанку, и скумбрию, и лу-фаря, или пеламиду, и всякую мелочь вроде ставриды, ласкирей, окуньков или бычков, были еще ряды овощные и фруктовые. Правее, чуть подальше, шли, тоже в ряд, мясные крытые прилавки.

Трамвай огибал базар и по деревянному мосту, проложенному над Одесской канавкой, по которой в бухту сливалась вода из городской бани, а в ливни — мутная дождевая вода, выезжал на улицу Щербака. Здесь была рыбокоптильня, извергающая клубы умопомрачительного запаха свежекопченой рыбы, золотистые гирлянды которой развешивались тут же на столбах. Трамвай пересекал Греческий переулок и сворачивал на Константина, где мы уже могли выходить, — дом наш был совсем рядом, но попасть к нему можно было только преодолев высоченную каменную лестницу, поэтому мы обычно ехали дальше по Новороссийской к Херсонесскому спуску: здесь трамвай поворачивал направо, к площади Восставших. В эту площадь и вливалась наша улица Частника. Наша и Шестая Бастионная. Всего две улицы, которые умещались на вершине холма, за которым начинался Карантин.

Много лет спустя я узнал описание этой площади в рассказах и повестях Александра Грина; она всегда была одна и та же — пыльная площадь, за которой виднелось море. Все легко объяснялось: будущий автор «Алых парусов» почти два года провел в Севастопольском тюремном замке, или попросту тюрьме, которая стояла на площади рядом с Первой горбольницей.

По другую сторону на месте Пятого бастиона находилось кладбище Коммунаров. Здесь были похоронены герои революции и гражданской войны, сорок девять подпольщиков, расстрелянных врангелевской контрразведкой, и Петр Петрович Шмидт со своими соратниками: Антоненко, Гладковым и Частником. Расстрелянные на острове Березани близ Очакова, они теперь лежали в севастопольской земле, и памятник — гранитная скала на постаменте

в виде звезды, корабельный якорь с цепью и алый флаг из жести — был таким, каким описал его сам Петр Петрович накануне расстрела. Это обращение к севастопольцам начиналось словами: «После казни прошу...»

Здесь же за оградой стоял обелиск со словами: «Люнет Белкина». В т о т и ю н ь еще не было такого понятия, как п е р в а я героическая оборона Севастополя. Когда говорили об обороне Севастополя, то все понимали, что речь идет о Крымской войне. В Крымскую войну французы располагались по ту сторону Загородной балки — глубокого оврага, который отсекал нашу горку от горы Рудольфа; так что место, где теперь вдоль двух улиц вытянулись три линии домов, в 1854 году было самое что ни на есть передовое, куда сыпались ядра и бомбы и где жужжали свинцовые штуцерные пули. Наш дом находился на территории бывшего Шестого бастиона, а начальные дома обеих улиц примыкали к стенам Седьмого бастиона. За этой пожелтевшей от солнца крепостной стеной уже никто не жил. На узком южном мысу, выдающемся в море прямо напротив Константиновского равелина, в период мировой войны или накануне ее был возведен форт — мощное железобетонное сооружение с капонирами, погребами и площадками для дальнобойных пушек. Таким образом, улица, на которой мы жили, и соседняя Шестая Бастионная южной оконечностью упирались в Пятый, а северной — в Седьмой бастионы, и если бы французам удалось сюда прорваться сквозь наши укрепления, то перед ними открылась бы центральная часть вместе с Сарматским холмом, где стояли самые прекрасные здания той поры: Петропавловская церковь, построенная подобно античному храму, Морская библиотека с Башней Ветров и Дворец главного командира Черноморского флота.

Издали Сарматский, или, как его еще называли, Центральный, холм напоминал дельфина. Дельфин смотрел в открытое море, туда, где дымила трубами неприятельская армада. Думаю, что в сильную подзорную трубу с кораблей можно было разглядеть Малый бульвар с памятником Казарскому, где, несмотря на осаду, по вечерам играла полковая музыка и офицеры прогуливались с дамами, не пожелавшими покинуть осажденный, обстреливаемый город.

Да, окажись французы за редутами Пятого или Шестого бастионов, им бы ничего не стоило накрыть из пушек Малый бульвар и часть гавани между Константиновской и Павловской батареями, включая Артиллерийскую бухту. Но они не прорвались, они так и не смогли прорваться здесь за все 349 дней обороны.

Если с восточной стороны нашего холма были видны центральная часть города, самая широкая часть бухты и Северная сторона, то с западной стороны можно было разглядеть извилистую, как зигзаг молнии, Карантинную бухту, где тогда базировались торпедные катера. За бухтой, на том ее берегу, высились темно-серые строения Херсонесского музея и строгое, удивительно пропорциональное здание Владимирского собора. Нужно сказать, что в Севастополе было два Владимирских собора. Первый, который еще называли Адмиральским храмом, высился в центре Сарматского холма, являясь одновременно пантеоном великих адмиралов — мореплавателей, флотоводцев, воинов. По ступеням можно было спуститься в подземелье и увидеть четыре мраморных плиты с именами Лазарева, Нахимова, Корнилова и Истомина. Первооткрыватель Антарктиды и три его воспитанника в 1827 году бок о бок сражались на палубе легендарного «Азова» в Наваринском бою, и когда учитель скончался за три года до Крымской войны, его ученики решили оставить место рядом с ним для себя. И все трое нашли свою смерть на Малаховом кургане, первым был Корнилов, последним — Нахимов.

В подземелье было еще немало могил адмиралов, известных моряков, похороненных здесь в разное время.

Второй Владимирский собор был возведен в конце прошлого века на месте базилики, в которой, по преданию, венчался киевский князь Владимир. Овладев Корсунем, как называли Херсонес на Руси, князь принял в храме на берегу моря христианство, а затем обвенчался с сестрой византийских императоров Василия и Константина Анной. Из Херсонеса Владимир вывез в Киев тех самых первосвященников, которые и окрестили «в Днепре Русь».

Однако меня в ту пору не интересовала история, я был влюблен в корабли. Я мог часами смотреть на линкор «Парижская Коммуна», даже на линкоровский катер — знаменитый на весь флот «самовар» с надраенной трубой, который курсировал между линкором и Графской пристанью. Я знал все крейсера, миноносцы, эсминцы. Знал, где они стоят. В те июньские дни, когда мы приехали в Севастополь, эскадры здесь не было: флот ушел на учения. По нескольку раз в день я бегал к карантинской лестнице и смотрел, не возвращаются ли корабли.

Над Херсонесом спускалось огромное оранжевое солнце. По шоссе пастух Коля гнал коров и коз. Он пас их на Гераклийском полуострове, так называлась земля к западу от Херсонеса. Там были бухты: Стрелецкая, где стояли тральщики и морские охотники, на которых служил тети Катин муж дядя Митя; Омега, славящаяся своими пляжами и самой теплой на побережье водой; Камышовая и Казачья. На самом дальнем мысу стоял Херсонесский маяк, по которому моряки ночью находили путь в Севастополь. Ближе к Балаклаве высился над морем мыс Феолент, где до революции был Георгиевский монастырь. На карте Гераклийский полуостров имел вид корявого треугольника.

Я видел, как бабушка забирает из стада корову Звездочку. В нашей слободе многие тогда держали коров или коз — это не запрещалось, мы были окраиной.

Я не уходил следом за ней, выжидал: авось на горизонте появятся дымы... Вечерний бриз освежал тело. За купол Владимирского собора в Херсонесе опускалось солнце. Солнце растворялось в море, как брошенный в воду кружок акварельной краски. Среди разжиженной синевы к горизонту плыл золотисто-оранжевый клин... Я радовался, что еще один день окончился. Их оставалось сначала четыре... потом три... потом два... потом один день, последний.

Эскадра вернулась в Севастополь 20 июня...

ПОСЛЕДНИЙ МИРНЫЙ ДЕНЬ

Тот последний мирный день был субботним.

Проснувшись, я выпил кружку парного молока и понесся на угол, откуда открывалась панорама города с центральной частью гавани. День был ясным, бухта голубой, на кораблях пели трубы. Высокий и чистый звук летел над городом, возвещая, что день настал и сейчас по древнему обычаю на кораблях будут подняты флаги. Линкор и крейсера стояли на Большом рейде на якорях. Линкор стоял впереди всех — настоящая плавучая крепость: мощные башни с двенадцатидюймовыми дальнобойными орудиями, бортовые пушки, тонкие стволы зенитной артиллерии... Такому никакой враг не страшен, один линкор стоил десяти крейсеров, так я думал. Ну если и не десяти, то пяти уж точно.

Звонкие трубы допевали свою утреннюю песню. Было видно, как на палубах кораблей, вытянувшись в струнку, выстроились на подъем флага командиры и краснофлотцы.

Я был уверен: вырасту — стану моряком. Не зенитчиком, как отец, а моряком! Моряками были дед, прадед, прапрадед, все бабушкины братья. В Стрелецкой бухте в военно-морском училище на втором курсе учился Георгий — мамин брат. По субботним и воскресным дням курсантов отпускали в увольнение, и я с нетерпением ждал его и трех его друзей. Бабушка уже к их приходу замесила тесто для пирогов с вишнями, мама сходила на базар, будет пир горой, думал я. А на военном аэродроме Мамайя близ Констанцы уже подготавливались к дальним полетам «Юнкерсы-88» и «Хейнкели-111» 27-й бомбардировочной эскадры «Бельке» 4-го воздушного флота Германии. Это были двухмоторные самолеты, способные нести две-три тонны бомбового груза или мин со скоростью четыреста километров в час.

Да, могучий космический механизм продолжал с заданной скоростью раскручивать земной шар и гнать его по орбите, а древний символ этого вечного движения — свастика, узурпированная фашистами в качестве символа высшей расы, украшала хвостовое оперение самолетов, уже нацеленных на наш город.

Вечером калитка отворилась, и во двор один за другим вошли четыре курсанта в белоснежной форме, и мама, всплеснув руками и воскликнув: «Ну прямо вылитые лебеди!» — стала целовать своего младшего братишку. Два Юры и Миша тем временем здоровались с бабушкой. Стол в беседке уже был накрыт. Пока мы переодевались, пришла Катюша. На ней было белое платье и белые парусиновые спортсменки. Школьная дружба и у нее и у моего юного дяди переросла в любовь. В сорок пятом или в сорок шестом Катюша откуда-то приедет в Севастополь со слабой надеждой, что ее любимый человек все-таки жив. Она разыщет нас, и на том самом месте, где сейчас она сидит рядом с Георгием, она будет тихо плакать, глядя на молодое улыбающееся любимое лицо курсанта на фотографии.

После ужина они своей компанией упорхнули на Приморский бульвар, а мы — мама, братишка и я — отправились следом. То и дело нам навстречу попадались выпускники школ — с гитарами и цветами они торопились на выпускной бал. Из открытых окон доносились бодрые ритмы «Рио-Риты» и пленительное танго «Брызги шампанского».

На Приморском играл оркестр. Мы прошли по кругу, где отец впервые подошел к маме, а затем спустились к морю. Садилось солнце. Среди заштилевшей, переливающейся всеми цветами радуги воды стоял Памятник затопленным кораблям. Тогда он казался высоким. Архитекторы и скульпторы, творя памятники, еще не страдали гигантоманией, они умели делать величественные вещи за счет одной лишь соразмерности деталей и творческой выдумки, и памятник на Приморском бульваре эстонского скульптора Адамсона был так же прост и величествен, как Медный всадник Фальконе. Он стоял на фоне заката, символизируя морскую доблесть и боль утраты, — топить собственные корабли даже в высших целях — дело не шуточное. Через восемь часов рядом с памятником разорвется мина, поранив осколками гранит. А пока на набережной перед памятником под доносившуюся музыку духового оркестра, играющего что-то веселое, танцевали девочки в воздушных платьицах с пышными бантами в волосах и под ручку с девушками прогуливались бронзоволицые краснофлотцы в лихо заломленных бескозырках. На лотках продавали витые бутылки с фаянсовыми пробками, наполненные сельтерской, крем-содой или бузой, белые шайбы сливочного мороженого, обложенные вафельными кругляшками, конфеты. В ящиках валялись использованные картонные стаканчики.

Жорика и Катюшу мы увидели на камен-

ном мостике. Они были одни, и их плечи были рядом. С каким-то одинаковым мечтательным выражением они смотрели на заходящее солнце. Нас они не видели, и мама не стала их окликать. Мы прошли рядом.

На небе уже появились звезды, когда мы вернулись домой. Мама быстро уложила нас спать и пошла в беседку, где сидела бабушка.

ПЕРВАЯ НОЧЬ ВОЙНЫ

Эта ночь отпечаталась в памяти, как лист папоротника на сколе извлеченного из земли угля. И потому я не могу ее забыть. Помню...

Проснулись мы от какого-то сильного толчка. Дребезжали оконные стекла, а сам дом, казалось, ходит ходуном.

— Дети, вставайте! Землетрясение! — кричала мама, выдергивая нас из постели. — Быстрее на улицу!..

Она была в одной ночной рубашке. Младшего брата она схватила на руки. Я еле поспевал за ней. Из калиток на улицу один за другим выскакивали полуодетые люди. Знаменитое Ялтинское землетрясение еще свежо было в памяти, и соседи, так же как и мама, первым делом предположили спросонья, что начались подземные толчки. Однако стоило взглянуть на небо, где, перекрещиваясь, метались лучи прожекторов, как мысль о землетрясении сменилась уверенностью, что начались учения. В последние месяцы внезапные ночные учения стали довольно обычным делом. Сколько раз вот так среди ночи вдруг начиналась пальба, прожектора выхватывали из мрака самолет с «колбасой» — брезентовым мешком, который на буксире волочился за самолетом, и к нему — к этой летящей мишени — протягивались светящиеся пунктирные дорожки — то учились стрелять по самолетам зенитчики и пулеметчики.

— Чтой-то они сегодня так рьяно воюют, — пробурчал кто-то недовольным голосом. — Как бы стекла не повылетали...

Звон разбитого стекла раздался тут же, и это возмутило потревоженных ночными залпами людей.

— Да погодите вы канючить, глядите — ведь стреляют не по «колбасе»... Ее вообще нет... Стреляют ведь прямо по самолету...

Эти слова, сказанные встревоженным голосом, я помню до сих пор. Почему только один из всех собравшихся на улице полураздетых людей заметил, что зенитки, скорострельные пушки и крупнокалиберные пулеметы бьют прямо по оказавшемуся в перекрестии прожекторов самолету?! Он летел над бухтой в сторону Братского кладбища, издавая какой-то непривычный, низкий, гнетущий гул.

— Товарищи, это не учение, это война!

— Какая война?! Что вы такое говорите?!.

Я не видел говорящих. Я смотрел на небо. На этот высеребренный прожекторными лучами самолетик, вокруг которого лились золотые струи трассирующих пуль. Все это было очень красиво! Жутко и красиво! Самолет внезапно лег на левое крыло и словно провалился. Лучи беспорядочно заметались, пытаясь снова обнаружить исчезнувшую цель, но вместо самолета осветили купола парашютов. Кажется их было три. Три парашюта, которые плавно спускались над бухтой.

— Воздушный десант! — ахнула какая-то женщина.

Ее никто не поправил. В звенящей, внезапно наступившей тишине кто-то негромко спросил:

— Который час?

Мама в суматохе не успела надеть часы. Но кто-то сказал:

— Четверть четвертого.

И тут же вскрик:

— Тише, опять летит!..

Действительно, где-то над горой Рудольфа гудел самолет. Туда же метнулись и щупальца прожекторов.

Прожектористы выудили его, когда он пролетал над Пятым бастионом.

Он летел прямо на нас.

Летел низко.

Бомбардировщик с черными крестами на крыльях. И я еще подумал, что эти кресты совсем такие, какими украшают машины «скорой помощи», только черные. Задрав голову, я смотрел на эти кресты, когда от крыла, от нижней его плоскости отделился какой-то предмет и полетел прямо вниз.

— Бомбят! Хватайте деток! Ховайтесь!..

Эти истошные крики будто подстегнули маму, она схватила нас за руки и поволокла к калитке, где стояла бабушка. Я оглянулся и увидел, как наверху раскрывается парашют. Самолет уже приближался к Хрусталке, он тоже летел к бухте — туда, где стояли корабли, и вокруг него сверкали и искрились, словно искры бенгальского огня, разрывы зенитных снарядов.

Подчиняясь порыву, я выдернул руку и, не обращая внимания на крик матери, понесся туда, куда спускался парашют. Я хотел увидеть, как будут брать диверсанта. Разве можно было пропустить такое... И я не пропустил. Выскочив на угол, я увидел, как в том месте, куда опустился парашют, вдруг вздыбился огненный столб, меня оглушило и обдало горячей волной.

Я стоял и смотрел на зарево пожара, когда мамины пальцы вцепились в мое плечо.

— Не смей! — задыхаясь, проговорила она. — Не смей никуда убегать!..

Сильный новый взрыв в районе Приморского бульвара на секунду заглушил канонаду. Мамины пальцы судорожно сжались, и я ощутил в плече саднящую боль.

Помню, что было светло как днем. И туда, где полыхал пожар, бежали мужчины с ведрами...

ИХ БЫЛО ТРОЕ

Их было трое, погибших в доме на углу Греческого переулка и Подгорной улицы за пятьдесят семь минут до «времени Ч», когда в соответствии с планом «Барбаросса» гитлеровцы по всему фронту от Черного до Баренцева моря перешли нашу Государственную границу.

Их было трое — маленькая девочка, ее мама и бабушка.

22 июня во второй половине дня их останки похоронили на кладбище в десяти шагах от церковного входа, почти напротив дверей. Кто мог предположить, что война унесет более двадцати миллионов жертв. Эта самая первая жертва Великой Отечественной войны в т о т д е н ь показалась чудовищной.

Александра Белова
Варвара Соколова
Леночка Соколова.

Эти имена стоят первыми в списке жертв Великой Отечественной войны.

Еще не погиб ни один солдат.

День «Д» уже начался, но «время Ч» еще не наступило.

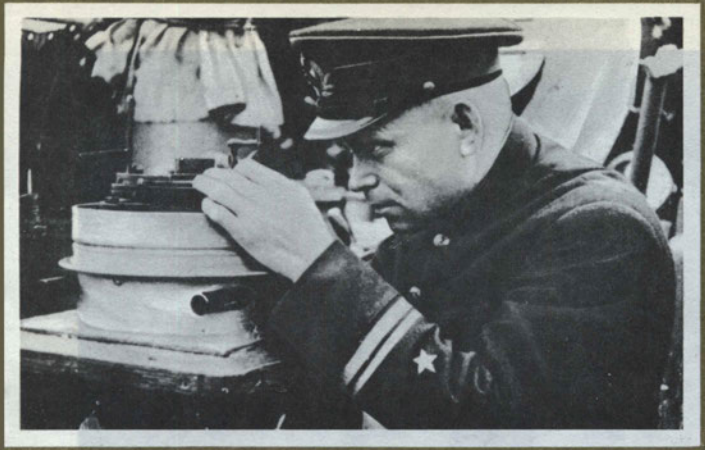
Их уже убили.

Ничто так не доносит время, как старые фотографии. Фотография конкретнее живописи, время, запечатленное в кадре, столь же конкретно, как годовые кольца на срезе дерева. Поэтому двадцатилетия спустя фотоснимки, снятые для семейных альбомов, неожиданно обретают силу документа и, собранные воедино, они позволяют воссоздать зримую картину целого поколения.

Вглядитесь в эти улыбчивые лица. Так выглядели ваши предвоенные сверстники. В сороковом они получили аттестаты зрелости, в сорок пятом ребят из этого класса уже не было в живых, погибли, защищая Родину.

Эта фотография сделана весной сорок первого года. Моему юному дяде восемнадцать лет. В декабре того же года он, командир отделения морских пехотинцев, погиб на Мекензиевых горах.

Они встретились на Приморском бульваре: тетя Катя, мама, отец, его товарищ по зенитному училищу. В один из воскресных дней решили сфотографироваться на память: товарищ отца отправлялся для прохождения службы на Дальний Восток, где подозрительную активность начали проявлять японские самураи. Тетя Катя грустит, она еще не знает, что выйдет замуж за моряка Дмитрия Глухова...



Вот он — дядя Митя... Дмитрий Андреевич Глухов, чей портрет я увижу в Новороссийске в сквере у Вечного огня. Со временем о нем будут написаны книги, его образ вдохновит кинематографистов на создание фильма. В фототеке Центрального военно-морского музея я нашел эту и другие его фотографии...

А эта фотография была сделана за несколько дней до начала войны. Отец на переподготовке в лагере под Житомиром, он в белой гимнастерке, улыбается...

КРАСНЫЕ СТЕНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

МАЙСКИЙ БРЕСТ

В Брестскую крепость я попал в мае семьдесят девятого года. После Ленинграда, где Нева переносила в Финский залив будто засахаренные ладожские льдины и воздух был холодным, как заиндевевшее стекло, майский Брест показался летним, знойным, остро пахло клейкой тополиной листвой.

В холле гостиницы, где проходила регистрация прибывших на совещание писателей, художников, издателей и сотрудников журналов, было, как всегда в таких случаях, оживленно, шумно.

Восклицания, рукопожатия, объятия. Я узнавал знакомых москвичей, киевлян, бакинцев, минчан, меня тоже узнавали, окликали. Кто-то громко повторял, что вечером мы все пойдем в Брестскую крепость, и называл время сбора, кто-то раздавал список участников и программу совещания.

Когда в назначенный час мы все собрались перед гостиницей, в руках у женщин были цветы. Красные гвоздики на длинных ножках.

Я еще не знал, что через каких-то двадцать минут я снова вернусь в т у н о ч ь.

В е р н у с ь, а затем стану писать эту книгу, о которой я еще тоже ничего не знаю.

Ее еще нет — этой книги, нет ее названия: «В о з в р а щ е н и е», еще н и ч е г о н е т.

Я просто еду в автобусе. Еду, смотрю в окно. И с волнением жду, когда нас привезут в Брестскую крепость...

ГОЛОС ЛЕВИТАНА

Мы как раз подошли к воротам, ведущим в крепость, когда автоматически включились громкоговорители и на нас обрушилось надрывное завывание приближающейся воздушной армады, громкое, все нарастающее пение ветра в стабилизаторах бомб и грохот близких разрывов. Машинально я определил, где упадут эти бомбы, и понял, что нужно немедленно бросаться в траву и накрывать голову руками. В свое время я этого не сделал — упал на землю, но голову не прикрыл, и осколок чиркнул по левому плечу, но, не задев лопатки, словно скальпелем снес кожу на макушке. Я оказался везучим: три-четыре миллиметра ниже и все было бы кончено.

Теперь былое нахлынуло, голос Левитана, возвещающий о коварном нападении фашистской Германии, только подлил масла в огонь — и я почувствовал, что задыхаюсь.

Внезапно куда-то исчез запах молодой листвы. Сердце гнало кровь толчками, словно это была не кровь, а тяжелая ядовитая ртуть, ломило в висках.

«Это всего лишь магнитофонная запись», — сказал я сам себе, но уловка не помогла. Во мне, оказывается, таилось нечто более сильное, чем рассудок. И это нечто теперь вырывалось из резервуара памяти, где все эти десятилетия плескалась, но не находила выхода та самая горечь войны, которую я, сам того не подозревая, впитал словно губка. Голос Левитана, надрывные завывания пикирующих самолетов,

выстрелы и разрывы бомб все разом воскресили, и вспомнились бешеная пляска прожекторов, лица полураздетых людей в сполохах света, мать, которая в одной ночной рубашке, босая гонится за мной по дороге, и самолеты с намалеванными черными крестами...

РЕТРО

Это были бомбардировщики дальнего действия «Юнкерсы-88» и «Хейнкели-111» 27-й бомбардировочной эскадры «Бельке». Они взлетели с аэродрома близ Мамайи, с румынской земли, и, выстроившись ромбом, взяли курс на восток — на «остен». За штурвалами сидели асы ночных полетов, не единожды бомбившие города Англии, Франции, Польши, Бельгии, Голландии, английские военно-морские базы на островах Средиземного моря. Теперь настал черед России. Фюрер изрек: «Задача Германии в отношении России состоит в том, чтобы разбить вооруженные силы, уничтожить государство... Война будет резко отличаться от войны на западе. На востоке жестокость является благом для будущего». Жестокая молниеносная война. Изгнанные за Урал — в пустынные сибирские земли, в болота, тундру, в глухие леса жалкие остатки «славянского сброда» будут обречены на вырождение. Ну а затем, когда будет завоевана оказавшаяся в изоляции Британия, когда надменные англичане поднимут свои лапки, моля о пощаде, когда вся Европа падет к ногам фюрера, прибрать к рукам остальной мир уже не составит труда. Конечно, уйдут годы на то, чтобы установить на планете единый порядок, где каждому народу в зависимости от чистоты расы будет определена своя роль и образ жизни, но игра стоит свеч.

Самолеты летели без опознавательных огней, лишь мертвый фосфорический свет приборов да свет ярких южных звезд падал на сосредоточенные лица пилотов. Из приказа, который был им зачитан на аэродроме, вытекало, что им, именно им фюрер доверил нанести первый удар в этой войне с русским колоссом. Поставленная задача была сложна: положить новые, обладающие громадной разрушительной силой, морские мины на фарватер в севастопольской гавани и тем самым закупорить горловину обширной бухты, в которую, как донесла агентура, вернулись после учений корабли Черноморского флота. По данным все той же агентуры, Севастополь был празднично иллюминирован: там весь субботний вечер продолжалось гуляние, и это облегчало задачу: в ясную ночь залитые электрическим светом города похожи на лоскуты звездного неба, небрежно брошенные на землю. Разбросанный же на холмах Севастополь должен был походить на гирлянду рождественских лампочек...

Теперь-то я это знаю, знаю, каким гитлеровцы в т у н о ч ь увидели Севастополь. С погашенными огнями город уже был неразличим в ночном мраке, лишь один створный маяк — Верхний Инкерманский — продолжал слать сигналы, мигать, выдавая и себя, и наш город. Но смотритель маяка здесь был ни при чем: он просто не знал, что ему следует вырубить маяк. Сработали немецкие диверсанты, перерезав провода телефонной связи с маяком. Но главное уже случилось — Севастополь был готов к отражению налета вражеской авиации.

ТЕЛЕГРАММА НАРКОМВОЕНМОРА

В Севастополе телеграмму наркома ВМФ Н. Г. Кузнецова начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал И. Д. Елисеев получил в 1 ч а с 03 м и н у т ы н о ч и. Текст телеграммы был кратким и четким,

как математическая формула: «СФ, КБФ, ЧФ, ПВФ, ДРФ. Оперативная готовность № 1 немедленно. Кузнецов».

Но еще раньше, чем пришла эта телеграмма, Николай Герасимович Кузнецов связался с Елисеевым по прямой телефонной связи.

— Вы еще не получили телеграммы о приведении флота в боевую готовность? — услышал Елисеев голос наркома. — Идет первый час ночи, телеграмма уже должна была дойти до флотов.

— Нет, товарищ нарком, еще не дошла, — доложил Елисеев.

— Тогда, не дожидаясь телеграммы, переводите флот на оперативную готовность номер один — боевую. Повторяю — боевую! Действуйте без промедления! Доложите командующему.

— Есть, товарищ нарком, — ответил Елисеев и положил трубку.

Приведение флота в боевую готовность № 1 автоматически означало готовность начать военные действия. Елисеев взглянул на часы и подумал о том, что с краснофлотцами все в порядке, кроме сверхсрочников, которым разрешалось ночевать в семье, все остальные уже на кораблях и в частях, но вот командиры, кроме вахтенных, первую после учения ночь проводят дома. К ним следовало срочно отправить оповестителей.

Раздумывать было некогда, и Елисеев отдал соответствующее приказание.

По пустынным улицам все еще освещенного города понеслись машины и мотоциклы с оповестителями, побежали рассыльные. Это был скрытный способ оповещения. При всех его достоинствах к приходу телеграммы наркома уже стало ясно, что при таком способе оповещения полный переход на боевую готовность произойдет слишком медленно, и Елисеев приказал объявить «Большой сбор». В ту же минуту над Константиновским равелином взлетели ракеты и на сигнальной мачте Павловского мыска зажглись условленные огни. Несколько выстрелов, которые произвел на Константиновской батарее лейтенант Заика, также были сигналом тревоги. В домах, где на ночь не выключили радио, послышалось шипение и мужской голос объявил «Большой сбор» для всех военнослужащих — это к радиосети города подключился узел связи Дома Красной Армии и Флота. Около двух часов ночи Севастополь уже погрузился во тьму. И уже в полной темноте началась погрузка на корабли снарядов, торпед и мин. На береговых и зенитных батареях, куда из штаба Береговой обороны был передан сигнал, обозначающий готовность № 1, снимались предохранительные чеки, чехлы, опробовались механизмы. В 2 часа ночи флот уже полностью перешел на оперативную готовность, еще через полчаса об этом же отрапортовали все береговые батареи.

В 3 часа 07 минут ночи с постов наблюдения, где стояли чуткие звукоулавливатели, начальнику противовоздушной обороны полковнику Жилину поступило донесение, что со стороны моря приближаются самолеты. Жилин набрал телефон оперативного дежурного по штабу флота капитана 2 ранга Рыбалко. Выслушав Жилина, Рыбалко соединился с командующим флотом вице-адмиралом Октябрьским и доложил, что к Севастополю приближаются неизвестные самолеты.

— Есть ли наши самолеты в воздухе? — спросил Октябрьский.

— Наших самолетов в воздухе нет! — доложил Рыбалко.

— Имейте в виду, если в воздухе есть хоть один наш самолет, вы завтра будете расстреляны!

«Комфлота говорит не о том», — подумал Рыбалко.

— В случае нарушения воздушного пространства разрешите открыть огонь? — спросил он.

Комфлота явно медлил с ответом. Наконец он проговорил:

— Действуйте по инструкции.

И повесил трубку.

А Жилин ждал на другом конце провода.

— Что приказал комфлота? — спросил Елисеев.

— Приказал действовать по инструкции.

Глаза Рыбалко и Елисеева встретились. В эту секунду каждый из них понимал, чем они рискуют.

— Передайте полковнику Жилину приказание открыть огонь! — проговорил Елисеев.

Рыбалко поднял трубку и скомандовал:

— Открыть огонь!

И услышал в ответ громкий голос начальника противовоздушной обороны:

— Имейте в виду, вы несете полную ответственность за это приказание! Я записываю его в журнал боевых действий...

— Записывайте куда хотите, но открывайте огонь! — рявкнул Рыбалко и бросил трубку. Затем, погасив свет в комнате, он отдернул плотную штору. Через окно ему было видно, как в небо над Севастополем уперлись десятки прожекторных лучей. В ночи они казались ослепительно белыми. Вспышки зенитных орудий он увидел раньше, чем до штаба докатилась канонада. И еще он увидел в бинокль светло-зеленые купола парашютов. Парашюты спускались к воде...

ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ГАЗЕТЫ

Однажды «Комсомольская правда» опубликовала беседу своего корреспондента Василия Пескова с Маршалом Советского Союза Георгием Константиновичем Жуковым.

П е с к о в. Георгий Константинович, всякий раз, вспоминая войну, мы неизбежно возвращаемся к ее началу. Вы были начальником Генерального штаба. Что вы знали о приближении войны? Каким для вас было утро двадцать второго июня?

Ж у к о в. О подготовке Германии к войне с нами к середине июня скопилось довольно много сведений. Разумеется, обо всем этом докладывалось Сталину, но он относился к этим сведениям с преувеличенной осторожностью.

Двадцать первого июня мне позвонили из Киевского округа: «К пограничникам явился перебежчик — немецкий фельдфебель. Он утверждает, что немецкие войска выходят в исходные районы для наступления и что война начнется утром двадцать второго июня». Мы с маршалом Тимошенко и генерал-лейтенантом Ватутиным немедленно поехали к Сталину с целью убедить его в необходимости приведения войск в боевую готовность. Он был озабочен.

П е с к о в. А может, перебежчика к нам подбросили, чтобы спровоцировать столкновение?..

Ж у к о в. Приказ о приведении армии в боевую готовность был передан войскам в ночь на двадцать второе июня. Работникам генштаба и наркомата обороны в эту ночь было приказано оставаться на своих местах. Все время шли непрерывные переговоры по телефону с командующими округов. В двенадцать часов ночи из Киевского округа сообщили, что в наших частях появился еще один немецкий солдат. Он переплыл реку и сообщил: «В четыре часа немецкие войска перейдут в наступление...»

В три часа семнадцать минут позвонил командующий Черноморским флотом: «Со стороны моря подходит большое количество неизвестных самолетов...»

Война... Я немедленно позвонил Сталину, доложил обстановку и попросил разрешения начать ответные боевые действия. Он долго не отвечал. Наконец сказал: «Приезжайте в Кремль...»

В четыре часа тридцать минут мы с Тимошенко вошли в кабинет Сталина. Там уже были все члены Политбюро. Сталин, бледный, сидел за столом с нераскуренной трубкой. Он сказал: «Надо позвонить в германское посольство...» В посольстве ответили, что посол граф фон Шуленберг просит принять его для срочного сообщения...

П е с к о в. Итак, приближение войны чувствовалось. В чем же причина промедления с приведением страны в боевую готовность?

Ж у к о в. Одна из важных причин состоит в том, что Сталин был убежден: войну удастся оттянуть, удастся закончить перестройку и оснащение армии. Он опасался, что наши действия будут предлогом для нападения. Судить о моменте, сложившемся перед войной, надо с учетом сложной международной обстановки того времени. Многое было неясным. Англия и Франция вели двойную игру. Они всеми силами толкали Гитлера на восток. Опасаться разного рода провокаций были все основания. Но конечно, осторожность оказалась чрезмерной. И мы, военные, вероятно, не все делали, чтобы убедить Сталина в неизбежности близкого столкновения...

Помню, читая это интервью, я думал о том, что Георгию Константиновичу Жукову перед войной было немногим больше сорока. Его незаурядный талант полководца полностью открылся за годы войны, по всеобщему признанию, второго такого военачальника в мире не было, в сорок пятом это вынуждены были признать и враги. В нашей отечественной истории его имя теперь стоит рядом с именами Александра Невского, Дмитрия Донского, Суворова, Кутузова, и закономерно, что в последние годы мы постоянно встречаем образ Георгия Константиновича Жукова на киноэкранах — в художественных и документальных кинофильмах. Подобно Суворову и Скобелеву, Жуков не знал поражений, он очень много сделал для победы, но, как это видно из ответов Василию Пескову, маршал не снимает своей ответственности за ошибки и неудачи в начале войны. В своих мемуарах он посчитал нужным рассказать, как 14 июня он и нарком обороны С. К. Тимошенко посетили И. В. Сталина и, ссылаясь на данные разведки, сообщили о тревожном настроении в приграничных округах, однако на предложение привести войска в полную боевую готовность Сталин сказал: «Не во всем можно верить разведке».

«Ушли мы из Кремля с тяжелым чувством, — много лет спустя напишет, вспоминая этот день, полководец. — Я решил пройтись немного пешком. Мысли мои были невеселые. В Александровском саду возле Кремля беспечно резвились дети. Вспомнил я и своих дочерей и как-то особенно почувствовал, какая громадная ответственность лежит на всех нас за ребят, за их будущее, за всю страну...»

Играющие дети и обостренное чувство ответственности за судьбы страны — одно неотделимо от другого. Наверное, таков закон жизни. Наверное, поэтому мы и собрались в Бресте — взрослые люди, пишущие для тех, кому не в столь далеком будущем принимать все ту же ответственность за судьбу Родины.

В Бресте многие выступающие говорили о том, что о войне нужно писать мужественно и честно. Вспоминали не только книги удавшиеся, талантливые, правдивые, но и те, где война показывалась упрощенно, где авторы, изображая врага, забывали о том, что перед началом Отечественной войны гитлеровская армия была сильнейшей в мире, что во главе ее стояли генералы с большим военным опытом, а грозную военную технику, которую в большом количестве производили на заводах Германии и оккупированных стран, создавали конструкторы самой высокой квалификации. В том ведь и состояло величие подвига нашего народа, напоминали ораторы, что

он ценой неимоверных физических и духовных сил, ценой самопожертвований, лишений сокрушил все это и тем самым спас мир от фашизма.

В зале, где происходило совещание, находились бывшие воины: солдаты, офицеры, партизаны и совсем еще молодые люди, которые знали о войне только из книг и кинофильмов. Помню пылкое выступление одного молодого поэта из Узбекистана. Он прочитал стихи о долге живущих перед памятью павших, о том, что память — не что иное, как мудрость, которая помогает потомкам выбирать правильные пути. Мне понравилась эта мысль. Пусть она была не новой, но она была верной, она выражала смысл и цель нашего собрания в Бресте.

УРОК ПРОШЛОГО

Нарком Военно-Морских Сил Николай Герасимович Кузнецов, в ночь на 22 июня объявивший по всем флотам готовность № 1, книгу своих воспоминаний «Накануне» заканчивает такими словами:

«Много месяцев прошло в кровопролитных боях, пока враг был остановлен и в войне наступил перелом.

Каждый день войны был насыщен героизмом, отвагой советских людей на суше, в море и в воздухе. Об этом написано много романов, повестей. Напишут еще больше. Во всяком случае, должны написать.

Однако мне хочется, чтобы не забывали и другое: более серьезно, глубоко, со всей ответственностью должны быть разобраны причины неудач, ошибок в первые дни войны. Эти ошибки лежат отнюдь не на совести людей, переживших войну и сохранивших в душе священную память о тех, кто не вернулся домой. Эти ошибки в значительной степени и на нашей совести, на совести руководителей всех степеней. И чтобы они не повторились, их следует не замалчивать, не перекладывать на души умерших, а мужественно и честно признаться в них».

Признания подобного рода делать непросто, их горечь передается нам, читателям, но горечь эта необходима: она учит не повторять ошибок прошлого. Чувство ответственности не дается само по себе, ему тоже надо учиться. Прожив полвека, я могу сказать: у предвоенного поколения чувство ответственности за судьбу страны было развито куда сильнее, чем у их нынешних провесников. Изречение Николая Островского: жизнь надо прожить так, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, — это изречение для многих стало убеждением, формулой образа жизни. Равнодушие и цинизм были редки, благородные помыслы и поступки — самыми естественными. Не обижать слабых и помогать попавшим в беду было неписаным законом. В полдень 22 июня, узнав из выступления В. М. Молотова о вероломном нападении фашистской Германии, студенты и старшеклассники, не дожидаясь повесток, бросились в военкоматы. Допризывники проникали к военкомам, требовали немедленно отправить их на фронт. Военкоматы были завалены заявлениями юношей и девушек. Рано или поздно они своего добивались. В Белостоке, на военном кладбище, а потом в Познани я видел ровные ряды могильных плит с надписями на русском языке, под фамилиями, как и положено, стояли даты — год рождения и год смерти, и эти даты на аккуратных стандартных плитах почти не отличались одна от другой — освободителям Европы, сложившим свои головы по пути к Берлину, было в среднем 19—20 лет...

Нет, думаю, я не погрешу против истины, заявив, что редкая убежденность и чувство ответственности, свойственные предвоенному поколению, во многом и было той силой, которая сокрушила фашизм.

21 июня 1941 года наркому ВМФ Николаю Герасимовичу Кузнецову было тридцать девять лет. Это был высокий, стройный моряк с открытым энергичным лицом. Перед войной боевые ордена были редкостью, на орденоносцев смотрели с нескрываемым восхищением все от мала до велика. Ордена привинчивались, их носили на гимнастерках и кителях в будни и в праздники, обычай носить вместо орденов и медалей планки с ленточками появился уже во время войны. Китель Николая Герасимовича Кузнецова, воевавшего в Испании, украшали ордена Ленина, Красного Знамени и Красной Звезды.

В тот последний мирный вечер нарком не спешил покидать свой кабинет. Через открытую форточку с Садового кольца долетали мелодичные гудки автомобильных клаксонов. Была суббота, люди торопились домой или к пригородным поездам. Вечером на дачных верандах будут играть патефоны, там будут танцевать, петь песни под гитару, пить чай из самовара... А кто-то нарочно ляжет пораньше, чтобы зорьку встретить с удочкой на берегу тихой речки... Суббота.

Нарком взглянул на часы: до прихода берлинского поезда оставалось около трех часов. Этим поездом из Берлина в Москву должен был прибыть военно-морской атташе в Германии капитан 1 ранга Воронцов. Какая-то чрезвычайно важная причина заставила Воронцова срочно покинуть столицу рейха. Какая?

Пальцы наркома непроизвольно отбили дробь на лакированной крышке письменного стола. В памяти всплыли строки из его собственной докладной записки правительству от 6 мая 1941 года: «Военно-морской атташе в Берлине капитан 1 ранга Воронцов доносит... что, со слов одного германского офицера из ставки Гитлера, немцы готовят к 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию. Одновременно намечены мощные налеты авиации на Москву и Ленинград и высадка парашютных десантов в приграничных центрах...» Докладная записка заканчивалась словами: «Полагаю, что сведения являются ложными и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы проверить, как на это будет реагировать СССР». 15 мая он мысленно поздравил себя с тем, что высказанные им предположения, по всей вероятности, оказались верны, но, странное дело, успокоения не было...

Теперь, опираясь на подлинные документы, мы знаем, что сведения капитана 1 ранга М. А. Воронцова были верны. 31 июля 1940 года на секретном совещании в своей ставке Гитлер, определяя общую задачу войны, сказал: «Россия должна быть ликвидирована. Срок — весна 1941 года». Вечером 18 декабря своей подписью Гитлер окончательно утвердил секретную директиву о ведении войны против СССР, которая получила кодовое название «Вариант Барбаросса» и порядковый номер «21». Так вот, конкретная дата для нанесения удара по Советскому Союзу, названная в директиве, полностью соответствовала той, которую назвал наш военно-морской атташе: 15 мая 1941 года.

Да, первоначальная дата войны была названа совершенно правильно, она была определена верховным командованием вермахта из тех простых соображений, что к середине мая в Белоруссии, в Полесье, на Смоленщине, на Псковских и Новгородских землях завершится период весенней распутицы и разлива рек. Таким образом, истолковав в своей записке от 6 мая полученные от германского офицера сведения как ложные, Николай Герасимович Кузнецов невольно вводил в заблуждение правительство. Этого он не мог себе простить до конца жизни, и, думается, написав фразу: «Эти ошибки в значительной степени и на нашей совести», он имел в виду ту свою записку от 6 мая, в которой он отрицал возможность войны.

Опубликованные теперь сверхсекретные документы главнокомандования вермахта и сухопутных войск словно открывают занавес: мы видим штабные столы с разложенными картами и слышим произнесенные в лаконичной прусской манере решения, которые по всей своей сути не что иное, как смертный приговор миллионам. Вот образец от 3 апреля 1941 года: «Время начала операции «Барбаросса», вследствие проведения операции на Балканах, переносится по меньшей мере на 4 недели». 29 апреля оккупированные гитлеровскими войсками Греция и Югославия были уже залиты кровью — повсюду свежевырытые могилы, виселицы, руины и обнесенные колючей проволокой концлагеря. А на следующий день в Берлине называется дата очередной операции — 22 июня. Начало операции назначено на 3 часа 30 минут по берлинскому, или среднеевропейскому, времени. Берлинское время от московского отличалось ровно на один час.

Вечером 21 июня, конечно, ничего этого не знал, не мог знать нарком ВМФ Николай Герасимович Кузнецов, дожидаясь в своем кабинете прибытия из Берлина М. А. Воронцова. И тем не менее часы на Спасской башне Кремля еще не пробили полуночи, когда приказ наркома о переходе на готовность № 1 немедленно был передан в Таллин, в Полярное и в Севастополь.

Кузнецов отлично понимал, какую он берет на себя ответственность, отдавая этот приказ.

Но он его отдал.

И тем самым преподал урок творческой логики и гражданского мужества.

Вернемся в кабинет наркома.

Суббота. Вечер. 21 июня.

...Но, странное дело, успокоения не было. Более того, ему все чаще вспоминалась Испания, внезапность фашистского путча и быстрота, с которой фашисты Италии и Германии пришли на помощь франкистам. Нарком не сомневался, что Франко заранее все оговорил с Берлином и Римом, все — и военную помощь, и личное участие в боевых действиях немцев и итальянцев. При этом официально Германия не прервала дипломатических отношений с республиканской Испанией, официально Германия соблюдала нейтралитет.

Вспомнилось, как он, командир крейсера «Червона Украина», находясь в августе 1936 года на евпаторийском рейде, вдруг получил из Севастополя от командующего флотом Кожанова загадочную радиограмму:

ВАМ РАЗРЕШАЕТСЯ СЕГОДНЯ ВЫЕЗД В МОСКВУ.

Поездки в столицу он не планировал, все было странным, неожиданным. По его приказу на крейсере подняли якоря и, вспенив винтами воду, крейсер полным ходом пошел в Севастополь. «Вызывают», — кратко изрек Кожанов и протянул билет на вечерний московский.

В Москве все выяснилось: его ждало новое назначение — военно-морским атташе в Испанию. А потом, уже в охваченной гражданской войной Испании, республике потребовались его знания, и он стал «доном Николасом», «альмиранте Николасом», главным военным советником республиканского флота. Валенсия, Аликанте, Картахена, Барселона — корабли, налеты вражеской авиации, морские бои, охрана прибывающих из Севастополя транспортных судов с танками, артиллерией, самолетами и боеприпасами. Осенью тридцать седьмого, теперь уже из Испании, его опять неожиданно вызвали в Москву. Принял нарком обороны Климент Ефремович Ворошилов. «Война, агрессия, коварство — это у фашистов в крови, — сказал он наркому и добавил: — Еще невиданная наглость».

После Испании в его жизни произошли разительные перемены: сначала назначе-

ние командующим на Тихоокеанский флот, еще через два года, в апреле тридцать девятого, ему доверили возглавить военно-морские силы всей страны. Он прибыл из Владивостока в Москву, когда по инициативе Советского Союза начались переговоры с правительствами Англии и Франции о мерах коллективной безопасности в Европе. Испания наглядно показала, что Гитлер и Муссолини откровенно готовятся к войне. Пока не поздно, странам Европы следовало объединиться и создать единый антифашистский блок. На митингах, которые прокатились по городам Англии и Франции, ораторы призывали свои правительства поддержать инициативу Страны Советов. На митинге в Лондоне, как писали газеты, было сделано заявление, что договор о коллективной безопасности — «единственное средство, которое имеет шанс спасти мир». Казалось, что на Даунингстрит в Лондоне и в Париже — в Елисейском дворце — это тоже хорошо понимают. Казалось... Но когда 11 августа 1939 года в Москву прибыли военные миссии обеих стран, то во главе их оказались адъютант английского короля адмирал Р. Дракс и член военного совета Франции генерал Ж. Думенк, причем английская делегация прибыла даже без верительных грамот!

«С историей шутки плохи», — подумал Кузнецов, вспомнив, чем завершились эти переговоры, участником которых он был с первого дня.

Советскую миссию, как и положено на переговорах такого ранга, возглавлял сам нарком обороны Маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов. «В случае военных действий против агрессора, — заявил он, — Советский Союз готов незамедлительно выставить сто двадцать пехотных и шестнадцать кавалерийских дивизий, пять тысяч тяжелых орудий, девять-десять тысяч танков, от пяти до пяти с половиной тысяч самолетов». «К сожалению, Великобритания, — заявил в ответ адмирал Дракс, — сможет выделить лишь пять пехотных и одну механизированную дивизию». А пока эмиссар Лондона вел свою крайне странную партию, стало ясно, что правительство Польши приняло окончательное решение не пропустить в случае начала военного конфликта советские танки через свою территорию. Конечно, при желании и Лондон, и Париж могли повлиять на позицию Варшавы. Слова лорда Галифакса, что «Россия заинтересована в сохранении независимости Польши и не желает, чтобы Польша была уничтожена», казалось бы, свидетельствовали о трезвой оценке сложившейся ситуации, однако соответствующих дипломатических шагов Англия не только не предприняла, а, напротив, сделала все возможное, чтобы московские переговоры зашли в тупик.

21 августа состоялось последнее заседание. Вечером того же дня военные миссии отбыли на родину.

Все тогда было — и гнев, и горечь, и обида. В сложившейся ситуации не нужно было быть изощренным дипломатом, чтобы правильно истолковать подтекст специально сорванных переговоров в Москве. Да, все было предельно ясным: и смысл содеянного, и адресат. К Берлину, к Берлину апеллировали и Лондон, и Париж, как бы говоря: не мы предложили Москве, а Москва предложила нам набросить на вас смирительную узду, но мы, как вы смогли убедиться, на это не пошли, мы не вняли голосу Советов, предрекающих, что Германия обрушится на нас, мы говорим: все это красная пропаганда, уловки державы, которая вас боится и потому ищет себе союзников, так смелей же, сыны Германии, если вам тесно в Западной Европе, если вы так жаждете пространства, как об этом голосит весь мир, то идите — традиционный путь на Восток вам открыт, мы же мешать вам не станем, нет, не станем — идите и душите Советы, и пусть ваш

поход станет новым крестовым походом против коммунизма...

Несомненно, кровопролитная и упорная война между Германией и СССР не только отводила угрозу от Франции и Британии, но и значительно усиливала их военный потенциал, хотя бы только за счет значительных потерь в технике и в живой силе, которые неминуемо понесла бы ввязавшаяся в войну фашистская Германия. Роль, которую отводили себе западноевропейские державы, задавшиеся целью столкнуть Берлин с Москвой, была и много проще, и много выгодней, чем честное противостояние алчному фашизму. «В дипломатической кухне на берегах Темзы издавна умели плести интриги, и, очевидно, — решил Кузнецов, — посылая адмирала Дракса без соответствующих полномочий в Москву, Лондон уже все продумал наперед, быть может, даже запланировал дату срыва переговоров — 21 августа».

22 августа обе делегации отбыли из Москвы.

23 августа поезд с военными миссиями остановился на вокзале в центре Варшавы. «Скорее всего, в Варшаве, — подумал нарком, — адмирал Дракс и генерал Думенк узнали о том, что в этот день в Москве министры иностранных дел СССР и Германии подписали пакт о ненападении сроком на десять лет».

Николай Герасимович вспомнил, как неожиданно прилетел из Берлина напористый Риббентроп. Берлин словно опасался, что Лондон и Париж одумаются, вернут свои военные миссии в Москву. Можно было себе представить, с каким напряжением в Имперской канцелярии следили за ходом переговоров в Москве, как активно не желали там заключения Тройственного союза, и вот, когда все сорвалось, они, не медля ни дня, предложили заключить мирный договор сроком на десять лет. Выходило, что Германия, вопреки надеждам Англии, не желает воевать с Советским Союзом.

Предполагали ли английский адмирал и французский генерал такой итог?

Предвидели ли Дракс и Думенк, пересекая с востока на запад Польшу, что всего лишь через неделю, через семь дней, рухнут под бомбами живописные ратуши и готические костелы в чистеньких городках, которые мелькали за окнами дипломатического вагона?!

Думали ли они, что менее чем через год оккупированной солдатами вермахта Франции придется пережить не только горечь поражения, но и горечь унижения, когда, все в том же Компьенском лесу и все в том же вагоне, что и в 1918 году, как того захотел Гитлер, маршал Петен подпишет в присутствии фюрера условия капитуляции?!

Думали ли они, что, сыграв отведенную им роль, они уже решили не только участь Польши и Франции, но также Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии, Югославии и Греции?!

Австрия и Чехословакия были отданы Гитлеру еще раньше — в Мюнхене.

Недальновидные политики на Сене, что они думали теперь?.. О чем думали теперь на Темзе, со дня на день ожидая вторжения полчищ неприятеля?..

Старая как мир истина «Не рой яму другому — сам в нее попадешь» мстила тем, кто ее забыл, мстила безжалостно, не разбирая виновных и невиновных.

Через открытую форточку продолжали доноситься уличные шумы. А что творится на флотах? Кузнецов включил аппарат ВЧ и вызвал командующего КБФ Трибуца. Владимир Филиппович только накануне был произведен в вице-адмиралы, нарком улыбнулся, вспомнив сдержанную радость Трибуца и командующего Черноморским флотом Филиппа Сергеевича Октябрьского, тоже ставшего вице-адмиралом. Радость Арсения Григорьевича Головко — тридцатишестилетнего командующего Северным флотом, произведенного в контр-адмиралы, была куда откровенней.

Трибуц оказался на месте. Флот продолжал пребывать в состоянии повышенной готовности № 2, никаких происшествий не произошло. Доклад Головко из Полярного был столь же кратким. В Севастополе к аппарату подошел начальник штаба флота контр-адмирал Елисеев. Слушая доклад Елисеева, Николай Герасимович представил себе Севастополь — город, где началась его жизнь флотского офицера, в бухте которого стояли крейсера: «Красный Кавказ», где он некоторое время был помощником командира, и «Червона Украина», где он был командиром, любимый его корабль. «В ДКАФе имени Лейтенанта Шмидта идет концерт, на улицах гулянье, моряки отдыхают после утомительного похода», — говорил Елисеев, а он словно был сам там — в Севастополе, на Примбуле, шел расслабленной походкой по аллее мимо эстрадной раковины, откуда лейтенант Шмидт произносил свои пламенные речи. Севастополь был для моряков все равно что земля для мифического Антея: прикоснувшись к легендарному городу, человек обретал силу убеждений и спокойное бесстрашие предков.

«Есть одна странность, — вдруг проговорил Елисеев, — оперативный дежурный отмечает, что все транспортные немецкие суда, которые последнее время занимались активными перевозками, курсируя между нашими портами и побережьем Болгарии и Румынии, все как один покинули акваторию и скрылись в Варне, в Бургасе, в Констанце. Ни одного судна, товарищ нарком, в наших портах от Батума до Одессы...»

Голос Елисеева внешне звучал спокойно, но где-то в его глубинах пульсировала тревога, и нарком ее уловил. Она и в нем самом жила, эта необъяснимая тревога, жила против воли, он даже ощущал ее физически, словно липкий горячий комок смолы. Случалось, что в Картахене перед налетом вражеской авиации он тоже испытывал нечто подобное. «Но там была война, — подумал он, — там мы воевали с фашистами, там подкожное предощущение опасности было естественным, а что теперь, что?..»

Кстати или некстати ему вдруг вспомнилось давнее занятие по тактике и стратегии в училище, лекция блестящего знатока военно-морской истории Галля. Тогда, завершая рассказ о начале русско-японской войны, о той внезапной атаке японскими миноносцами русских кораблей на Порт-Артурском рейде, в результате которой был потоплен броненосец «Петропавловск» со всей командой и с выдающимся адмиралом Степаном Осиповичем Макаровым, преподаватель произнес слова, которые теперь так внезапно всплыли в памяти. «Не надо удивляться тому, — сказал Галль, — что враг напал без объявления войны, на то он и враг. Наивно было бы сетовать на его вероломство. Удивляться надо, скорее, нашему командованию, беспечно подставившему флот под удар!»

Кому-кому, а ему хорошо было известно, сколь регулярно в последние месяцы немецкие летчики нарушали воздушное пространство страны. Самолеты с крестами на крыльях появлялись над Ханко, над Мурманском, над Либавой. Но когда в марте он отдал приказ открывать огонь по нарушителям и согласно его приказу был обстрелян немецкий самолет над Либавой, ему самым строгим образом было сказано, что подобные меры могут привести к осложнению обстановки, и пришлось отменять собственное распоряжение. Попытки посадить нарушителей истребителями вызвали очередной поток протестов со стороны ведомства Риббентропа. Весной же на румынском побережье, главным образом в районе Констанцы, появились новые береговые батареи.

Возникал вопрос: зачем Германии, заключившей долгосрочный пакт о ненападении, было поставлять Румынии дальнобойные береговые орудия? Зачем с настойчивой наглостью немецкая авиа-

ция занималась фотосъемкой стоянок советских кораблей?

«Фашизм — это ложь, изрекаемая бандитами... ложь, изрекаемая бандитами» — слова принадлежали американцу, писателю Эрнесту Хемингуэю, рослому плечистому мужику в очках, с которым он встречался в Испании. И эти его слова были написаны там же, в Испании, писатель открыто предупреждал; о нем вообще говорили как о человеке редкого мужества. Что говорить, сильно это сказано: фашизм есть ложь, изрекаемая бандитами... Гесс! Рудольф Гесс — рейхсминистр, председатель «Объединенного штаба связи», человек, осуществлявший общее руководство всеми разведывательными службами рейха, с 1938 года член «Тайного правительственного совета», с 1939 года член «Совета министров имперской обороны», с сентября того же года официальный преемник Гитлера номер два. Зачем этому человеку не далее как в мае понадобилось неофициально, на личном самолете перелететь в Англию? Какую тайную миссию он исполнял? Логика подсказывала: миссия у Рудольфа Гесса могла быть только одна — вступить в тайный сговор с Великобританией. Сговор против кого? Ясное дело, против СССР. Вот она — ложь, изрекаемая бандитами!

«Но если война, — подумал Кузнецов, — если, действительно, они готовят совершить нападение, то отодвигать «день Д» на дальние сроки никакого для них резона нет. Там осведомлены, что армия и флот заняты перевооружением, там пристально следят за нами...» Пальцы машинально отбивают дробь на крышке стола. «Ну конечно, — подумал он, — конечно, это так, иначе они бы уже давно, конечно, давно предприняли бы попытку высадиться на Британских островах».

Да, жесткая логика наступательной войны диктовала не тянуть с высадкой, не ждать, пока неприятель возведет вдоль побережья труднопроходимый рубеж из железобетона и стали, преодолеть который будет во сто крат труднее, и тот факт, что немцы, которые уже показали, на что они способны, когда в считанные дни поглотили отнюдь не малые и не слабые страны, этого не делали, теперь Кузнецову казался странным и подозрительным. Нагромождение известных ему фактов вдруг обрело определенную конструкцию, которая сулила только одно — скорую войну с Германией.

Николай Герасимович снова взглянул на часы. Берлинский поезд уже подошел. На вокзале Воронцова встречали, следовательно, отметил нарком, минут через десять—пятнадцать он уже будет здесь. Сам факт, что Воронцов посчитал необходимым немедля прибыть в Москву, говорил о чрезвычайно важной информации, которой он располагал.

Наконец и сам он появился в дверях — на осунувшемся лице выпирали скулы, в глазах, сведенных судорогой бессонниц, угадывалось клокочущее нетерпение.

— Разрешите, товарищ нарком?

— Жду. Садитесь и докладывайте.

— Есть, товарищ нарком.

Кузнецов вышел из-за стола и, пожав руку, указал на диван.

Сидя на диване, они проговорили минут пятьдесят. Факты, которые излагал Воронцов, все факты, включая и чрезвычайное количество воинских эшелонов, которые Воронцов заметил, проезжая через Польшу, больше не оставляли сомнений в том, что все разговоры о неминуемом столкновении с Германией, которые велись с мая месяца, все-таки не были досужим вымыслом и «неуклюже состряпанной пропагандой», как об этом было сказано в сообщении ТАСС от 14 июня, где, Кузнецов помнил ее наизусть, была такая фраза: «По мнению советских кругов, слу-

хи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы». Да, он помнил эту фразу наизусть, потому что нечто подобное утверждал и он в своей докладной записке от 6 мая.

— Так что же это означает? — спросил он, в упор глядя на Воронцова и уже заранее зная, какой услышит ответ.

— Это война! — не заколебавшись, твердо проговорил Воронцов. — Война, которая, если верить упорным слухам, начнется сегодня ночью.

— Может быть, так случится, что вам придется все повторить снова, — тихо произнес нарком и, попросив Воронцова подождать в приемной, набрал телефон наркома обороны Тимошенко. Ответ адъютанта был лаконичен: «Отбыл в Кремль». На месте не оказалось и заместителя наркома генерала армии Жукова. Подумалось: не потому ли нарком обороны и его заместитель в Кремле, что располагают сведениями еще более конкретными, чем те, которые привез Воронцов? Нужно было ждать, когда вернется маршал Тимошенко. Другого выхода все равно не было.

Можно только догадываться, к а к текли минуты в ожидании звонка адъютанта Тимошенко, пообещавшего сообщить, когда вернется нарком. Можно представить себе напряжение ожидания, в котором все это время пребывал Николай Герасимович Кузнецов.

Я пытаюсь представить себе это напряжение — напряжение человека, который уже знает, что через каких-то несколько часов начнется страшная война, и вдруг понимаю, что даже представить себе такое невозможно.

А за его окном мирно гудели мелодичные клаксоны московских автомобилей...

Уроки прошлого, мы не вправе их забывать. Слишком высокой ценой они достались нам в наследие, они — эти уроки, если хотите, тоже наше оружие, думаю, не ошибусь, утверждая, что череда мирных десятилетий — тоже итог усвоенных уроков.

Что было бы, если бы в тот же вечер 21 июня 1941 года Николай Герасимович Кузнецов не отдал своего исторического распоряжения? Если бы не взял на себя всей ответственности за последствия? Если бы не проявил недюжинной настойчивости?

7 декабря 1941 года в Пёрл-Харборе — военно-морской гавани США на Гавайях — повторилась трагедия Порт-Артура, но куда в больших масштабах. Советский разведчик Рихард Зорге успел предупредить о готовящемся нападении. Нужно было немедленно принять меры предосторожности, но американцы этого не сделали. Японская авиация нанесла удар ночью, гавань была залита огнями, на клотиках линкоров и крейсеров светились топовые огни. Сбросив на корабли бомбы и торпеды, самолеты вернулись на базы, а Пёрл-Харбор содрогнулся от взрывов. В небо поднялись гудящие столбы пламени: это пылал мазут. В крюйт-камерах взрывались боеприпасы, вздыбливая стальные палубы. Через пробоины поступала забортная волна, корабли кренились, ложились на борт, переворачивались и тонули. За несколько часов погибло три с половиной тысячи американских моряков.

Сама мысль, что все это могло случиться и в Севастополе в ночь на 22 июня, пугает своей очевидностью. И я снова и снова с благодарностью думаю о человеке, который не позволил ночным стервятникам Геринга застать нас врасплох. И снова вижу, как жутко и красиво пульсировал сотканный из огненных струй купол... Спасительный купол... Щит, которым прикрыли себя и город корабли. И флот остался цел.

В т у ночь на С е в е р е, на Б а л т и к е и на Ч е р н о м м о р е н е п о г и б н и о д и н к о р а б л ь.

В Брестской крепости в ту роковую ночь все было иначе. В зарослях ивняка на берегу Западного Буга безмятежно распевали соловьи, но за этими зарослями уже разворачивалась для броска 4-я армия фельдмаршала фон Клюге. Брест лежал в полосе действия 2-й танковой группы генерала Гудериана.

Известен фотоснимок: Гудериан со своим штабом за пятнадцать минут до начала военных действий. Фотография нечеткая, лиц не разглядеть — только профили, генерал застыл на берегу затянутого туманом Буга, он весь в ожидании начала боевых действий. В Севастополе уже неистовствуют зенитные установки, а здесь по-прежнему слышно, как струится речная вода и лениво играет пробудившаяся рыба. Под этой фотографией я поместил бы слова генерала: «Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях. Во дворе крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов...»

В этом оркестре было несколько мальчишек — воспитанников музыкантской команды. Один из них, теперь уже полковник, адрес которого я получил в музее, согласился рассказать нам — ленинградским журналистам и писателям — о том, что происходило в те дни в крепости.

Накануне вторжения, утром оркестр поднялся на крепостной вал, где по обыкновению они репетировали. Так и на этот раз, поработав до пота, они получили разрешение на передышку. Уже становилось жарко, и музыканты расположились в тени кустарников. Вот тут-то кто-то и обнаружил в кустах два свертка с новеньким солдатским обмундированием. И тогда стали вслух рассуждать: кому понадобилось два комплекта красноармейской формы. Порешили, что кто-то забыл ее по рассеянности. Уже потом, задним умом, стало ясно, что это была припасена одежда для диверсантов. Эти переодетые в красноармейскую форму диверсанты в назначенное время перерезали телефонные и телеграфные провода, прервав связь крепости с внешним миром.

Полковник-очевидец рассказывал нам, как все те же диверсанты сосредоточились под мостами, которые соединяли цитадель с прочей территорией крепости. По замыслу главного фортификатора крепости Эдуарда Ивановича Тотлебена, того самого генерала Тотлебена, памятник которому украшал Исторический бульвар в Севастополе, цитадель, прислонившаяся своими восточными, южными и западными стенами к Мухавцу и Западному Бугу, с севера защищалась системой водных рвов, которые одновременно служили обводными каналами. Собираясь под мостами через эти каналы, диверсанты были отлично осведомлены, что весь комсостав гарнизона, кроме дежурных, ночует в домах вне цитадели. Они знали, что по первой тревоге командиры бросятся в цитадель, и готовились их встретить пулеметным и автоматным огнем. И вот когда вражеские снаряды с воем обрушились на крепость, когда от взрывов сотряслась земля и в крепостных казармах столбом поднялась пыль, переодетые диверсанты, пользуясь суматохой и неразберихой, перекрыли мосты и стали в упор расстреливать тех, кто мог организовать людей для обороны. Диверсанты были опытные, они действовали спокойно, нагло и сделали все, что от них требовалось: гарнизон крепости оказался практически без командиров, способных организовать единую оборону. С учетом неоднородного состава гарнизона — здесь находились и пограничники, и части НКВД, и автодорожные войска, и стрелковые подразделения, и части связи — становится понятно, почему с первых минут схватки с врагом приняли локальный характер.

Мы обходили цитадель по периметру, и наш провожатый показывал нам, где, у каких ворот, в каких казармах возникали очаги сопротивления. Разрушенные артиллерийскими снарядами и минами, посеченные автоматными очередями и гранатными осколками остатки кирпичных стен лучше всяких слов говорили о стойкости и мужестве бойцов.

Передовые отряды гитлеровцев на надувных понтонах форсировали узкий на этом участке Буг, легко овладели участком, где размещался малочисленный состав войск НКВД, захваченный к тому же врасплох, и просочились в гарнизонный клуб — бывшую церковь, с верхотуры которой было удобно вести корректировку артиллерийской стрельбы. Казалось, что судьба крепости предрешена... Но гарнизон Брестской крепости продержался месяц.

Из семи тысяч бойцов и командиров, которых застигла в крепости война, в живых осталось человек триста. Израненные, потерявшие много крови, обессиленные от голода, жажды и зноя, они попали в плен, когда их оставили последние силы. Но и потом многим из них удалось бежать, найти партизан, сражаться, брать Берлин.

В музее нам показывали военную немецкую хронику. Кинооператор запечатлел на пленке эпизоды боя. Но не было такой кинопленки, да и не могло быть в природе, которая смогла бы донести до нас отчаянное мужество обреченных людей. Вначале была надежда, что со дня на день наши войска контратакуют и освободят заблокированную со всех сторон крепость, но этого не происходило. С внешним миром не было никакой связи. Никто не знал, что происходит в стране, где армия, удалось ли остановить нашествие. Все попытки прорваться закончились ничем: плотный пулеметный огонь косил атакующих. Ночью к подножию крепостных стен протягивались щупальца прожекторов, они шарили в густой траве, по берегам рек и каналов и, выхватив прижавшуюся к земле фигуру, злорадно застывали — и человек погибал, так и не напившись воды.

Немцы хорошо знали, что в крепости нет воды. Жажда, голод, трупный смрад были их союзниками. Время от времени усиленный громкоговорителями голос предлагал сдаться, сложить оружие, обещая в обмен воду, пищу и жизнь. Затем включалась музыка, сладкие звуки танго. Немцы ждали. Никто не выходил с поднятыми руками, не бросал к ногам победителей оружия. Крепость держалась — и это раздражало солдат, офицеров и генералов. Уйти, оставив гарнизон крепости в тылу, они не могли, но и уничтожить его им не удавалось. Постепенно бои переместились внутрь кирпичных казематов. Бесконечные коридоры, ниши, подземелья. Немцы пустили в ход огнеметы. Фукающие языки пламени неслись вдоль кирпичных стен, и кирпич оплавлялся, словно покрывался глазурью. Человек вспыхивал как факел и на глазах превращался в бесформенную груду угля. Но когда солдаты бросались в атаку, вновь гремели выстрелы.

Чтобы продырявить могучие кирпичные стены, гитлеровцы подвезли свои знаменитые «Карлы». Те самые, которые перед третьим штурмом окажутся под Севастополем. Это были орудия с короткими стволами, внешне похожие на бутылки с широким горлышком. 615-миллиметровый снаряд «Карла» был больше человеческого роста и весил несколько тонн. И вот такими снарядами фашисты стали долбать крепостные стены. Ни одна крепостная стена мира еще никогда не испытывала ничего подобного. Когда я смотрел на циклопические стены Брестской крепости, поверженные в отдельных местах снарядами «Карла», становилось не по себе; так что же переживали те, кто за этими стенами поднимал винтовку и посылал пулю во врага?!

На красной стене крепости сохранилась надпись:

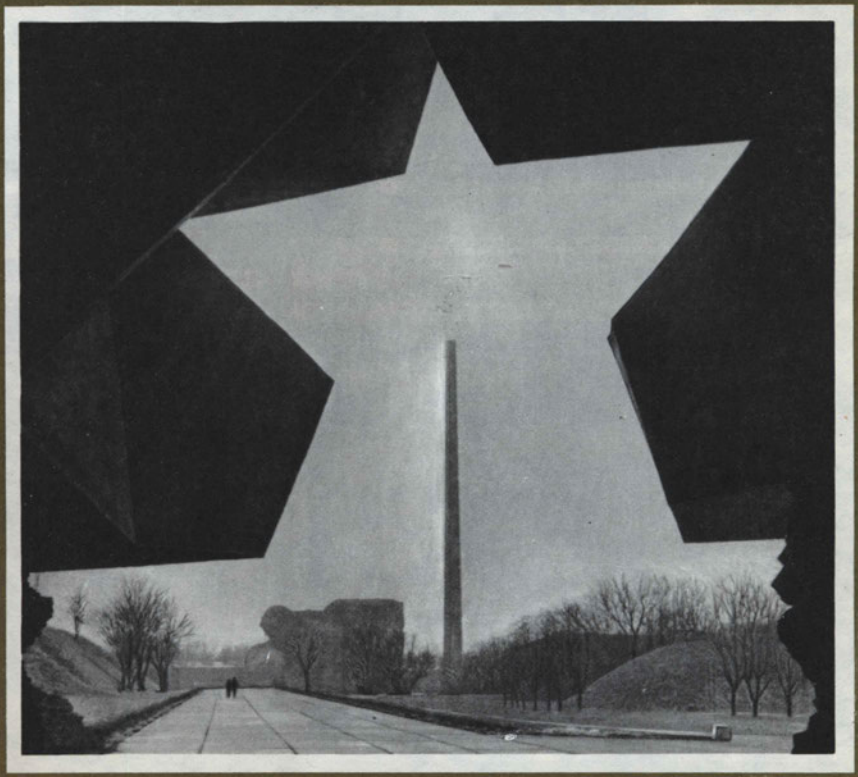
«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина. 20/VII-41».

Я читал эти простые и в то же самое время святые слова, и мне хотелось, чтобы этот последний автограф безымянного героя не исчезал никогда...

Ивы склонялись над зеленой водой тихой реки Мухавец. Там, где кирпичная стена цитадели врастала в землю, буйствовали лопухи. В одиночестве я медленно шел по тропинке. И вдруг вспомнились слова Льва Николаевича Толстого, где-то совсем недавно прочитанные, в какой-то газетной или журнальной статье, но запавшие вот в память — слова, которые могли бы стать эпиграфом к любой книге о войне: «Ежели причина нашего торжества была не случайна, она лежит в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений».

Высказанная мысль по-толстовски была простой, ясной и мудрой, она объясняла, почему 22 июня 1941 года здесь, в Брестской крепости, решалась участь Берлина. Она соединяла в одно неразделимое целое слова, выцарапанные на красных стенах Брестской крепости, и те, что в мае 1945 года украсили стены поверженного рейхстага.

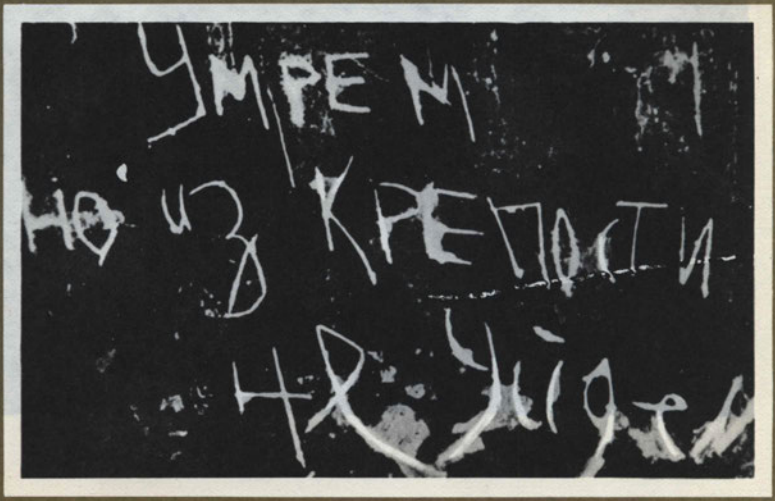
Мы как раз ступили под арку в крепостной стене, откуда открылся мемориал Брестской крепости, когда разом включились громкоговорители и на нас навалилось то, что, казалось бы, давно ушло из памяти — гнусное, дающее на перепонки, завывание приближающихся самолетов, пение ветра в стабилизаторах падающих бомб и грохот близких разрывов. Голос Левитана, читающего сообщение ТАСС, надрывное завывание пикирующих бомбардировщиков, выстрелы орудий и грохот взрывов — все разом воскресили, я начал вспоминать...



В ту ночь в зарослях ивняка безмятежно распевали соловьи и по берегам Западного Буга стлались туманы, скрывая развернувшуюся для броска 4-ю армию фельдмаршала фон Клюге. На берегу, дожидаясь наступления условленного часа «времени Ч», как это принято называть в военных документах, в окружении своего штаба стоял командующий 2-й танковой группы генерал Гудериан. Брест лежал как раз в полосе наступления его группы.

Целый месяц многочисленный и отлично вооруженный противник не мог овладеть цитаделью уже обреченной крепости. Гитлеровцы пустили в ход огнеметы. Пламя оплавляло кирпич, а вот люди держались...

Когда я читал эту выцарапанную на закопченной стене Брестской крепости запись, оставленную кем-то из защитников, я вспомнил заповедь Святослава: «Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми — мертвые сраму не имут!»



МИНЫ НА ФАРВАТЕРЕ

ПРИБЛИЖЕНИЕ К ИСТИНЕ

Уже была написана первая глава этой книги, когда я впервые задумался над тем, почему налет на Севастополь произошел раньше времени, предписанного планом «Барбаросса». Случайно ли это или все так и было задумано в Берлине?

Случай, конечно, мог иметь место, но скорее всего немецким летчикам была предписана и скорость полета и время атаки. А если все делалось преднамеренно, то — напрашивался вывод — Гитлеру это почему-то было крайне важно. Но почему?

Еще в Брестской крепости, задумываясь над тем, какой должна быть будущая книга, я понял, что в поисках ответа мне не раз придется обращаться к всевозможным документам и мемуарам, к рассказам участников войны, к письмам.

Конечно, сам по себе документ — это еще не истина. Обыкновенное ли донесение, пояснительную ли записку или хронику событий пишет человек, и можно допустить, что этот человек не обо всем, что он видел и знает, хочет или может говорить. Напротив, в интересах дела или в собственных интересах он жаждет о многом умолчать, такое бывает. Вот почему документы открываются далеко не всегда, далеко не сразу и далеко не каждому, они похожи на айсберги, у которых, как известно, большая часть, находясь под водой, скрыта от глаз. Истину же познает только тот, кто способен айсберг увидеть целиком.

В стремлении приблизиться к истине я решил обратиться к документам, решил использовать их, как используют, стремясь к правде момента, кадры старой кинохроники и фотоснимки военных лет кинорежиссеры документальных и художественных фильмов.

В ПОИСКАХ ОТВЕТА

И так, сорок лет спустя после памятной ночи меня вдруг заинтересовало, почему немцы атаковали Севастополь раньше условленного времени. Ответ на этот вопрос могли дать только сверхсекретные документы верховного главнокомандования вермахта, и действительно, в приказе ставки вермахта от 21.8.41 года первым пунктом значилось:

«Главнейшей задачей до наступления зимы является не взятие Москвы, а захват Крыма, промышленных и угольных районов на Донце и лишение русских возможности получения нефти с Кавказа; на севере — окружение Ленинграда и соединение с финнами».

В подробной памятной записке от 23 августа 1941 года, написанной лично Гитлером, говорилось:

«1. Цель настоящей кампании состоит в том, чтобы окончательно уничтожить Россию как континентальную державу, союзную Великобритании, и тем самым лишить Англию всякой надежды на возможность изменить судьбу с помощью этой, еще существующей последней великой державы.

2. Эту цель можно достичь только путем:

а) уничтожения людских ресурсов русских вооруженных сил;

б) захвата или по крайней мере уничтожения экономической базы, необходимой для воссоздания русских вооруженных сил».

И далее добавлялось:

«...Наряду с уже упомянутой важностью захвата или, во всяком случае, разрушения важнейших сырьевых баз (железо, уголь, нефть) для Германии решающее значение имеет также скорейшая ликвидация русских военно-воздушных баз на побережье Черного моря, прежде всего в районе Одессы и в Крыму. Данное мероприятие для Германии при определенных обстоятельствах может иметь жизненно важное значение (здесь и далее разрядка моя. — *Г. Ч.*), ибо никто не может дать гарантии, что в результате налета авиации противника не будут разрушены пока единственные находящиеся в нашем распоряжении нефтяные промыслы. А это как раз может иметь для продолжения войны такие последствия, которые трудно предвидеть...»

В свете этих документов совсем иначе прочитывалось письмо Гитлера Муссолини, написанное и отосланное специальным курьером в Рим 21 июня 1941 года.

Для Гитлера Муссолини как основоположник фашистского движения всегда оставался идейным вождем. Гитлер никогда не забывал, что когда сам еще был далек от активной политической деятельности, Муссолини уже сколотил отряды «черно-рубашечников», получивших название фашо, с помощью которых он захватил Рим и высшую власть в Италии. На примере Муссолини Гитлер понял, какую страшную силу таит в себе неудовлетворенная своим местом в обществе армия лавочников, кустарей, всевозможных недоучек и авантюристов. Они, как никто другой, жаждали власти, признания, материальных благ и ради этого готовы были на многое. Суть лозунгов итальянских фашистов годилась и для Германии, и Гитлер, усвоивший уроки Муссолини, решился. Итальянские фашисты носили черные рубашки, для немецких он придумал коричневые. И когда у него все получилось, он стал обожать Бенито Муссолини еще больше.

За несколько часов до нападения на СССР Гитлер специальным самолетом отправил Муссолини секретное письмо. И вот в этом письме, которое пестрело совершенно несвойственными Гитлеру оборотами, такими как «смею добавить» или «смею вас, дуче, заверить», были следующие слова: «Вполне допустимо, что Россия попытается разрушить румынские нефтяные источники... Задача наших армий состоит в том, чтобы как можно быстрее устранить эту угрозу...»

Это признание фюрера и вышеприведенный приказ все поставили на свои места. Конечно же, все дело было в этой румынской нефти. Ведь Румыния была единственным поставщиком горючего для Германии: бензина для люфтваффе, мотопехоты и торпедных катеров, соляра для танков и подводных лодок, мазута для линкоров, крейсеров, эсминцев и транспортов. И проблема, как защитить в случае войны этот единственный источник, не могла не беспокоить верховное главнокомандование Германии, во главе которого стоял Гитлер. В Берлине отдавали себе отчет, что с началом агрессии авиация и корабли Черноморского флота, базирующиеся на аэродромы Крыма и Севастополь, обязательно предпримут ответные меры и попытаются нанести удар по нефтепромыслам Плоешти и сжечь нефтехранилища близ порта Констанца. Несомненно, налет на Севастополь за час до наступления «времени Ч» был продиктован желанием упредить

действия кораблей Черноморского флота. На это в своем письме Гитлер и намекал Муссолини, когда писал о поставленной перед армиями задаче «как можно быстрее устранить эту угрозу».

Итак, акция по уничтожению Черноморского флота была задумана и спланирована в ставке верховного главнокомандования вермахта.

Избранный вариант был прост и эффективен: постановкой сверхсекретных, обладающих громадной разрушительной силой и не поддающихся тралению мин на фарватере заблокировать флот в севастопольской гавани.

ФОРМУЛА ПАМЯТИ

Уже после войны эту начальную главу героической эпопеи Севастополя назовут «Битвой за фарватер». И выиграет ее командир звена малых охотников скромный белобрысый лейтенант Дмитрий Андреевич Глухов. Дядя Митя. Тети Катин муж.

Нет, не его жизнь, а больше память о нем позволила мне воссоздать его подвиги — 28 ноября 1943 года он был смертельно ранен осколком в Керченском проливе.

Жизнь и память... Ведь то, что я опишу, произошло при его жизни, но будь эта жизнь иной, чем она была, память людская не стала бы ее сохранять, я же встречаю его имя на страницах многих книг *, две из которых посвящены ему. Его жизнь легла в основу художественного фильма. Фильм имеет претенциозное название. Дело не в названии, дело в памяти.

Так что же такое память?..

В одном старинном сказании есть мудрые слова:

«На земле все проходит, только звезды извечны да песни о героях, ибо, погибая, герои оставляют нам жажду подвига».

Не это ли формула памяти?

Ратной памяти, ибо есть и другая память.

Никто не предполагал в нем такой судьбы.

Когда в Новороссийске я вдруг увидел его портрет в сквере рядом с Вечным огнем, первое, что я подумал: не похож. Художник придал его облику героические черты, на всех же фотографиях, даже на последней, его лицо сохраняет свойственную ему редчайшую доброту и столь же редчайшее спокойствие.

Таким его я и запомнил.

Мой отец был иным. Он мог иногда вспылить, повысить голос. С дядей Митей этого не случалось. Мне запомнилось его лицо — дубленное от солнца и ветра, лицо катерника. За лето его брови выгорали, как спаленная солнцем трава. Он родился в деревне Хмелино на вологодской земле, где люди немногословны. И он тоже был таким.

МОРЯК БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ

В Севастополе дядя Митя появился в 1928 году. Возрождался отечественный военно-морской флот. В Цемесской бухте поднимали затопленные в гражданскую корабли. Из Новороссийска их на буксире отводили в Севастополь, в доки Морского завода. Первым был поднят эскадренный миноносец «Калиакрия». Эсминец вернули в строй, дав ему новое имя — «Дзержинский». Пройдут годы, и первый командир «Дзержинского» И. С. Юмашев станет главнокомандующим Военно-Морским Флотом.

* Это книги Петра Капицы, И. Стрижаченко, Петра Сажина, Игоря Неверова и других авторов.

Пройдут годы, и командир эсминца «Петровский» И. С. Исаков станет Адмиралом Флота Советского Союза.

Пройдут годы, и молодой вахтенный помощник Н. Г. Кузнецов, прибывший после окончания училища для прохождения службы на крейсер «Червона Украина» *, станет наркомом ВМФ в самые ответственные для страны предвоенные и военные годы.

Я мог бы назвать еще немало фамилий замечательных моряков, которые занимались возрождением Черноморского флота, однако и названных вполне достаточно, чтобы ощутить пульс времени и атмосферу, которая царила в Севастополе, когда по призыву комсомола здесь появился Дмитрий Глухов. Ему было двадцать два года. Несколько предыдущих лет он провел в седле, в схватках с басмачами. И ему уже были знакомы и посвист пуль, и холодный блеск занесенных для рубки сабель, он видел кровь — чужую и свою — и не понаслышке знал, как впиваются в тело пули.

Но если в девятнадцать ты носишься по Каракумам и горным кишлакам, а в четырнадцать зарабатываешь на жизнь, плавая на колесном пароходе «Перекатный» по реке Шексне, если ты вырос без отца — георгиевского кавалера, погибшего в империалистическую, то, заполняя анкету, в графе «образование» ты поневоле напишешь: «начальное». И поэтому из Учебного отряда тебя направят учеником рулевого на крейсер «Коминтерн», в прошлом — «Память Меркурия». А когда ты научишься стоять у штурвала, тебя переведут рулевым на сторожевой катер с гордым именем «Альбатрос», основное занятие которого таскать на буксире учебную мишень. Ты будешь стоять у штурвала, расставив для устойчивости ноги, и через забрызганное стекло рубки видеть, как выходят на позицию эсминцы и крейсера. Обводы трехтрубного «Коминтерна» тебе будут напоминать «Аврору», и ты будешь завидовать ребятам, с которыми ты подружился на крейсере и которые в отличие от тебя заняты настоящим делом. Болванки посланных в буксируемый щит снарядов будут прошивать парусину или плюхаться в воду, иногда даже поблизости от «Альбатроса», но и благодарности и «фитили» будут доставаться другим. Так пройдет год, второй, третий, на рукаве появятся нашивки главстаршины, но обидное чувство, что настоящая жизнь проходит мимо, будет тебя терзать, хотя ты не станешь в этом признаваться, не будешь жаловаться на судьбу и донимать начальство рапортами о переводе.

Отслужив положенный срок, дядя Митя, конечно же, мог уйти на гражданку. Он этого не сделал. Поэт Григорий Поженян сказал мне однажды: «Дмитрий Глухов был моряк божьей милостью. Таких, как он, на всем Черноморском флоте можно было пересчитать по пальцам. Я посвятил его памяти поэму «Эльтиген», такой был моряк, такой мужик...»

Так вот в чем дело: он был моряк божьей милостью, этот главстаршина Дмитрий Глухов, принявший решение остаться на сверхсрочную службу, этот боцман с «Альбатроса», не ведавший, принимая это решение, какая ему уготована судьба...

СЕМЕЙНАЯ ЛЕГЕНДА

Нет, они не встретились вечером на Приморском бульваре, как мои отец и мать, и не играла при этом музыка, все было гораздо прозаичнее — дядю Митю и тетю Катю сосватали.

Тетя Катя, которая уже успела влюбиться в высокого, стройного, затянутого портупеями лейтенанта — приятеля отца по зенитному училищу, — вряд ли бы остано-

* Крейсер «Червона Украина» до 1922 года назывался «Адмирал Нахимов».

вила свой взгляд на главстаршине с внешностью самой заурядной, белобрысом да к тому же невысокого роста. С лейтенантом дело уже дошло до поцелуев, когда его перевели служить на Дальний Восток, где все чаще стали показывать свою враждебность японцы.

По фатальному для тети Кати совпадению ее лейтенант снимал комнату у Марии Новацкой, в замужестве Ефремовой, а дядя Митя — у Макара Новацкого, родного брата Марии и моей бабушки.

Такое обилие родственников, проживающих на Корабельной стороне, где разворачивались события, объясняется тем, что впервые Новацкие осели здесь во времена Лазарева. Семейная легенда хранила память об основателе этого рода, настоящая фамилия которого была Каленник. За давностью времени было забыто, у какого пана был наш предок холопом и что он такое натворил, если вдруг бросился в бега, а пан послал в погоню за ним своих гайдуков.

Нужно сказать, что с тех пор как Екатерина Вторая переселила запорожских казаков на Кубань, единственным обиталищем для беглых крепостных долгое время был Дон. Казачество, хоть и приняло на себя обязательство поставлять царю войско, своих привилегий никому не отдавало, никакие царские приставы туда не допускались. Дон, а затем Кубань, Терек, Яик — Урал жили своим самоуправлением и беглых охотно принимали в свою семью. При Николае Первом казачьи привилегии получило западное Приднестровье в районе Аккерманской крепости. Царь вынужден был на это пойти, чтобы вернуть в Россию тех запорожцев, которые, отказавшись подчиниться вердикту Екатерины о переселении на Кубань, ушли за Дунай, где их охотно принял под свое покровительство турецкий султан. Ясное дело, султану было выгодно иметь такой пограничный заслон, а вот царю видеть своих по ту сторону границы было невмоготу. Тогда он и предложил вернуться казакам на родину и выделил им земли за Днестром. К Днестру и погонял коня наш предок. Согласно легенде он отдал перевозчику своего коня, сел в лодку и уже успел отплыть от берега, когда на взмыленных конях появились гайдуки и открыли по нему огонь из своих ружей. Одна пуля настигла беглеца, но рана оказалась несмертельной, и он благополучно перебрался на тот берег, где для него начиналась новая, свободная жизнь. Правда, путь с правого берега на левый ему был заказан — здесь его всегда могли опознать, схватить и доставить пред очи всевельможного пана, который мог поступить с ним по своему усмотрению: помиловать или до смерти запороть. Чтобы не оставлять никаких улик, на новом месте беглецу давалась иная фамилия. На этот раз долго не раздумывали голова и писарь, сказали: ты у нас новенький, вот тебе и фамилия — Новацкий. И до сих пор, насколько я знаю, живут в том приднестровском селе Новацкие, которые еще в бабушкином поколении находились в двоюродном и троюродном родстве с севастопольскими Новацкими.

Появление нашего прапрадеда в Севастополе связано с тем громадным строительством, которое затеял здесь герой Наварина и первооткрыватель Антарктиды Михаил Лазарев. В 1833 году он получил в свое ведение Черноморский флот и безобразный, жалкий, неухоженный городишко с звучным именем Севастополь, что в переводе с греческого на русский означало Город славы, или Город, достойный поклонения. Задавшись целью модернизировать флот, а заодно привести облик города в соответствие с его именем, просоленный на всех широтах и долготах адмирал призвал архитекторов, строителей, корабельных инженеров — и дотоле спокойные берега Ахтиарской бухты обрели облик невиданной со времен основания Санкт-Петербурга стройки. На вершине Центрального холма возводились белокаменные, в антиянном стиле здания Петропавловского

собора, Морской библиотеки и Дворца главного командира флота. Амфитеатром к морю спускались особняки морских офицеров. Белокаменный портик с колоннами и широкая парадная лестница украсили Графскую пристань. У кромки воды, охватывая бухту огневым кольцом, возводились двух- и трехъярусные каменные батареи, из которых до настоящего времени сохранились только две — Михайловская и Константиновская. На Корабельной стороне, над высоким берегом Южной бухты, выросли громадные корпуса флотских казарм. А между ними и Павловским мыском, где тоже вырастала овальная батарея с темными щелями амбразур, шло строительство нового Адмиралтейства с сухими доками. Для того чтобы ускорить подачу в док воды из Инкермана, вдоль северной бухты был возведен акведук. Вот к этому акведуку у южной кромки Аполлоновой бухты наш прапрадед и пристроил свой маленький домишко, который по сей день стоит на том же самом месте.

Я люблю приходить на берег Аполлоновой бухты и, сидя на перевернутом ялике, смотреть, как набегает на песок поднятая катером волна. Здесь по-прежнему пахнет струганым деревом, смолой, краской, рыбой. По допотопному деревянному причалу пройдет к лодке рыбак, неся на плече весла, и, прежде чем запустить мотор, отведет лодку подальше от соседних, которые сгрудились вокруг причала, как сосунки возле кормящей матери.

Взгляд скользит по громадам кораблей, неподвижно застывшим у бочек. Когда-то здесь же стояли линкоры и крейсера, еще раньше броненосцы и уж совсем давно парусные корабли Ушакова и Нахимова, овеянные славой замечательных побед. Уделом мужчин было служить на этих кораблях, уделом женщин — прямо с порога провожать корабли в море. Корабли удалялись, таяли на горизонте, и сухие, как крымская земля, глаза женщин наливались тоской, горькой, как мутная вода лиманов.

Побеленные известью домики, все те же, что и полтора века тому назад, лепились к скалам, как ласточкины гнезда, маленькие, с крошечными убогими двориками. Я пытался представить себе нашу прапрабабку Меланью, тогда еще совсем молоденькую, бездетную пока еще, которая по примеру своей подружки Даши стала ходить на бастионы — на Первый да на Малахов курган, носила в деревянных бадьях воду для утоления жажды, ухаживала за ранеными, обстирывала солдат и матросов. Иной раз приносила чистое белье, а владельца уже нет, накрыло его бомбой или сразило штуцерной пулей. Потом уже, после войны, родила Кондрата, Василия, моего прадеда, и Дуняшу, тети Катину мать. Кондрат — судя по фотографии, рослый, физически сильный, степенный человек — был участником русско-турецкой войны, служил на кораблях, дослужился до кондуктора, но детей ему, как говорила бабушка, «бог не дал бедному». У прадеда и прабабки было пятеро сыновей и три дочки. У Дуняши — сын и две дочери.

Я смотрю на наш домик и на домик, где жили бабушка Дуня с дедушкой Иваном, где прошла их молодость и где они вырастили детей, и вспоминается мне, как хорошо, как дружно они жили до самой смерти. В их отношениях было много душевности, нежности, любви, и это распространялось потом и на нас. Старших было не принято именовать по имени-отчеству, только так: дядя, тетя. Так и звали: дядя Вася. А дядя Вася перед войной стал председателем горисполкома.

Море лижет обросшие зеленой травой камни, а я думаю о том, что не будь в нашем роду столько патриархальных отношений, возможно, у дяди Мити ничего бы не получилось с тетей Катей, которую он так преданно и так нежно любил всю свою недолгую жизнь.

— Ты понимаешь, — говорила мне тетя Катя, округляя глаза, словно все еще удив-

ляясь тому, что произошло в самом начале тридцатых годов. — Уговорили они меня! Веришь, я и сама не поняла, как сдалась. Я тебе все откровенно говорю. Пришел к нам как-то Макарушка со своей женой. Люди они были замечательные, но бездетные. Ну скажи, что ему не повезло на детей, что дяде Кондрату, как это не справедливо!.. — Она умолкла на минуту, а затем продолжала: — Митя у них поселился, а он ласковый, душевный, они к нему и привязались. Ну прямо как к родному сыну. И решили его за меня сосватать. А время голодное, корова к тому же у нас сдохла, я на заводе у станка целыми днями в красной косыночке вкалываю. Они, конечно, все наше бедственное положение знают, поэтому говорят матери: «Пусть Катюша за Митю замуж выходит. Лучше партии для нее все равно не сыскать, чем наш Митя: он и человек порядочный и паек, как положено, получает, Катюше с ним будет очень надежно». Мама их выслушала — а разговор прямо при мне идет, без всяких увертюк, — и говорит мне: «Ну что?» А я ей в ответ: «Ты, мама, знаешь, я другого люблю». Отвечает: «Знаю. Ты его любишь, а он тебя?» Я говорю: «И он меня!» А она: «Жди. Полгода как уехал. Ты мне скажи, он хотя бы одно письмо тебе прислал?.. Чего молчишь?.. Вот то-то и оно, что уехал и забыл о тебе. Думаешь, одна ты такая красавица на земле?!» Я в рев: обидно же, а главное, крыть нечем. Действительно, нет от моего лейтенанта никаких весточек. Где он, что с ним — ничего не знаю. Реву. Мать и говорит: «Ты же знаешь, доченька, в молодости я тоже одного человека любила. Матросом он был на «Потемкине». Как бунт у них случился, так он и сгинул куда-то. Вышла замуж за твоего отца, и так хорошо с ним прожили, что другого мужа я и не хотела бы теперь. Может, в этом Мите твое счастье, ты лучше приглядись к нему, чем отказывать». Я и дала согласие.

Рассказ этот тетю Катю развеселил, ее темные, как спелая смородина, глаза заблестели, в них вспыхнул былой огонек — воспоминания ее вернули в молодость, когда все еще только начиналось.

— На свидание я пошла не одна — с Валентиной и твоей матерью, мне же, как понимаешь, нужен их совет. Говорю им: «Рассмотрите его как следует». А когда его увидела, думаю, чего тут рассматривать: белобрысый, невидный какой-то. Разве ж сравнишь его с моим лейтенантом, тот и красавец писаный, и осанка у него, как у гвардейца. Повел Митя нас мороженое есть на Приморский бульвар. Потом домой проводил нас с Валей — она тогда еще была незамужняя, жила, как и я, в Аполлоновке. Только Митя ушел, я к ней. «Ну его, — говорю, — к аллаху». А она: «Ты знаешь, а мне он понравился. Хороший человек. Ты, егоза, не спеши с решением, тебя же никто не гонит силком». Мудрая была наша Валентина...

Я тоже любил тетю Валю, самую младшую бабушкину сестру. Годами она была чуть старше и мамы и тети Кати и так же, как они, не имела даже семилетнего образования, но ей была свойственна врожденная интеллигентность, и мудрости ей было не занимать. Неудивительно, что ей понравился дядя Митя, она-то как раз и умела распознавать людей.

— Стал Митя меня встречать у проходной, — продолжала тетя Катя. — То домой проводит, то в кино пригласит. А я танцевать любила. Думаю, когда же он меня на танцы пригласит. А он все не приглашает. Спрашиваю: «Вы, Митя, быть может, не танцуете?» А он покраснел как рак — надо же, действительно, не умеет. Думаю: «Как же я буду с ним всю нашу жизнь жить, если он танцевать не умеет? Что же, теперь и мне всю жизнь не танцевать?!.» Уже решила отказать ему, а он вдруг возьми и заболей воспалением легких. Мне жаль его стало, я и согласилась... Ну поженились мы, скромно все было, у нас дома свадьбу отпраздновали. Кстати, и твои мать с отцом

тоже у нас свою свадьбу справляли. Отец мой рыбы наловил, он же был хороший рыбак, и ялик у нас был. Только рыба одна и была, что у вас, что у нас. Хлеб курсанты из училища принесли, все, что сами за день не съели. С хлебом тогда было очень худо, почти как в войну потом, карточки же тоже были. Вина дешевого купили. Танцевали под патефон. Одни во дворе, другие у дома прямо над морем. А что нам — молодые были, лишь бы собраться вместе. Митя с Сашей сразу же подружились, они были одногодки — оба с шестого, а мы с двенадцатого... И вот когда, значит, мы поженились и я уже ждала Милочку, вдруг приезжает мой лейтенант. Как снег на голову свалился! Иду я с работы, а он на углу стоит, поджидает. Красавец, глаз не оторвать, вижу — уже старшим лейтенантом стал. Я ему еще ничего не успела сказать, а он мне: «Катюша, я за тобой! Знаю, что ты уже замужем, — это не имеет значения». — «Хорошенькое дело, — говорю, — я уже ребеночка жду, а ты вон чего надумал». А он в ответ: «Сам во всем виноват, наделал ошибок, а больше делать не собираюсь. Иди собирай вещи, и вечерним поездом едем в Москву, а оттуда на Дальний Восток, в наш гарнизон. Мне командир две недели дал, чтобы я тебя привез, билеты я уже оформил, поезд уходит через два часа. Жду у пятого вагона. Возьми только самое необходимое и документы». У меня аж голова закружилась. Сама не знаю, что говорю, а говорю я: «Ладно, жди!» Совсем от любви рехнулась. Прибегаю домой и начинаю скоренько вещи собирать. А матери ничего не говорю. Собрала вещи в кошелку, платья, туфли выходные, паспорт взяла, приготовилась, а мать и говорит, протягивая мне миску: «Принеси-ка мне из кладовки капусты». Я в кладовку, да бегом. Вдруг слышу: за моей спиной щеколда звякнула. Я на дверь налегла — факт, заперла меня мамаша. «Не ломись, не ломись, — говорит, — думаешь, я не догадалась, что ты удумала. Мне еще утром Мария доложила, что твой лейтенант пожаловал». Я в рев. «Ты что это мою жизнь губишь?!» — ору из кладовки. «Дуреха, — отвечает, — я ее, если хочешь знать, спасаю. Твою жизнь спасаю, твою совесть. Митю я в обиду не дам». Я потом, когда «Войну и мир» в кино смотрела, так даже заплакала, когда этот Анатоль Курагин, этот красавец, хотел с Наташей бежать. Все как про меня. Мать сорвала мой побег. До утра продержала в кладовке, знала, что Митя на дежурстве. Выпустила со словами: «Уехал твой голубчик. Все тебя ждал возле вагона. Потом рукой махнул и сел в вагон». И вздохнула мамаша, наверное, тоже ей жалко стало человека. Мите я все рассказала, прощения попросила. Откровенно тебе скажу, до сих пор какую-то вину чувствую. Он очень переживал. Выйдет за калитку, стоит, в море смотрит. Однажды я вышла к нему, а у него в глазах слезы. Но простил мою слабость, понял меня...

В год рождения Толика дядя Митя окончил годичные командирские курсы, получил звание лейтенанта и был назначен командиром звена малых охотников, которые также принято именовать морскими охотниками. Это были катера нового москитного флота, которому вверялась охрана водного района, то есть сторожевая служба и борьба с подводными лодками противника. Дивизион катеров базировался в Стрелецкой бухте. В Карантине им дали комнату во вновь отстроенном двухэтажном доме. И все у них складывалось удачно...

МИНЫ НА ФАРВАТЕРЕ

Вот последний мирный вечер звено Глухова заступило в дозорную службу. Остывала земля, приближая час штиля и задумчивого состояния души. Поседевшая от зноя степь дышала полынью и жаром древних камней.

Катера покидали Стрелецкую бухту, оставляя за кормой веер кильватерных струй...

В одной из листовок, выходивших под девизом «Смерть немецким оккупантам!», я прочитал: «Катера Глухова вступили в схватку с врагом в первые минуты войны...»

Часы в рубке оперативного дежурного показывали 3 часа 13 минут, когда яростный огонь зенитных батарей вдребезги разбил звездную тишину космоса, и звезды исчезли, смытые с небосвода качающимися «дворниками» прожекторов.

Представьте себе купол, сотканный из трассирующих огненных струй...

Этот купол пульсировал, как громадная зонтичная медуза, и выплевывал крошечных медуз, которые вырастали прямо на глазах, и падали в бухту, и исчезали в ней.

Немцы предусмотрели все, даже самоотстегивающиеся тонущие парашюты, которые уходили на дно раньше, чем к ним поспевали катера.

Морские охотники били по самолетам из двух короткоствольных сорокапяток, носовой и кормовой, и двух крупнокалиберных пулеметов ДШК.

Еще безмолвна была сухопутная граница на всем протяжении от Черного моря до Баренцева...

Итак, замысел германского командования был предельно ясен: постановкой мин у горловины севастопольской бухты и на фарватере запереть в гавани весь Черноморский флот, а затем массированными налетами бомбардировочной авиации уничтожить.

Утром на траление вышли тральщики. Они тщательно утюжили гавань, выходили за боны, но странное дело — ни одной мины им подсечь не удалось. Словно и не было никаких мин. Но вечером на виду всей эскадры на фарватере при подходе к боновому заграждению подорвался буксир СП-12. На буксире, возможно, еще не знали, что началась война, потому что накануне он находился у Тендровской косы, участвовал в учениях флота и то ли по своей тихоходности, то ли по иной причине лишь теперь вот возвращался в родную гавань. Взрыв невиданной силы взметнул к небу тонны воды и ила, которые в мгновение ока погребли под собой буксир. Катера, которые бросились к месту катастрофы, нашли на плаву пятерых оглушенных, контуженных людей. В момент взрыва их словно сдуло ударной волной, отбросило черт знает куда — и это как раз и спасло моряков. Двадцать шесть человек погибли.

На следующее утро тральщики снова утюжили фарватер и снова это не дало никаких результатов. После тральщиков в море благополучно проследовали для постановки минных полей крейсера «Червона Украина» и «Красный Кавказ». Они уже возвращались и вот-вот должны были пересечь линию бонов, когда прямо у них по курсу под плавучим двадцатипятитонным краном, который портовый буксирчик тащил к бонам для постановки дополнительных противолодочных сетей, развернулась вода, кран, словно игрушку, подбросило кверху, опрокинуло — и он исчез в пучине. Если бы не этот плавкран, то взрыв произошел бы под днищем «Червоны Украины» и свершилось бы то, что задумали немцы: затонувший крейсер закрыл бы выход из гавани с большей надежностью, чем это произошло 11 сентября 1854 года, когда почти на том же месте поперек бухты легли парусные корабли нахимовского флота. Да, случись это — и флот был бы закупорен в бухте, остальное, как говорится, дело техники: на аэродромах Румынии ждали своего часа четыреста двадцать бомбардировщиков.

Мины взорвались на фарватере, следовательно — как это ни горько было признавать, — вражеские пилоты все-таки выполнили свою задачу, несмотря на зенитный огонь береговой и корабельной

артиллерии. Но это было еще полбеды, гораздо хуже было другое: сброшенные врагом мины не поддавались обычному тралению, вели себя непредсказуемо и обладали громадной разрушительной силой.

У БЕРЕГОВ РУМЫНИИ

Гитлер не зря опасался за судьбу румынской нефти — базирующаяся на Крым наша бомбардировочная авиация уже 23 июня совершила налет на военные и нефтяные объекты Сулина и Констанцы. А 25 июня последовал приказ наркома ВМФ Кузнецова налеты авиации поддержать артиллерийским огнем кораблей.

В тот же день в 20 часов 10 минут по фарватеру мимо Константиновского равелина проследовала ударная группа — лидеры эсминцев «Москва» и «Харьков».

В 22 часа 51 минуту Севастополь покинула группа прикрытия: крейсер «Ворошилов», эсминцы «Сообразительный» и «Смышленый».

... Лежащие на фарватере мины среагировали на цель, но заложенная в них программа пока не предусматривала запуск взрывного устройства...

В 4 часа 42 минуты 26 июня лидеры с поставленными парованами* подошли к кромке минного поля, которыми противник защитил подходы к Констанце.

Корабли шли в кильватер, головным — «Харьков».

Прошло не более трех минут, и правый параван головного корабля задел рогульку. Поднявшийся тридцатиметровый столб воды обрушился на эсминец.

Теперь вперед обязан был выходить второй лидер, несущий все парованы.

В 5.00 корабли легли на боевой курс и открыли огонь с дистанции 130 кабельтовых.

В 5.10 в погребах уже на триста пятьдесят снарядов было меньше, зато на вражеском берегу пылали нефтеналивные баки и взлетел на воздух, разметав все на своем пути, железнодорожный состав с боеприпасами, горел вокзал*.

Пора было уходить, тем более что враг открыл яростную стрельбу из дальнобойных береговых батарей. С минуты на минуту должна была появиться и авиация.

Поставив дымовую завесу, корабли легли на обратный курс... Как хорошо было бы продолжить: «...и благополучно вернулись в Севастополь», но...

Сильнейший взрыв, переломив вытянутый корпус корабля, вздыбил обе половины, как бы выстроив над водой пирамиду, — и это было последнее, что увидели моряки с борта «Харькова».

Так 26 июня 1941 года погиб лидер эсминцев — «Москва».

Еще не опала поднятая взрывом вода, а на «Харьков» уже пикировали самолеты.

Лидер шел по минному полю среди громадных белых, словно покрытых инеем, кустов, которые вырастали и опадали на глазах, — это взрывались бомбы.

Ошибается тот, кто думает, что кораблю опасны только прямые попадания. Если

* Параван — подсекающее устройство, которое несет идущий по минному полю корабль, благодаря чему освобожденная от якорь-троса мина всплывает на поверхность.

* *Примечание автора.* Посетив Констанцу, я убедился, что ни наши корабли, ни авиация не тронули центральную часть портового города, где стоит памятник поэту Овидию и уникальный археологический музей.

штормовая волна способна пустить корабль на дно, то какой удар наносит по корпусу взрывная волна!

После очередной встряски на «Харькове» потекли водогрейные трубы — эти вены, в которых пульсирует горячая кровь корабля, вскрой их — корабль замрет.

Лидер еще не замер, но он уже не летел, как птица, со скоростью двадцать шесть узлов. По мере того как в котлах падало давление, его скорость угасала — шестнадцать... двенадцать... десять... семь... шесть узлов...

Что стоит добить потерявший скорость и лишенный маневрирования корабль?!

Они не думали о подвиге. Было одно желание — спасти корабль, и была надежда, что они это смогут сделать. Их густо смазали вазелином, забинтовали лица и руки, облачили в асбестовые костюмы. Когда котельные машинисты Петр Гребенников и Петр Каиров полезли в раскаленную топку корабля, до встречи с кораблями группы прикрытия оставалось никак не менее двух часов...

Лидер ковылял, как стреноженный конь. И кружили, яростно завывая, спускаясь к нему и взмывая кверху, злобные, осатаневшие оводы...

В топке минуты текли в тысячу раз медленнее, чем струйка песка в песочных часах.

Один за другим два «юнкерса» напоролись брюхом на струи свинца и, задымив, вонзились в воду, словно в море хотели найти спасение от огня.

В 8 часов 14 минут лидер ожил и, подняв за кормой бурун, полетел навстречу поднимающемуся над морем солнцу... *

* За проявленную самоотверженность матросы Петр Гребенников и Петр Каиров были награждены орденами Красного Знамени.

Чуть позже на фарватере появилось звено Глухова. Катера должны были перед возвращением кораблей пробомбить фарватер глубинными бомбами. Мера эта была профилактическая: а вдруг где-то залегла на грунт вражеская лодка. Конечно, немцам была неизвестна сложная линия фарватера — этой невидимой дороги, проложенной среди минных полей и нанесенной только на секретные штурманские карты, но не было и гарантии, что какой-нибудь опытный подводный ас — а у немцев было достаточно опытных подводников, поднаторевших в подводной войне с англичанами, — не проскользнет к боновому заграждению, увязавшись за нашим кораблем.

Морские охотники вышли на траверз Херсонесского маяка и, развернувшись, пошли назад, сбрасывая на ходу глубинные бомбы.

В то время дядя Митя держал свой флаг на СК-011. Он стоял на мостике, где кроме него еще находились командир дивизиона морских охотников Гайко-Белан и командир катера лейтенант Перевязко. Командир вел катер, а дядя Митя смотрел на корму, откуда одна за другой уходили в кильватерную струю бочонки глубинных бомб. Через определенный интервал вода за кормой взбухала и, словно из кратера, с оглушительным грохотом вырывалась наружу.

Бомбы, как им и полагается, взрывались на определенной глубине, одни ближе к грунту, другие к поверхности, и, глядя за корму, дядя Митя по характеру выброшенной кверху воды легко определял, на какой глубине взорвалась бомба. И вдруг взрыв, куда более мощный, вскинул к небу черный от ила сноп воды.

— Что это?! Сколько мы сбросили бомб? — поспешно спросил командир дивизиона.

— Сбросили три. Этот, четвертый, взрыв произошел сам по себе, — ответил дядя

Митя, не отрывая взгляда от огромного темного, расползающегося пятна за кормой. — Думаю, — сказал он, — это от детонации взорвалась вражеская мина.

В этот ли миг пришла в голову мысль, которая 5 июля 1941 года обрела силу случившегося факта?..

Из листовки о нем:

«Смерть немецким оккупантам!

...Немцы в первые дни войны, стремясь закупорить Черноморский флот в его главной базе, начали забрасывать севастопольские бухты магнитными и акустическими минами. Никто еще не умел бороться с ними. Только бывалому моряку Глухову удалось обнаружить, что эти мины начинают действовать от детонации. И он взялся собственным катером уничтожить их.

Перед выходом в море Глухов собрал командиров и краснофлотцев СК-011 и сказал: «Скрывать не буду: идем на трудное и опасное дело. Мы должны очистить фарватер и обеспечить путь боевым кораблям. Этого требует страна. Я думаю, что каждый из нас, если он моряк, с радостью выполнит свой долг. Пусть лучше погибнет наш катер, чем будут подрываться большие корабли».

Героическую работу катера наблюдали многие боевые посты и корабли. Они видели, как после взрыва первой мины вверх взметнулся огромный столб воды и закрыл СК-011. Казалось, что водяная завеса необыкновенно долго держалась в воздухе...»

Об этом же из воспоминаний штурмана дивизиона морских охотников Константина Воронина:

«...Наши глубинные бомбы рвались одна за другой, поднимая вертикальные фонтаны брызг и донного ила. И вот воздух задрожал от гигантского удара. В небо взметнулся столб морской воды. Корму катера подбросило вверх. Оголенные винты с пронзительным воем секли воздух.

С берега наблюдатели заметили, как катер пошел носом в воду. Больше ничего не было видно. Оседающие каскады брызг и пены накрыли все. Наблюдатели собрались было доложить в штаб охраны водного района, что морской охотник погиб. Но каково же было удивление сигнальщиков наземного наблюдательного поста, когда корабль на полном ходу вынырнул из облака брызг и дыма.

С морского охотника отсемафорили сигнальными флажками:

«Все благополучно. В помощи не нуждаюсь. Продолжаю бомбометание.

Глухов».

Из журнала боевых действий от 5 июля 1941 года:

«Попытка уничтожить магнитные мины фашистов посредством взрывов глубинных бомб дала первый успех: были взорваны две мины».

ТУННЕЛЬ

Ты думаешь, мне он о чем-то таком рассказывал?! Я и не знала, что он мины подрывает. Он меня берег. Что у него ни спросишь — «Все в порядке, Катюша, не волнуйся», — вот и весь ответ. Да я его почти и не видела, как война началась. Нас он к родителям перевез, в Аполлоновку. В Карантине бомбоубежищ не было, а бомбежки чуть ли не каждую ночь. Милочке шесть лет, а Толику — два! Толик спит, я его на руки хватаю, а Милочка рядышком. Сам представляешь — выскочишь на улицу — сирена воет, бомбы воют, они же нарочно свои бомбы озвучивали, чтобы больше страху нагнать. Пальба идет, грохочет все кругом — на землю бросимся и лежим, ждем, когда это

все закончится. Вот Митя нас и перевез к матери — там туннели рядом, в туннелях народ прятался. И под насыпью железнодорожной тоже, как ты знаешь, туннель есть. Хоть и небольшая, но все-таки бомбой не пробьешь, а это в двух шагах от дома. Правда, потом, когда уже мы эвакуировались на Кавказ, мне об этом рассказывала мама, залетел в эту самую туннель шальной снаряд. В такую маленькую дырку угодил! На излете уже, представляешь, был — прямое попадание. Так что там было!.. На свое счастье, мать с отцом дома остались...

Я знал, что там было.

Тот снаряд, скорее всего, даже не коснулся земли, когда влетел в нору, прорытую под насыпью для того, чтобы здесь могли проходить люди. Автомобиль в ней проезжал уже с большим трудом. И вся эта дыра была плотно забита людьми: стариками, старухами, женщинами и детьми. Здесь укрывались самые слабые. Моя бабушка по отцу — Матрена Черкашина, баба Мотя, — сюда прикатывала на инвалидной коляске свою парализованную дочь Марию, мою тетю.

Темно-серые стены туннеля — это было последнее, что они увидели в своей жизни.

ТАЙНА ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ

Тетя Катя, поглощенная воспоминаниями, рассказывала:

— ...Ты думаешь, я не видела, как катер носился рядом с Константиновским равелином, а за ним взрывы, как веер, раскрывались?.. Прямо с порога дома и видела. Я еще отца позвала. «Смотри, — говорю, — глубинные бомбы кидают, может быть, вражеская подлодка зашла?» Откуда мне было знать, что это Митя тралением немецких мин занимается?! Он, если забегал домой повидаться, то на полчаса. Продукты принесет, детей на руках подержит, заберет чистое белье — и к себе в дивизион. А потом сутками его не вижу. Осунулся. Когда такое напряжение — поневоле осунешься. Я ему: «Побереги себя». Он кивает, улыбается, отвечает: «Все делаем, чтобы всех нас уберечь». Ты думаешь, я от него узнала, что он на своем «СК» вытворял, когда подрывали сначала эти магнитные, а потом, как они... из головы вылетело...

— Акустические, тетя Катя.

— Да, ты правильно сказал — акустические. Так они совсем страшные были. Их же глубинные бомбы не брали, их можно было только шумом винтов подорвать. Он их подрывал, а я об этом не знала. И не он мне потом все это рассказывал, а уже другие люди, когда ему орден Красного Знамени давали...

Магнитные мины... Акустические мины... Магнитно-акустические мины...

Теперь каждый севастопольский мальчишка назовет типы донных мин, сброшенных в Севастопольской бухте и на подходах к ней. А тогда это были просто вешки, поставленные в местах приводнения светлозеленых парашютов. Вешки и рискованная игра со смертью людей, нащупавших ключ к устранению этих адских машин.

Немецкие инженеры, создавая новые, обладающие огромной разрушительной силой мины, казалось, предусмотрели все, чтобы ни одна живая душа не смогла проникнуть в тайны их творения. Всевозможные хитроумные устройства, реагирующие на уменьшение гидростатического давления, на дневной свет, на вибрации всякого рода и шумы, в нужный момент срабатывали, уничтожая и мину и тех, кто осмелился к ней прикоснуться. Наметив сбросить на базу Черноморского флота супермины, в Берлине, конечно же, с нетерпением ждали первых результатов. Для этой цели над Севастополем появлялись «рамы» — самолеты-разведчики — и фотогра-

фировали бухту. Не приходится сомневаться и в том, что в городе находилась немецкая агентура. Естественно, что в Севастополь абвер заслал не желторотиков, а опытных, матерых агентов, и они показали, на что способны, когда накануне первого налета, то есть еще в ночь на 22 июня, вырезали по двадцать пять — пятьдесят метров телефонных проводов, нарушив тем самым связь с тремя главными маяками — Херсонесским и двумя створными Инкерманскими, опорные огни которых должны были послужить ориентирами для немецких летчиков даже в случае затемнения города. Это была квалифицированная работа. В два часа ночи на маяки, связь с которыми оказалась нарушенной, были посланы посыльные на мотоциклах, и два маяка — Херсонесский и нижний Инкерманский — удалось погасить вовремя, но верхний Инкерманский, куда посыльный не успел добраться, так и не погас.

Вполне допустимо, что это была специализированная агентура, в задачу которой входило только наблюдение за бухтой, чтобы в нужный день и час сообщить в центр, что Черноморский флот в ловушке, а если это так, то от немецких агентов не укрылись действия сторожевого катера СК-011. И донесение о том, что русские подрывают мины глубинными бомбами, в таком случае ушло в эфир...

Ко времени, когда на фарватере залегли мины, против которых глубинные бомбы оказались бессильны, звено малых охотников Глухова поработало на славу. Одиннадцать магнитных мин было только на счету СК-011.

К тому же противомагнитной службой был опробован и вселял надежду на успех электромагнитный трал, созданный инженером Лишневским. Это была деревянная баржа, загруженная железным ломом и обмотанная проводами, по которым пропускался ток.

Создаваемое таким образом магнитное поле имитировало магнитное поле большого корабля — и мина реагировала.

Работы велись и в третьем направлении — самом перспективном, суть которого сводилась к уменьшению магнитного поля самих кораблей, доведению этого поля до такого минимума, на которое пусковое устройство мины не станет реагировать. Этим занимались ленинградские физики, первая группа которых прибыла в Севастополь 8 июля. Еще через месяц, в августе, работы по размагничиванию кораблей возглавят будущие академики Игорь Васильевич Курчатов и Анатолий Петрович Александров. Уже осенью они достигнут замечательных успехов по размагничиванию кораблей и нейтрализуют таким образом казавшееся поначалу совершенным магнитное оружие германских ученых и инженеров.

Однако немцы заранее предусмотрели и такой исход — новые мины не реагировали не только на взрыв глубинной бомбы, но и на все усилия электромагнитного трала Лишневского. Они казались неуязвимыми. Было от чего понурить головы.

Тем более что все новые и новые мины по ночам опускались на самоотстегивающихся парашютах в гавань...

И СНОВА СЛУЧАЙ

И на этот раз помог случай.

Морской охотник из звена Глухова СК-0101, обогнув Херсонесский мыс с высокой башней маяка, пошел в сторону мыса Феолент, но, не дойдя до места, где в античные времена стоял храм Артемиды-Девы, заглушил моторы и лег в дрейф. Выбор этого места не был случаен: стоя здесь, можно было видеть практически все корабли, курсирующие между Севастополем и крымско-кавказскими портами. Стало быть, не

было и лучшей позиции для вражеских субмарин.

Катер дрейфовал, заглушив моторы, чтобы акустик мог прослушивать море, а теплый вечерний бриз постепенно относил его к берегу. Когда до берега осталось несколько кабельтовых, командир приказал запустить двигатели, чтобы уйти мористее. Но не успел охотник отойти и двадцати метров, как страшный взрыв подбросил катер кверху. Покалеченный, набравший воды, охотник на одном моторе с трудом дотащился до пирса.

Происшествие было более чем загадочно.

По силе взрыва это могла быть магнитная донка, но что заставило ее отреагировать на маленькое со слабым магнитным полем деревянное судно?

Из воспоминаний участника противоминной борьбы в Севастополе военно-морского инженера Михаила Алексеенко:

«...Когда командир этого катера рассказал о происшедшем Глухову, тот высказал предположение: не была ли эта мина акустической? Вероятнее всего, что именно шум винтов заставил сработать ее механизм.

Глухов пришел к выводу, что если катер на большой скорости пройдет над миной, то от шума его винтов произойдет взрыв, который может и не причинить вреда экипажу. И решил проверить свои предположения экспериментально...»

ХРОНИКА ПОДВИГА

Пожалуй, лучшее описание этого утра и всего, что произошло на рейде, где покачивались на волне зловещие вехи, оставил помощник начальника штаба соединения по оперативной части Владимир Дубровский. Привожу это описание в сокращении:

«...Дело было куда сложнее, чем раньше, когда вытраливали магнитные мины. Надо было точно пройти над миной и вызвать взрыв работой винтов. Операцию продумали до мельчайших деталей. Риск был велик, но расчет точен.

Контр-адмирал Фадеев перешел для наблюдения на рейдовом катере на пост Константиновского равелина. Со стен старого равелина открывался весь внешний рейд, где лежали огражденные вехами мины. На равелине были оборудованы средства связи, а у причалов стояли катера, готовые в любую минуту прийти на помощь тральщикам.

На этот раз не все получилось гладко. Выйдя в район траления, катер Глухова долго ходил в обвехованном районе без всяких результатов. Но после безуспешных двадцати галсов Глухов застопорил моторы катера и сказал:

— А ведь, как я припоминаю, лейтенант Шентяпин рассказал, что он в момент взрыва шел на средних оборотах, а мы носимся, как лихие торпедники».

В кино подобный прием называется «стоп-кадром». Прервем на время рассказ Дубровского и представим себе маленький тесный ходовой мостик морского охотника. У левого борта за штурвалом рулевой, у правого — лейтенант Глухов. Он в синем кителе, на голове фуражка с белым чехлом. На груди — бинокль. Руки сдавили металлический бортик. Корпус подан вперед — так лучше видно. Лицо напряжено так, что выпирают скулы, глаза под выгоревшими бровями прищурены. И лихорадочно работает мозг...

Теперь я понимаю, что его отличительной и, быть может, самой сильной чертой было умение быстро анализировать ситуацию и находить решение. Достаточно было взорваться донной мине от детонации или шума винтов, как он уже обращал случайный факт в метод обезвреживания

секретного оружия немцев. Истина стара — гениальное все просто. Решение каждый раз было простым и надежным. Но и рискованным, а потому он всегда шел первым.

Вот и сейчас, стоя на мостике, он видел, что-то не связывается в причинно-следственной цепочке: шум винтов — взрыв мины. Наверное, первая мысль, которая пришла ему в голову: а вдруг мины не акустические?.. Еще раньше, пока он носился над вешкой и мина не взрывалась, он надеялся, что работает заложенный в мину прибор кратности, но после того как катер пробежал над миной двадцать раз, он уже так не думал, иначе бы не заглушил моторы.

Он думает, а сотни посвященных в операцию людей с напряжением ждут, что будет дальше. И среди этих людей командующий флотом вице-адмирал Октябрьский, командующий ОВРом контр-адмирал Фадеев, сослуживцы, друзья...

Если мины не акустические, то шумом винтов он ничего не добьется. Но и попытка подорвать мину под этой вешкой взрывами глубинных бомб ничего не дала, не иначе, как немцы вмонтировали акустический замыкатель — очередную хитроумную штучку, которая запрещает мине среагировать на взрыв. Взрыв — это хоть и сильный, но кратковременный источник звука. Другое дело — шум винтов. Но шум винтов крейсера или эсминца не идентичен шуму, который издают винты несущегося на полной скорости торпедного катера или морского охотника, — от такого шума предусмотрительные немецкие инженеры наверняка защитились. Стало быть, надо взреветь моторами так, как эсминец, то есть пройти над миной на средних оборотах двигателя. Но уменьшение скорости увеличивает риск самому оказаться в зоне взрыва. Еще и как увеличивается этот риск, ведь немцы не дураки, знают, что по движущейся цели надо бить с упреждением, и, следовательно, мина среагирует еще до подхода катера. Соответствующий механизм заставит сработать взрыватель. Когда же должна взорваться мина, чтобы поразить, скажем, эсминец? Когда корабль будет своей центральной частью находиться над эпицентром, не иначе, только тогда взрывом корпус разломит пополам. Но в таком случае малый охотник удалится от эпицентра взрыва не менее как на два корпуса. Два корпуса — это, конечно, не гарантия, это слишком мало — два корпуса...

Наверное, так текли его мысли в ту минуту, когда мы остановили повествование очевидца. На весах на одной чаше лежала его собственная жизнь и жизнь всех тех, кто находился на катере, на другой чаше — судьба сотен людей, а может быть, и всего флота.

Итак, снова запускаем пленку с записью воспоминаний.

«...Глухов долго еще стоял на мостике, обдумывая что-то, а затем приказал сигнальщику передать на КП равелина семафор — «прошу разрешения пройти над минами на средних оборотах».

Контр-адмирал сам прочел семафор и, немного подумав, сказал:

— Дать добро.

Моряки любят этот сигнал. Он разрешает вам то, о чем вы просите. Обычно он как бы отвечает вашим желаниям. Сейчас это «добро» разрешило страшный риск, но другого выхода не было. И вот катер-охотник снова пошел на прежнему курсу уже на средней скорости. О чем думали и что переживали Глухов и весь экипаж катера? Конечно, каждый понимал, как велика опасность. Глухов накануне выхода в море беседовал с матросами. Он не скрывал серьезности положения и предлагал желающим перейти служить на другой катер. Но таких не нашлось.

Теперь катер-охотник, казалось, совсем

не спеша ходил и ходил от вешки до вешки. Неожиданно раздался взрыв, высоко поднялся столб воды с грязно-черным гребнем и закрыл катер. Потом столб воды обрушился, показалась вначале острая мачта, затем мостик, и, наконец, открылся катер, весь залитый потоками воды, неподвижный, с креном на правый борт.

На КП равелина стало так тихо, что слышно было, как тикали карманные золотые часы в руке контр-адмирала. В момент взрыва он достал их, чтобы заметить время. Брови контр-адмирала были сурово сдвинуты, голосом спокойным и негромким он сказал вахтенному офицеру:

— Что же вы ждете? Высылайте дежурный катер и доктора.

Прошло еще некоторое время, по палубе катера быстро забегали матросы. Береговой пост штаба флота поднял какой-то флажный сигнал для катера-охотника, и пока сигнал разбирали, с охотника начали передавать семафор. Сигнальщик прочел: «Имею повреждения, исправляю. В помощи не нуждаюсь, буду продолжать работу. Глухов».

И действительно, вскоре из выхлопной трубы мотора показался дымок, катер стал на ровный киль и снова резво побежал по уже успокоившейся воде».

Думаю, этот взрыв мины принес дяде Мите моральное облегчение: все-таки расчет оказался верным. Однако из-за риска взлететь на воздух он не запросил замены СК-011 на другой катер-охотник.

«...Снова галсы следовали один за другим, и пенистый след за кормой покрывался пузырьками воды, волны шипели, не успевая успокоиться и набегая одна на другую.

Около полудня, когда контр-адмирал приказал дежурному офицеру передать Глухову семафор — «в двенадцать часов возвратиться в базу», — за кормой катера снова раздался сильный подводный взрыв, но катер благополучно продолжал движение.

А через некоторое время загрохотал новый, третий по счету, взрыв, и катер закрыли вздыбленные в небо потоки воды.

Третий взрыв оказался самым тяжелым. Мина взорвалась настолько близко, что все три мотора враз заглохли. Разрядились, разбрызгивая пену, огнетушители, сорвались со стены в штурманской рубке тяжелые морские часы, сдвинулась и перестала работать радиостанция.

А главное, взрывом ушибло и оглушило людей.

Глухова швырнуло на железную тумбу телеграфа.

Глухов вскоре пришел в себя, объявил на катере аварийную тревогу и вызвал наверх механика.

— Что у вас в машине? — спросил Глухов высунувшегося из машинного люка главного старшину Баранцева.

— Вода поступает в отсек, и людей здорово зашибло. Сейчас запускаю движок, будем воду откачивать.

А вода с зловещим свистом и хлюпаньем тоненькими струйками прорывалась в щели в обшивке корпуса, поступала в машинный отсек, затопила восьмиместный жилой кубрик; как в бассейне, плавали книги, постели, обмундирование матросов. Когда помощник командира осматривал вместе с боцманом отсек за отсеком, казалось, катер сейчас затонет — всюду была вода. Ее не успевал откачивать движок, не успевали вычерпывать ведрами матросы.

Но к Глухову уже вернулось самообладание, и он хладнокровно руководил аварийными работами.

Его уверенность и спокойствие передались матросам, и все работали быстро и энергично.

И когда обеспокоенный контр-адмирал Фадеев на рейдовом катере подошел к борту охотника и спросил Глухова, есть ли

раненые, нужен ли буксир, Глухов уверенно доложил:

— Тяжелораненых нет. Катер доведем своим ходом!

Катер под одним мотором вошел к бухту, тотчас стал под кран и был поднят на стенку для ремонта».

По свидетельству штурмана Константина Воронина, в тот день катер Глухова подорвал не три, а пять мин, причем четвертая и пятая взорвались почти одновременно: четвертая по корме, пятая — по носу. Если это так, то пятая мина была незавешкованная магнитная, которая взорвалась от детонации.

Всего в первые месяцы войны, как отмечает Воронин, морские охотники взорвали сорок одну донную мину, пятнадцать из этого количества приходится на катер СК-011.

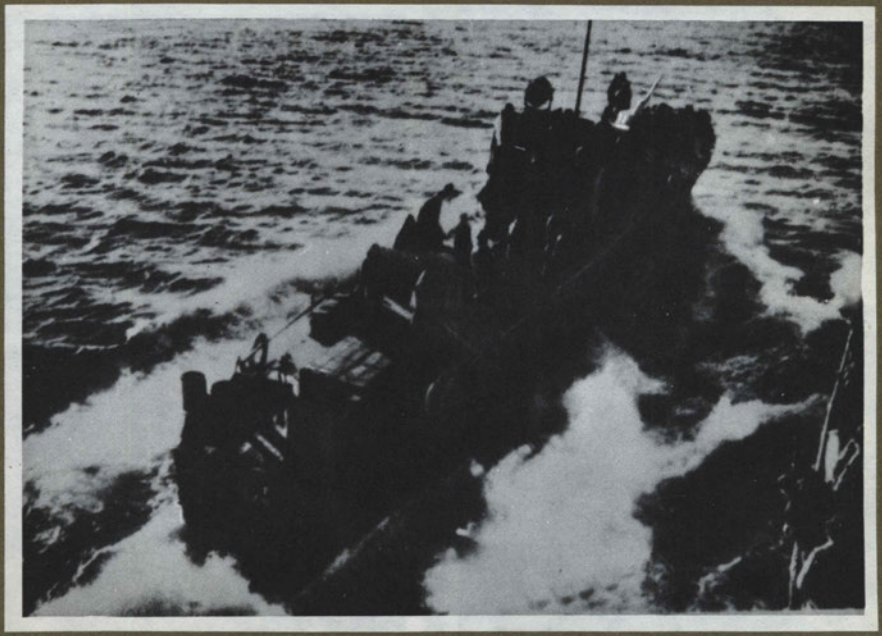
Предполагало ли германское командование, посылая на Севастополь «Юнкерсы-88» и «Хейнкели-111» с минами на борту, такой исход?

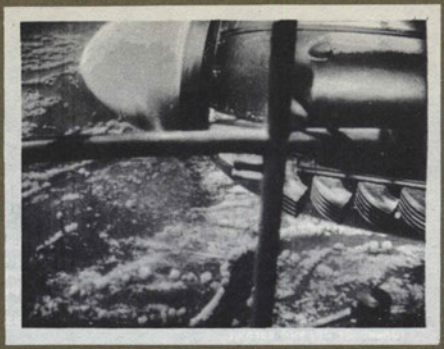
Думаю, в перечне возможных участников антиминной войны, который предусмотрительно был создан в германском военно-морском штабе, морские охотники не значились. А они-то как раз и выиграли эту дуэль, выиграли вчистую, потому что начиная с 5 июля, когда катер Глухова глубинными бомбами взорвал две магнитные мины, уже ни один корабль не пострадал от донных мин. Закупорить и уничтожить Черноморский флот в главной его базе не удалось.

Однажды, стоя на берегу Аполлоновой бухты перед бывшим домом Ковальчуков, я впервые подумал о том, что дядя Митя, занимаясь тралением фарватера, всякий раз играл со смертью, глядя на окна, за которыми, ничего не подозревая, просыпались, садились завтракать, играли, ссорились, мирились, капризничали, плакали, смеялись, рассматривали картинки его дети.

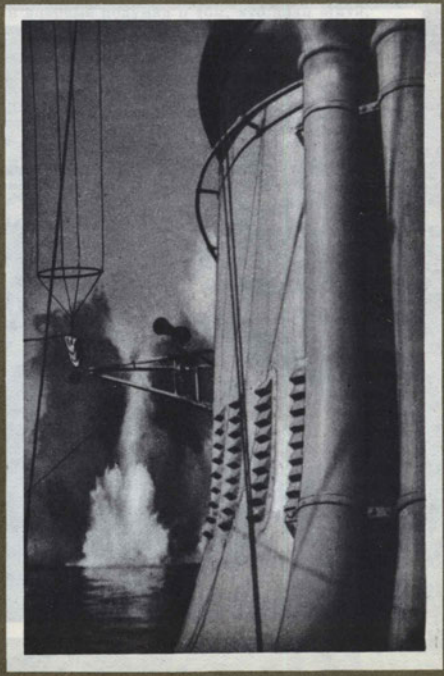
Я попытался вспомнить и не вспомнил ни одного случая, чтобы подвиг совершался при таких обстоятельствах.

Люди и корабли... Судьбы... История...
Если вдуматься: с одной стороны, верховное командование Германии, планирование стратегических и тактических операций, призванных обеспечить успех блицкригу, в целях защиты румынской нефти упреждающий удар по Севастополю, внезапность налета, новые, секретные донные мины, предназначенные уничтожить корабли Черноморского флота, изощренная работа конструкторского и технического ума, уверенность в полном успехе; с другой стороны, звено морских охотников — легкие деревянные суденышки, одно из них на этом снимке, вглядитесь... И снова подумайте: на первый взгляд совершенно несоизмеримые масштабы. Но это только на первый взгляд...



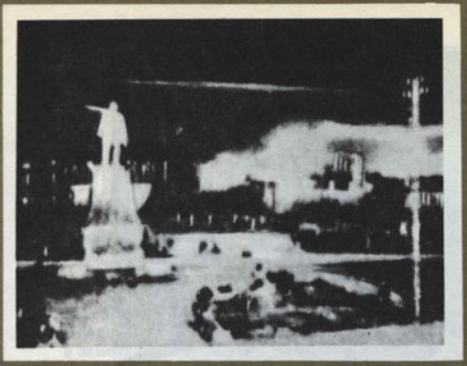


В тот день, когда лидеры «Москва» и «Харьков» приблизились к берегам Румынии и открыли огонь по нефтехранилищам и железнодорожной станции, где стояли эшелоны цистерн с горючим для гитлеровской армии, среди наших моряков не нашлось человека, который бы сфотографировал все это. Никто не заснял гибель нашего лидера. Подвиг Петра Гребенникова и Петра Кандрова. Никто тогда не думал, что это нужно для истории. Но помещенные здесь снимки передают напряжение тех дней...



Решение пробомбить глубинными бомбами фарватер было принято из соображений осторожности: вдруг где-то на грунте залегла вражеская подлодка. Глубинные бомбы уходили под воду, а затем за кормой поднимался привычный сноп вспененной взрывом воды. Никто не предполагал, что в следующий момент на взрыв глубинной бомбы среагирует вражеская магнитная мина.

На этом снимке дядя Митя стоит на своем привычном месте, выражение его лица передает напряженную работу мысли. Изучая его ратную жизнь, я понял, что его самой замечательной чертой было редкое умение быстро, в секунды анализировать ситуацию и находить единственно возможное решение. Так было в Севастополе. Так было в Новороссийске, в Цемесской бухте. Так было и в Керченском проливе, когда он ввязался в морской бой с торпедными катерами и самоходными баржами противника, имеющего многократный перевес...



Последний мирный вечер в Севастополе. Графская пристань празднично иллюминирована, звучит музыка, танцуют на бульварах, на площадях. К полуночи улицы пустеют, моряки спешат на свои корабли, в школах выпускники прощаются с классами, кружатся в вальсе. Рассвет по традиции они собираются встретить на Приморском бульваре...

В начале четвертого ночи над городом появляются самолеты. Один летит низко, чуть ли не над головой. Я успеваю разглядеть большие черные кресты на крыльях... В Москве еще не знают, что началась война, а она уже началась...

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ

СМЕРТЬ ОТЦА

Я не мог не побывать в Киеве, куда так стремился отец и где он погиб 6 августа 1941 года. Словно мне каким-то образом передалось его желание увидеть Днепр, Владимирскую горку, Крещатик, Подол и замечательные соборы, самый древний из которых называется Софийским.

Еще шла война, а я уже знал, что когда-нибудь приеду в этот дивный город, где жили Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович. Три былинных богатыря смотрели на меня с репродукций картины Васнецова, и я думал об отце, и о том, как он хотел побывать в Киеве, и о том, что я больше его никогда не увижу. Образ отца в шинели и буденовке, так похожей на шлем витязей, вставал перед глазами, и сердце сжималось от любви к нему.

В день, когда пришло извещение о его смерти, мама поседела. Ей было двадцать девять лет.

Август был сухим, без дождей, после бомбежки пыль подолгу висела в воздухе. Но в тот день не было налета.

Хроменькая тетя Капа, почтальон, остановилась возле нашего дома и, отворив калитку, печально произнесла:

— Позови маму.

Я громко крикнул: «Мама!» И еще громче: «Мама, иди сюда!» А сам не ушел.

Подошла бабушка, поздоровалась.

— Плохо дело, Феклуша, — тихо проговорила тетя Капа, но я услышал. — Думаю, вашего Сашу убили. Казенное письмо.

— Ольга аттестат ждет, — сказала бабушка. — Наверное, переслали из военкомата, без аттестата сама знаешь каково.

— Дай бог, — сказала тетя Капа.

Мама подошла, ведя брата за руку.

— Распишись в получении, — сказала тетя Капа. И протянула химический карандаш.

— Ну, я пошла, — поспешно сказала она, пряча тетрадку и карандаш в сумку.

Мама уже надрывала конверт...

Я смотрел на нее, пугаясь, что сказанное тетей Капой окажется правдой. Даже сквозь бумагу было видно, что письмо напечатано на машинке.

В тот момент она не застонала, не вскрикнула, она только взглянула на бабушку незнакомыми мне глазами и сказала:

— Мама, наш Саша погиб.

Ночью где-то далеко рвались бомбы. Взрывы напоминали раскаты грома.

Утром я с трудом узнал маму: ее волосы были седыми.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО

Теперь я нередко видел в руках мамы последнее письмо отца. На исписанных химическим карандашом листках блокнота появились блекло-голубые пятна, и я догадывался, что это ее слезы. Я знал это письмо наизусть:

Мой привет вам из действующей армии, дорогие Олечка, Геник, Игорек.

Пока все в порядке. Уже вступили в число боевых единиц, живых немцев не видели, а его бомбы пришлось видеть — при движении нашей колонны ночью обстрелял из пулеметов и сбросил несколько бомб, одна из них упала метрах в 50. Ранило только одного.

Пишу из Киева, стоим на обороне города. Самолеты противника каждый час теребят, но без пользы для него. Каждый раз отгоняем нашей артиллерией и истребителями.

Олечка, я тебе послал письмо заказное, а перед этим телеграмму о том, чтобы ты ожидала письма. Я послал тебе денежный аттестат, который ты можешь предъявлять в любой военкомат, и тебе будут выплачивать ежемесячно деньги. Кроме того, я послал тебе справки.

Пиши, милая, как наши детки. Наверное, скучают за папой. Мне их очень жаль и я очень скучаю. Ведь они не соображают полностью, чем занимается сейчас папа и что такое война. Береги их, Олечка. Пусть растут крепкими советскими эпохи коммунистического общества людьми. Фашизм не может победить. Невзирая на его частичный успех в настоящее время.

Мне хочется получить подтверждение, получила ли ты заказное письмо или нет. Попробуй дать мне телеграмму по адресу: Киевская обл. м. Бровари п/о до востребования мне (туда же попробуй и письмо написать).

Пока. До свидания (я прощаться не хочу).

Целую вас всех. Твой муж и ваш отец, сыночки.
7.7.41.

Я уходил в огород рыть щель. Мы работали вместе с бабушкой. Под тонким слоем серой почвы лежала скала — известняк грязно-бурого цвета. Мы забивали в скалу зубила, долбили ломом, но здесь нужны были крепкие мужские руки, нам же камень поддавался с трудом. Я сбивал появившиеся на ладонях водянки, прикладывал к сочащимся ранкам подорожник, но стреляющая до самых пяток боль не удручала меня — та боль, что сдавливала мне грудь, была пострашнее.

Я всаживал в камень лом, повторяя про себя слова отца: «Фашизм не может победить. Невзирая на его частичный успех в настоящее время...» И не сможет! Конечно, не сможет! Еще никому не удавалось нас победить!

Я повторял эти слова как заклинание.

Вечером в беседке мама говорила бабушке:

— Ты видишь, он чувствовал, что его убьют. Он так и написал: «...я прощаться не хочу». Он не хотел прощаться, мама, он чувствовал, что его убьют!

— Что же ты хочешь, ведь он на войне, — отвечала бабушка. — Не думать о смерти на войне нельзя. Каждый на войне думает о смерти.

Я слушал этот разговор и пытался думать о смерти. «Сегодня ночью налетят самолеты и меня убьет бомбой». Я представил себе падающую бомбу, завывая, она приближалась к земле, но страх не приходил. Я вообще ничего не испытывал, никаких чувств. Я еще не знал тогда, что всему свое время...

А разговор в беседке не умолкал.

— И что за судьба у нас такая! Я в молодые годы осталась вдовой с двумя ребятишками на руках, теперь ты!..

Это говорила бабушка.

Молодые вдовы с детишками на руках, сколько же вас было в этом веке в России?!.

Страшно об этом думать. И горько. Назвали наш век «веком космоса», а его можно было бы назвать «веком вдов»...

Августовским вечером сорок первого года две вдовы сидели в беседке, мать и дочь, а на веранде лежал мальчишка. Он

не прислушивался к разговору женщин. Перед его взором словно в замедленной съемке плыл образ отца — высокого мускулистого человека в гимнастерке, которая плотно обтягивала его сильное тело.

Мальчишка видел и себя, бегущего отцу навстречу...

По рассыпчатому песку, золотому и зыбкому...

Ноги по щиколотку погрузились в теплый и нежный песок...

Мальчишка переступал и проваливался по икры...

Он делал еще один шаг, и нога уходила в песок по колено...

Я, наверное, бредил. И сквозь бред слышал голос мамы:

— Жить мне больше не хочется.

И голос бабушки:

— Ничего не поделаешь, Оля. Тебе придется жить. Ради детей.

Я обязан был побывать в Киеве, чтобы увидеть то, что не успел увидеть отец. Я настолько свыкся с этой мыслью, что мне начинало казаться, что я дал отцу слово. И наконец, я поехал.

ОТКРОВЕНИЕ СТАРОГО МАСТЕРА

Был август восемьдесят первого года...

Лето выдалось дождливым, июнь и июль прошли в громыхании гроз, в шелесте ливней. Но август явился щедрым на тепло и солнце, и омытый дождями Киев сверкал куполами своих многочисленных соборов, радовал пышной зеленью парков и газонов на бульварах.

Наслышанный о красоте «Матери городов русских», я должен был себе признаться, что моего воображения не хватало, чтобы представить себе всю дивную красоту древнего города.

Да, Киев был красив какой-то чарующей красотой, другого слова и не подберешь. Золотые ворота, Ярославов вал, Батыева гора, Замковая, Воздыхальница, Детинка, Щекавица... Одни эти названия горячили кровь, заставляя ее быстрее струиться по жилам.

В Киево-Печерской лавре я спускался в Ближние и Дальние пещеры. В средние века сюда уходили отшельники, чтобы никогда не видеть белого света, солнца, небесной голубизны, трав зеленых в серебристой росе, полевых цветов, чтобы не слышать пения птиц, переливов дождевых струй и гула дубрав, в которых гуляет ветер... Хорошо, если заживо похоронившие себя люди в своих молитвах вспоминали о родине, о народе своем, если у бога просили защиты от кочевников, хлынувших на Русь с востока. Но чаще сбегали они сюда, чтобы выслужиться перед богом, и презирали тех, кто живет в суете мирской, считали их заблудшими овцами, а эти заблудшие рубились в степях и в крепостях с врагами-пришельцами, которые на кол сажали мужчин, с легкостью рубили им головы, а самых крепких мужчин и самых красивых женщин в знойной Кафе-Феодосии или в Стамбуле продавали в рабство.

Там же в Киево-Печерской лавре я любовался золотыми изделиями сарматов, скифов, половцев...

Глядя на великолепную работу древних безымянных мастеров, я вдруг вспомнил каменщика из Гарни — небольшого городка в горной Армении. В дохристианские времена был здесь возведен языческий храм. Он и сейчас стоит на краю глубокого ущелья — шедевр из звонкого зеленого камня, миниатюрный Парфенон — колонны, фронтоны, фризы. Когда мы приехали в Гарни, здесь шла реставрация храма и стройплощадка звучала как ксилофон — таким чистым был издаваемый камнем звук.

Я подошел к старому каменщику, который трудился над орнаментом для фронтона, и в ответ на мою просьбу он протянул мне свое долото и молоток. Продолжая выдалбливать линию узора, я ощутил, как этот звенящий камень тверд, а Мнацаканян, который привез меня в Гарни, обратился к закурившему мастеру и, указывая на массивный фронтон, спросил:

— Скажи, мастер, и как это люди в те еще времена ухитрялись такие тяжести поднимать наверх?

И мудро усмехнулся старый каменщик.

— У людей, сотворивших в камне такую красоту, проблем, как поднять тяжесть, уже не существует, — сказал он.

Слова этого человека мне запомнились на всю жизнь. Одной фразой он многое объяснил. И сколько раз с тех пор я мысленно повторял: «Ты прав, мастер»...

Есть высшая справедливость в том, что произведения искусств нетленны.

В труху превращается булат. Землей становится железо, взятое из земли, чтобы стать орудием смерти, но украшения, в которых щеголяли скифские женщины, чаши, из которых мужчины пили сок виноградной лозы, и сегодня радуют людей.

Однако часто ли мы осознаем, что восхищает нас не золото, искусно обработанное человеком, а талант художника, душа мастера, где, как в горне, пылает огонь творящий, мерцание которого мы видим и через тысячи лет.

Я переходил от витрины к витрине, и зрима была десница безымянного мастера, сотворившего все это, как зрим Вечный огонь на могиле неизвестного солдата, и бессмертна была его душа, жаждущая гармонии, страдающая и страждущая, всегда одинокая под небесным сводом душа художника, обратившаяся в нетленное творение.

И я думал, как жаль, что всего этого не увидел отец...

Возродись он сейчас и встань со мною рядом, он оказался бы на десять лет моложе меня, выше ростом, сильнее физически. Седина еще не посеребрила его виски. Спокойные глаза сильного духом человека. Профессия: защитник Отечества.

Было ли отечество у кочующих скифов или для них отечеством был весь мир?

Какие же они были огромные, могучие... Вижу, как они на быстрых конях без седел мчатся по степи, прочесывая острыми носками сапог серебристый ковыль. Каждую победу над их войском древнегреческие и римские хронисты отмечали как редчайшее достижение. Скифов еще можно было разбить в сражении, но подчинить не удалось никому.

Быть может, это они привнесли в славянскую кровь полынную горечь степей, свободолюбие и тягу к просторам.

И исчезли, как исчезли сарматы, гунны, печенеги, половцы.

ПОГРУЖЕНИЕ В ИСТОРИЮ

Киев просыпался в чистых рассветах, громадный многоликий город, воздвигнутый полянином Кием. Как сказано о том в «Повести временных лет»: «Полем же жившемъ особе и володеющемъ роды своими, иже и до сее братье бяху поляне, и живяху каждо съ своимъ родомъ и на своих местехъ...» — «Поляне же жили тогда отдельно от других и управлялись своими родами; ибо и до этих братьев, о которых речь пойдет в дальнейшем, были поляне, и жили они родами и на своих местах, и каждый род управлялся сам собой. И были три брата: один по имени Кий, другой — Щек и третий — Хорив, а сестра их Лыбидь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек сидел на горе, ко-

торая ныне зовется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата и назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей. И были те мужи мудры и смыслены, и назывались они полянами, от них поляне и доныне в Киеве...»

Город Кия не пропал, не затерялся в веках. Археологи нашли его на Старокиевской горе — городище площадью всего в два гектара.

К граду Кия я решил подняться по старинному Боричеву увозу. Теперь эту дорогу именовали Андреевским спуском — по Андреевской церкви на горе, откуда дорога спускалась к Подолу. Давным-давно там, где начинался Боричев увоз, в Днепр впадала тогда еще судоходная речка Почайна, и здесь была купеческая гавань. Отсюда я и начал свое восхождение на Старокиевскую гору, не предполагая, что наверху, в музее, я найду ответ, почему так тянуло отца в Киев.

Да, этот день оставит след в моей жизни, и, словно предчувствуя это, я волновался, поднимаясь на гору. Мой разум уже был вовлечен в поток размышлений. Обретенные в разные времена знания теперь каким-то образом сцеплялись друг с другом, выстраиваясь в логическую цепочку. Оказывается, ничего не пропало из того, что я успел узнать или прочитать в книгах.

Одно лишь свидетельство арабского географа Масуди чего стоило!

В сочинении «Золотые луга» он нашел нужным написать, что некогда над племенами восточных славян господствовало племя в а л и н о в, коренное между ними. Верховному царю племени повиновались цари остальных племен. Это был мощный и крепкий союз, но потом пошли раздоры между племенами, союз этот разрушился, и каждое племя выбрало себе отдельного царя.

Если бы Масуди жил не в X веке, а значительно позже, можно было бы подумать, что речь идет все о той же Киевской Руси — государственном объединении княжеств, в котором после смерти Ярослава Мудрого пошли раздоры и междоусобные распри, некогда сильное единое государство распалось на отдельные княжества со своими удельными князьями, и продолжалось это до тех пор, пока не произошло новое объединение уже под эгидой Московского князя. Но Масуди жил даже раньше, чем была написана «Повесть временных лет», вот и выходило, что история Киевской Руси была лишь повторением пройденного на новом историческом витке.

Кем же были эти в а л и н ы? Да жителями В о л ы н и, их еще называли д у л е б а м и. В союз племен, который они сплотили и возглавили, входили белые хорваты, уличи, тиверцы, возможно, дреговичи и древляне. «Имена их могут ныне меняться в зависимости от родов и мест, — в середине VI века писал о славянах латинский писатель и историк Иордан из Мезии, — однако в основном они называются с к л а в е н ы и а н т ы. Склавены, — указывает Иордан, — обитают от города Новиетунум и озера, которое называется Мурсиан, вплоть до Данастра и на север до Вислы... Но там, где изгибается Понтийское море, анты — самые могучие среди них — распространяются от Данастра до Данапра».

Нетрудно догадаться, что озеро Мурсиан — это Балатон, венгры в Закарпатье, на Дунай придут уже в IX веке, вытеснив с родной земли славян. Новиетунум — римский лагерь, на месте которого возникла Вена.

Мы не часто задумываемся над тем, что за понятие такое с л а в я н е. После долгих споров ученые сошлись на том, что с л а в я н е, с л о в е н е или с к л а в е н ы — это п о с л а н ц ы в е н е д о в, или, коротко, с л а - в е н е. В е н е, в е н е т а-

ми, венедами назывались праславяне, заселившие Центральную Европу от Одера до Вислы. Постепенно они стали мигрировать к югу, и в III веке нашей эры поселения венедов появились на Дунае — в долинах и низинах с плодородной землей и мягким климатом. Очутившись на новых землях и соприкоснувшись с новыми народами, переселенцы, очевидно, и переименовали себя склавенами. Освоившись в Придунавье, склавены в IV веке решились пойти за Дунай, на Балканы, к берегам Средиземного моря. Переселение было массовым: из Лужицкой земли пришли сербы, с берегов Балтики — ободриты, из Богемии — моравane. Переселенцы несли с собой память о прародине, переименовывая реки, горы, земли; древнюю реку Галикамон они назвали понятным для них словом Быстрица; родину Александра Македонского поименовали Склавенией; греческий город Фессалоники — Солунью.

Память о том великом переселении сохранилась и до наших дней в названии такого города, как Венеция*.

Но «посланцы венедов» мигрировали не только на юг, но и на северо-восток. Энергичные, смелые, они безбоязненно углублялись в дремучие леса. Не смутило их и окружение народов, говорящих на ином языке — прибалтов и финнов, — с которыми они смогли, к их чести, установить добрососедские отношения. Поселившись вокруг озера Ильмень, они стали именоваться ильменскими словенами. Позже, когда на реке Волхов они построили город, назвав его Новым, их все чаще стали называть новгородцами. Потомки венедов новгородцы занимают в нашей истории свое особое место.

В 862 году новгородцы, объединившись с кривичами и финскими племенами чудь, меря, весь, сразились с норманнами-«находниками», «изгнаша их за море и не даша им дани». В 867 году они же, потрясенные участившимися междоусобными кровавыми стычками, в Новгороде собрали на совет своих соседей и союзников, чтобы сообща решить, как жить дальше. И решили — поставить над собой князя. «Поищем и поставим такового или от нас, или от Хазар, или от Полян, или от Дунайцев, или от Варяг» — так сказано об этом решении на страницах Никоновской летописи; и эту запись ученые считают истинной, в записях же из других летописей, написанных позже, переписчики из политических соображений оставили только варягов. Нет, на самом же деле не сразу решили собравшиеся на совет послать депутацию к конунгу Рюрику, а, конечно же, обсудили все варианты, и, наверное, не последнюю роль в их выборе сыграло то немаловажное обстоятельство, что имя конунга и сила его дружины были хорошо известны в норманно-варяжском мире. И действительно, после призвания Рюрика набеги норманнов прекратились. Государственный узел, который завязали пришедшие на Ильмень словене и извечно живущие в Приднепровье поляне-анты, в который, придав прочности, вплелась суровая варяжская нить, со временем стал именоваться Киевской Русью.

Историю Киевской Руси изучают в школе. Мы знаем, как во главе с Вадимом Храбрым восстали против Рюрика новгородцы, погибшие затем от мечей дружинников. Мы знаем, как после смерти Рюрика его наместник Олег, прозванный Вещим, забрав с собой малолетнего Игоря Рюриковича, отправился с дружиной в Киев, где обманным путем заманил и убил Аскольда, — по мнению некоторых ученых, прямого потомка самого Кия. Мы знаем, как, заняв киевский стол, княжили Игорь, Святослав, Владимир, его сын Ярослав,

* В античные времена область на севере Адриатики, где, по мнению ряда ученых, поселились славяне-венеды, называлась Венетия. Однако приблизительно в тот же период времени на юге Европы — на Балканах, Апеннинах, в Галлии — расселялись племена кельтов, что усложняет этнографическую картину.

которому помогли овладеть Киевом все те же новгородцы... Об этих людях, о княгине Ольге были написаны поэмы, повести, романы, поставлены кинофильмы. Но вот о Кие, о его братьях, о его сестре ни книг, ни кинофильмов не было. Мы ничего не знаем о жене Кия, о его детях, внуках, правнуках... Мы только догадываемся о том, что город, который стоял на пути из грек в варяги, не мог иметь заурядную судьбу на протяжении тех веков, которые отделяли основание Киева от прихода сюда Олега с дружиной.

Мы ничего не знаем об отношениях полян с соседями — древлянами и северянами, а ведь об этих племенах писал Иордан из Мезии, называя их антами.

Мы даже не знаем, как толковать само это слово — анты. Есть опубликованная версия известного историка академика Б. А. Рыбакова, который, предполагая иранское происхождение этого слова, переводит его как крайние, окраинные. Есть нигде не опубликованная версия писателя Радия Погодина, которую он высказал мне в частной беседе. С его точки зрения, слово это имеет греческое происхождение. В доказательство своей версии он называл соперника Геракла сына богини Земли Антея. Развивая свою версию, он предлагал слово анты истолковывать как земледельцы или как люди, живущие в землянках.

В том, насколько Погодин бывает прав в своих высказываниях, я смог уже убедиться.

Однажды в пору белых ночей мы шли с ним по набережной от Кировского моста к Дворцовому. Оранжевая заря золотила позолоченные купол и шпиль Петропавловского собора по другую сторону Невы, по которой тихо скользили белые прогулочные катера. И глядя на эти катера, на величественную гладь реки, мы заговорили о том, что когда-то мимо этих берегов, тогда лесистых и болотистых, плыли караваны греческих, римских, византийских купцов, — здесь заканчивался долгий речной путь «из грек в варяги» и начинался все тот же речной путь «из варяг в греки».

Поднявшись на горбатый мост через Зимнюю канавку, Погодин остановился. Невысокого роста, коренастый, с толстовской бородой, с сетью морщин у глаз и высоким лбом, он напоминал древнего мудреца, какими их изображают на своих полотнах художники.

— Ты знаешь, что наши ученые все еще не могут объяснить простое и привычное для нас слово Русь, — сказал он.

Я это знал, читал и у историка Ключевского и в специальных книгах, которые так и назывались: «Происхождение термина „Русь“», «Происхождение названий „Русь“ и „Русская земля“». Версий, действительно, было много, но единой концепции не было.

— Вот я о чем думаю, — продолжал Погодин. — Нужно ли нам гадать, что означает это слово, если сам русский язык это подсказывает.

И он стал перечислять такие слова, как «русло», «ручей», «руза», «руса», «русалка»...

— Заметь, — говорил он, — все ведь эти слова речные: русло — это ложе реки; ручей или русей — это маленькая река — речка; русалка — нимфа, живущая в реке... Когда-то мы не говорили «стены», мы говорили «муры», поляки так до сих пор и говорят, а мы говорим «стены», но при этом в нашем языке сохраняется слово «замуровали». Уверен, что когда-то не было в нашем языке слова «река», а было слово «руса». Руса! Старая Руса, Таруса, Руза — все это слова древние. Уловил уже, к чему я клоню?

Я кивнул.

— Вот именно, — сказал он, — все просто: живущие в поле именовались поляне, живущие среди дерев — древляне, живущие у русы — русью, живущие у моря — поморы. Киев рос, росло и число людей,

живущих рекой. Вот так, на мой взгляд, и возникло это понятие — киевская русь. Это уже потом, когда понятие на государство распространилось, все с большой буквы стало писаться...

Десять лет спустя эта же концепция в более пространном виде была изложена писателем Владимиром Чивилихиным на страницах его книги «Память». Единый, совпадающий до мелочей ход рассуждений меня не удивил, ибо названная логическая тропа уже существовала, нужно было на нее только ступить, и Чивилихин ступил, обнаружив у чешского лингвиста Шафарика сообщение о том, что в старославянском языке река называлась русой. Погодин же ограничился тем, что эти свои высказывания вложил в уста студента-филолога, погибшего на реке Волхов *.

Сравнивая изыскания писателей с мнением академика Рыбакова, согласно которому вдоль Днепра от реки Рось до Киева некогда обитало племя россов, или руссов, я не нашел противоречия, напротив, одно мнение только поддерживало другое.

Итак, если далекими предками поляков, чехов, словаков, сербов — одним словом, западных славян были венеды, то предками украинцев, белорусов и русских были анты — «самые могучие среди них», как отмечал Иордан.

Помню, как эта реплика человека, который, как известно, был летописцем при предводителе готов Германарихе и который, следовательно, повидал на своем веку немало могучих людей, навела меня на мысль, что поразительные достижения наших богатырей на тяжелоатлетических помостах, эта их восхищающая мир физическая сила унаследованы от предков.

Мне казалось, что источник этой необыкновенной силы следует искать в самом образе жизни наших прародичей. «Отец истории» грек Геродот, совершивший в V веке до нашей эры путешествие по Борисфену (так в греческом мире именовался Днепр) и описавший «Торжище Борисфенитов» — крупнейший хлебный рынок в Ольвии, записал здесь любопытную народную легенду. Примерно за тысячу лет до похода Дария на скифов, что случилось в 512 году до нашей эры, дочь Днепра родила от Зевса сына Таргитая, и стал Таргитай первым человеком на этой земле. У него родились три сына. Однажды, когда сыновья выросли, а Таргитая уже не было в живых, упали с неба на землю четыре замечательных предмета из золота: плуг, ярмо, топор и чаша.

Каждый из сыновей Таргитая возгорелся желанием овладеть небесным даром, но успех сопутствовал лишь младшему брату — Колаксаю, от которого сколоты пошли, заселившие землю по Днепру.

Специалисты по древним языкам истолковали имена Таргитая и Колаксая. Первый, оказывается, символизировал урожай и плодородие, имя второго в переводе означало: «Солнце-царь».

Стоило только до этого докопаться, как сразу же вспомнилась народная сказка о младшем из трех братьев богатыре Светозаре (Световите), которому досталось «Золотое царство».

Итак, если верить мифу, еще за тысячу лет до похода Дария наши далекие прародичи обрели не меч, не копье, не стрелы, а плуг, ярмо, топор да чашу. Ярмо — чтобы запрягать волов, плуг — чтобы пахать землю, топор — чтобы вырубать лес.

Давно это было. Еще до рождения Геракла.

Подвиги Геракла хорошо известны, известны и маршруты, которыми он ходил. Возвращаясь от амазонок, которые жили по соседству с нашими предками в причерноморских и донских степях, Геракл на

* Повесть «Мост».

Кавказе освободил прикованного к скале Прометея. По пути в свою Элладу он посетил Трою, которая лежала у него на пути. Это был большой и богатый город, расположенный на азиатском берегу Эгейского моря у самого входа в Дарданеллы. Думается, что, проводя досуг в беседах с Приамом, Геракл рассказывал троянскому царю о светлооких рослых людях, которые живут к северу от Понта*. Он проходил через их земли, общался, принимал от них пищу и дары в дорогу. И поэтому не мог не отметить, что орудия труда у этих людей выкованы из металла куда более твердого, чем бронза, которой пользуются греки.

Да, археологические раскопки показали, что во времена Геракла наши предки уже пользовались железом.

ВЕРСИЯ О КИИ

Желание познать свои истоки во все времена было свойственно нашему народу. Пять веков спустя после смерти Кия в народе крепко держалось мнение, что основатель города был перевозчиком.

А летописец Нестор возражал: «Если бы Кий был перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. А между тем Кий этот княжил в роде своем и ходил к царю, не знаем только, к какому царю он ходил, но знаем, что великие почести воздал ему, говорят, тот царь, к которому он приходил».

Понять ученого монаха из Печерской обители можно: он как-никак жил в стольном городе Ярослава Мудрого, жена которого, Ингигерда, была шведской принцессой, сестра Доброгнева — королевой Польши, дочери Елизавета, Анастасия и Анна — королевами Норвегии, Венгрии и Франции, сыновья его были женаты на немецких принцессах. Киев в те времена своей роскошью превосходил и Лондон и Париж. Представить себе, что днепровский перевозчик может очутиться в хоромах византийского императора, уже было невозможно, это не укладывалось в голове. В Киеве не забыли, как долго император Константин Багрянородный не допускал во дворец княгиню Ольгу и как это было унизительно для киевской княгини — на виду роскошного императорского дворца ютиться на тесном суденышке в Босфоре. Было известно, каким унижениям подвергались те, кого соглашался принять константинопольский царь, — ждали ведь его выхода распластавшись на полу. Нет, перевозчик и император были несовместимы — и Нестор отверг то, что сохранилось в памяти народной. Он сказал: полянский князь. И он сказал: этот полянский князь был с почестями принят во дворце императором.

Любопытно, что никто из историков не обнаружил в византийских подробных хрониках упоминаний о посещении полянским князем Константинополя. Правда, хронист Прокопий Кесарийский сообщил, что некий славянин Хильбудий был военачальником императора Юстиниана. Предположив, что Хильбудий — это искаженное Кийбудий, то есть Кий-строитель, ученые пришли к выводу, что Хильбудий и есть Кий. Правда, в рассказах Прокопия о Хильбудии было много противоречивого, запутанного. С его слов, этот Хильбудий стоял во главе ромейского войска в битве со славянами на Дунае, где и попал к славянам в плен. Все это как-то не вязалось с образом Кия, смущало, и академик Рыбаков написал в одной из своих книг: «Невольно возникает вопрос: не могло ли приглашение Кия в Царьград исходить от другого, более раннего и менее известного императора? Прямого ответа на него не будет, но косвенные соображения возникают...»

Сознаюсь, сомнения одолели меня в

* Так древние греки именовали Черное море.

Киеве. Я рассуждал так: ученые приняли версию Нестора, поддались его логике и убежденности, что Кий никакой не перевозчик, а князь, военачальник, и поэтому в византийских хрониках всегда пытались отыскать фигуру славянина, соответствующего такому образу Кия. Ну а если допустить, что высказанная Нестором концепция была ошибочной?.. Что прав не летописец, а прав народ, который более четырех веков хранил в своей памяти легенду о том, что Кий был перевозчиком... Если допустить, что в VI веке самого понятия князь еще не существовало у полян, живущих той патриархальной жизнью, где суд и политику вершили старейшины... И где, быть может, перевозчиком не мог быть кто попало, а только уважаемый и почитаемый человек, опытный речник, в веденье которого находились немалые плавсредства... И если к тому же еще вспомнить, какую роль в истории, подчас, играет случай, что тогда скажут нам византийские хроники?

В «Истории» греческого хрониста Феофилакта Симокатта есть такой рассказ, датированный 592 годом.

Однажды греки взяли в плен трех чужеземцев, имевших вместо оружия музыкальные инструменты — гусли. «Император спросил, кто они. «Мы славяне, — отвечали чужеземцы. — Хан аварский, прислав дары нашим старейшинам, требовал войска, чтобы действовать против греков. Старейшины взяли дары, но отправили нас к хану с извинением, что не могут за великою отдаленностью дать ему помощи. Хан, невзирая на святость посольского звания, не отпускал нас в отечество. Слыша о богатстве и дружелюбии греков, мы воспользовались случаем уйти во Фракию. С оружием обходиться не умеем и только играем на гуслях. Нет железа в стране нашей: не зная войны и любя музыку, мы ведем жизнь мирную и спокойную». Император дивился тихому нраву этих людей, великому росту и крепости их, угостил послов и доставил им способ возвратиться в свое отечество».

Век этой записи и век основания Киева совпадал — шестой!

Послов трое — и все великого роста, крепкие.

Славяне.

Не воины.

Мудры и авторитетны, коли старейшины доверили им посольство к аварскому хану.

Приняты и обласканы византийским императором, им оказана честь сидеть с императором за одним столом.

Да уж не о братьях ли Кие, Щеке и Хориве идет здесь речь?

Хотелось в эту версию поверить сразу же, без оглядки, но смущало утверждение послов, что их народ живет без оружия. В шестом веке — и без оружия: возможно ли такое?

И вдруг — следующее свидетельство безымянного сирийского географа, датированное все тем же, шестым, веком. Среди народов, живущих севернее Кавказа, географ называет амазонок и соседствующих с ними руссов (россов). Это «люди, наделенные огромными членами тела; оружия нет у них, и кони не могут их носить из-за их размеров».

Рослые, могучие люди, живущие без оружия, — это в равной мере поражает и греческого хрониста и сирийского географа-путешественника. Когда везде воюют, везде льется кровь, есть, оказывается, соседствующие с амазонками руссы, которые обходятся без оружия, живут без войн...

Знакомясь с этими документами, я все больше понимал, что с приходом варягов произошла переоценка ценностей. Ведь и сам конунг Рюрик, и его воевода Хельги —

Олег, прозванный Вещим, и дружинники-варяги, готовые за плату и права на добычу воевать где угодно и с кем угодно, были выходцами из воинственного норманнского мира. По всей Европе тогда ходила молитва: «От меча норманна и стрелы мадьяра упаси нас, господи!»

Типичным носителем алчной норманнской идеи был князь Игорь, поплатившийся за это своей головой. Святослав своими походами и замечательными победами над более многочисленным противником возвел доблесть воина на еще большую высоту, не потому ли и летописец в своем воображении склонен был видеть Кия в облике прославленного предводителя дружины, что, как думалось, и давало ему право на почести со стороны византийского императора.

А может быть, как раз напротив: не ратные успехи, а невиданное доселе миролюбие народа, посланцы которого стояли перед ним, больше всего и поразило императора? Как поразило летописца и географа. Как поражает и нас — далеких потомков тех людей.

Чем больше я думал об этом, тем теснее примыкали друг к другу запись греческого хрониста: «Император дивился тихому нраву этих людей, великому росту и крепости их, угостил послов и доставил им способ возвратиться в свое отечество» и запись киевского летописца: «А между тем Кий... ходил к царю, не знаем только, к какому царю он ходил, но знаем, что великие почести воздал ему, говорят, тот царь, к которому он приходил». И тем сильнее росла внутренняя убежденность, что это о Кие и его братьях написал Феофилакт Симокатт.

В один из дней я не удержался и поделился своей версией со своими друзьями — киевскими журналистами. Они выслушали меня со вниманием. А затем рассказали мне историю, о которой речь пойдет дальше.

История, которую я услышал в Киеве, еще не попала на страницы учебников, но, думаю, это произойдет.

Изыскания не археологов, не историков, а киевского математика Аркадия Сильвестровича Бугая пролили свет на наше далекое прошлое и разом ответили на вопросы, которые издавна волновали ученых.

А вопросы возникали, стоило только открыть «Повесть временных лет» и прочитать притчу об обрах-аварах:

«Когда же славяне, как мы уже говорили, жили на Дунае, пришли от скифов, то есть от хазар, так называемые болгары и сели по Дунаю, и были насильниками славянам.

Затем пришли белые венгры и наследовали землю Славянскую.

В те времена существовали и обры. Те обры воевали со славянами и покорили дулебов, тоже славян, и притесняли женщин дулебских: если поехать нужно обрину, не давал он впрягать ни коня, ни вола, но велел впрягать 3 ли, 4 ли, 5 ли жен в телегу, и они везли его, и так мучили они дулебов.

Были обры телом велики и умом горды, и бог истребил их, и умерли все, не осталось ни одного обра, и есть поговорка на Руси до сего дня: погибаша аки обре; их же нет ни племени, ни потомства».

Не в самом этом рассказе крылась загадка, а в том, что, рассказав, как обры притесняли дулебов на Волыни, киевский летописец ни словом не упомянул, топтали ли аварские кони землю полян или древлян.

От Балтики до Черного моря прослеживали полчища готов Германариха, с востока на запад — на Рим — прокатилась волна гуннов Аттилы, одно имя которого наводило страх на Европу, а в русской

летописи об этом ни слова. Словно все беды прошли стороной Приднепровье...

Археологи тоже удивлялись: сколько они ни раскопали древних поселений на киевской земле, ни в одном их них не нашли остатков оборонительных сооружений. Открытые со всех сторон эти поселения ничем не отличались от современных украинских сел, а ведь Великая степь была рядом. Та самая степь, по которой прошли полчища сарматов, готов, гуннов, обров...

Летописи молчали.

Молчали и иноземные хроники.

То прошлое было покрыто тайной. Загадочное и прекрасное прошлое народа, который даже в разгар аварского нашествия умудрился обходиться без оружия.

Из того загадочного прошлого дожила до наших дней сказка о двух чудо-кузнецах, выковавших плуг «в сорок пудов» и научивших людей пахать землю. Но однажды пришла беда — повадился прилетать из далеких полуденных краев Змей Горыныч. Огнедышащий, страшный, он не только сжигал селения и посевы, но и уводил с собой девушек. Горевали люди, отдавая своих дочерей Змею, но что они могли поделать. И тогда чудо-кузнецы вызвали Змея на ратный поединок. Понимали кузнецы, что в открытом поле не смогут они одолеть чудовище, поэтому решили сражаться в своей кузнице, где — не тогда ли родилась эта пословица? — и стены помогают. Закрыв ворота на кованый засов, превратили кузнецы свою кузницу в крепость.

Долгой и упорной была эта схватка, пока не одолели Змея чудо-кузнецы. Одолев же, впрягли они Змея в свой чудо-плуг и вдоль границ родной земли пропахали гигантскую борозду, которую с тех пор назвали люди Змиев вал.

Кто мог догадаться, что в этой сказке скрыт ключ к ответам на вопросы, над разрешением которых ломали головы ученые?!.

Дело в том, что южнее Киева через поля и леса, протянувшись от Днепра на запад порой до тысячи километров, бугрятся какие-то насыпи. Заросшие травой, они напоминают брустверы гигантских, давно заброшенных окопов.

Зовутся они в народе Змиевыми валами.

Нельзя сказать, что эти валы совсем не интересовали ученых. Интересовали, конечно же. Но вот настоящих, доскональных исследований никто не провел. Что ж, честь и хвала киевскому математику, который, собрав энтузиастов — любителей истории, принялся за дело. Эти люди открыли нам наших далеких предков в прекрасном свете, спасибо им за это.

Раскопки показали, что каждый Змиев вал состоит из глубокого рва и насыпной стены. Местами высота насыпных стен достигала двенадцати метров при шестиметровой толщине! И рвом эта циклопическая оборонительная система была обращена к Полю.

Под слоем земли в стене был обнаружен тын из обожженных бревен. Обжиг оберегал древесину от гниения, это было самое простое и мудрое решение проблемы прочности и долговечности каждого защитного вала. Радиоуглеродный анализ позволил с большой точностью определить время обжига бревен.

Результаты ошеломили всех.

Оказалось, что самый северный вал был насыпан еще за сто пятьдесят лет до нашей эры! Зачем он понадобился тогда, от кого защищал? Отыскивать виновников не пришлось — как раз в это время началось нашествие сарматов.

По мере удаления от Киева к югу возраст оборонительных валов уменьшался, а протяженность их увеличивалась. Оказалось, что у каждого вала был свой адресат: готы, гунны, авары... Натолкнувшись на двенад-

цатиметровую стену с глубоким и широким рвом, как на дамбу, поток кочевников мчался дальше, и только за краем защитной стены этот поток мог растечься, что и случилось на Волыни, где разъяренные обры отыгрались на несчастных дулебах.

Теперь все стало на свои места: люди, которые отгородились от Дикого Поля, от вольного степного кочевья надежной стеной, действительно могли обходиться без оружия.

Не знаю, кем Ты был, наш далекий предок, каким богам поклонялся, но голова у Тебя работала замечательно! Ты выращивал хлеб, сбывал его грекам, скифам кочевым, которые сами хлеба не растили и потому приходили к Тебе, приплывали на кораблях из Афин, с далекого острова Крит. Мудрые да не станут пилить ветку, на которой сидят. Без хлеба не живут люди, хлеб был Твоим оружием, хлеб защищал Тебя от разбоя и насилия.

До тех пор пока не двинулись свирепые сарматы. Даже скифы — эти прославленные воины, которых можно было еще разгромить в сражении, но нельзя победить,— даже скифы не выдюжили против сарматов. Что тогда оставалось делать вам перед лицом страшного нашествия? Покинуть насиженные места, уйти с родной земли на новые земли? А разве там не живут люди, которые встанут на защиту своей земли?

О чем же говорили вы на своих советах, о чем спорили?

И кто из вас первым сказал: в земле родной защиту найдем?!

Сказал: земля нас кормит, земля и защитит.

Сказал: кони и скотина требуют воды, много воды, а сарматы гонят великие стада. И они не станут задерживаться у препятствий, а пойдут к Днестру, к Бугу, к Днепру, к Дону, к Волге.

Сказавший так оказался дальновидным.

Вскормившая вас земля защитила вас, надежно укрыла, и потому жили вы, не проливая ни чужой, ни своей крови, в мире, где правил меч.

И прочь сомнения — только за этими стенами в VI веке могли жить люди, покорившие византийского императора своим тихим нравом. Они предстали перед ним словно святые, не изрекающие, а живущие заповедью: «Не убий!» Чистые души, какие ему и во сне не снились. Не с мечом, а с гуслями пустившиеся в дальний путь.

Было это императору в диво, ибо убедился он за беседой, что люди эти разумны и мудры.

ОСОЗНАНИЕ

К сожалению, миролюбие нередко воспринимается как признак слабости. Еще в Древнем Риме было сказано: «Si vis pacet, para bellum» («Если хочешь жить в мире, готовься к войне!»). Сами римляне, однако, готовились к войне не для того, чтобы жить в мире. Во времена Юлия Цезаря власть Рима простерлась до Британских островов и берегов Балтики. Тогда ли, или позднее, когда столица ромеев была перенесена из Рима в Константинополь, основным источником рабской силы стали миролюбивые и трудолюбивые славяне.

Как это ни горько, но мы должны это помнить. Мы должны знать, что прежде чем вынудили славян взяться за мечи, во всех западно-европейских языках «раб» и «славянин» стало уже одним понятием. И сейчас, говоря «раб», англичанин скажет: «slave», испанец — «esclavo», немец — «sklave».

Не будем этого стыдиться: рабами были замечательный баснописец Эзоп и бесстрашный Спартак, в войске которого,

должно быть, были и свободолюбивые славяне. Это сильными руками рослых и выносливых славян, схваченных во время набегов византийских б а н д*, построены не только крепостные стены, но и великолепные храмы, изящные акведуки. Строили, гнули спины, надрывались в каменоломнях, плавили металл — и все это в адских условиях, но что смогли бы без этих умелых рук сотворить Рим, Византия?!

Однако миролюбие не беспредельно, пришел конец терпению и полян. Не куда-нибудь, а прямо на столицу Ромейской империи, на Константинополь повел свое войско из Киева Аскольд. И гордая, кичливая Византия отреагировала на это стенаниями константинопольского патриарха Фотия: «Народ неименитый, народ не считаемый ни за что, народ, поставляемый наравне с рабами, неизвестный, но получивший имя со времени похода против нас, незначительный, униженный и бедный, но достигший блистательной высоты и несметного богатства, — о, какое бедствие, ниспосланное нам от бога...»

Стоит ли, однако, называть бедствием то, что в 860 году произошло на берегу Босфора, если киевляне не только не сожгли и не разграбили Константинополь, но, заключив с Византией договор «м и р а и л ю б в и», вернулись восвояси.

Настоящее бедствие, патриарх Фотий, выглядит иначе, его познают константинопольцы шесть веков спустя, когда в город ворвутся воины Магомета II Завоевателя и историк воскликнет: «Кто изобразит это бедствие? Кто опишет плач и крик детей, слезы матерей, рыдания отцов?.. Земли не было видно под трупами...» Тот весенний день станет роковым для Византии.

Такое же бедствие, патриарх Фотий, познает и наш народ, когда уже в XX цивилизованном веке на нашу землю непрошеными явятся солдаты, на алюминиевых пряжках которых будут выдавлены знакомые тебе слова: «Gott mit Uns» («Бог с нами»). И будут эти солдаты жечь, грабить, убивать стариков, женщин, детей.

Почему? По какому праву?

А все то же самое, патриарх Фотий, все то же самое. Только на этот раз вещает рейхсфюрер Гиммлер:

«Этот низкопробный людской сброд — славяне сегодня столь же неспособны поддерживать порядок, как не были способны много столетий тому назад, когда эти люди призвали варягов... когда они приглашали Рюриков...»

Все так знакомо, не правда ли: «...народ неименитый, народ не считаемый ни за что, народ, поставляемый наравне с рабами...».

Конечно, владыка, ты мог бы подсказать этим неучам, что киевляне овладели столицей Ромейской империи еще до того, как Рюрик со своей варяжской дружиной ступил на Русскую землю, ты мог бы предостеречь их от заблуждений.

Увы, невежды в истории видят только то, что им самим желательно видеть. Такова их суть. Они мнят, что познали высокую истину, а сами остаются во власти все тех же расхожих представлений, которые бытуют в среде тупых и ограниченных обывателей. Не обладая навыком видеть себя со стороны, они даже не подозревают, как они смехотворны в своем подражании избранным идолам.

Новый поход германского рыцарства против неполноценных славян. Литавры, барабаны, парады. Шагают, высоко подбрасывая ноги, под аркой Бранденбургских ворот словно выдрессированные истуканы. Самоуверенны до невозможности...

А вот и верховный магистр новых крестоносцев Адольф Шикльгрубер-Гитлер — занят тем же: шагает как истукан... Ему уже видится простертая до Урала территория «тысячелетнего рейха», где после смер-

*Б а н д а м и византийцы называли небольшие отряды воинов, которые, вероломно нападая на селения славян, промышляли грабежом и работорговлей.

ти он будет канонизирован как мессия, «бог и отец нации». Уже существуют проекты его гробницы, которая станет святыней для арийцев, как иерусалимский храм для христиан и кааба для магометан. А ему бы вспомнить, что произошло ровно 700 лет тому назад, когда крестоносцы-тевтоны пошли на Новгородскую землю. Тоже ведь, собираясь в поход, устраивали смотры пешим и конным войскам. Тоже не сомневались в своей победе — знали, что Русь изнемогла в сражениях с татарами. В пепелищах лежали многие русские города, на шестах вдоль дорог, привлекая ворон, торчали срубленные головы. Капут оставшемуся в одиночестве Новгороду, а потому — «Drang nach Osten!»

Иногда задумаешься: да изучали ли они в школах на уроках истории, как воины Александра Невского наголову разбили рыцарей Тевтонского ордена?

Знали ли они, как вблизи деревни Грюнвальд (по-литовски Жальгирис) неполноценные с их точки зрения славяне — поляки, чехи, русские из Пскова, Новгорода, Смоленска, Киева, — объединившись с литовцами в 1410 году, разгромили цвет германского рыцарства?

Знали ли они, что шляпа их кумира Фридриха Великого выставлена в одном из ленинградских музеев: король Пруссии потерял ее на поле боя, когда спасался бегством от русских солдат?

Знали ли они, как полковник Суворов после взятия Берлина велел публично высечь на площади тех журналистов, что посмели презрительно писать о россиянах?

Ах, зачем листать страницы учебников, копаться в прошлом, когда так замечательно в исступлении промаршировать по улицам... Айн... Цвай... Айн... Цвай... «Drang nach Osten», «Gott mit Uns»...

В Киеве отечественная история впервые раскрывалась мне не в виде событий и дат, а в виде нравственных понятий, первое из которых уже было названо — м и р о л ю б и е.

Еще была заповедь Святослава, его бессмертные слова, сказанные накануне боя с византийцами: «Да не посрамимъ земле Руские, но ляжемъ костьми — мертвыи бо срама не имамъ!»

И было завещание Ярослава Мудрого, его наказ сыновьям:

«Имейте любовь между собой, потому что все вы братья, от одного отца и от одной матери. И если будете жить в любви между собой, бог будет в вас и покорит вам врагов. И будете мирно жить. Если же будете в ненависти жить, в распрях и ссорах, то погибнете сами и погубите землю отцов своих и дедов своих, которую добыли они трудом своим великим».

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ

Вот полуденный час я был, быть может, единственным посетителем музея. В сонной тиши мои шаги будили старушек, они дремали на служебных табуретках, тихие и неподвижные, как экспонаты. Я поднимался с этажа на этаж, переходил из зала в зал, и на меня молчаливо взирали века и тысячелетия. Печенеги, половцы, татаро-монголы... Киевская Русь исчезала, таяла, на смену приходили Украина, Россия, Белоруссия. Были различия в судьбах, было и много общего. В зале, где было собрано казацкое оружие, мое внимание привлек перечень известных случаев переселения украинских народных масс в русские земли, начинался он с записи: «1570 г. М. Черкашенин с козаками в Рыльский уезд».

По соседству на табличке был приведен еще один документ от 1621 года:

«Семен же Опухтин сказал: ходили до Дону на море на добычу атаманы и козаки. Атаман Василий Шалыгин. А с ним

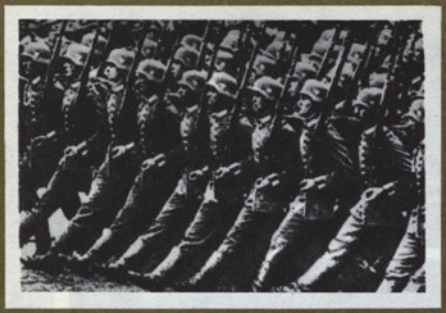
1300 человек: да с ними же запорожских черкас 400 человек. Атаманы были больше черкашены — Сулима да Шило. Да Яцко...»

И все разом стало на свои места: отец — потомок старинного казачьего рода, а вот всю свою жизнь стремился в Киев, на Днепр, потому что здесь и была наша прародина. Проходили века, а зов родной земли не исчезал, каким-то образом передавался по наследству. Память земли, память крови...

В проеме окна, словно на картине живописца, были видны заднепровские дали, окаймленные щедрой синевой, речной и небесной. Где-то там, среди ярких зеленых полей и лесов, лежали Бровари, откуда пришло последнее письмо отца и где он погиб 6 августа сорок первого года.

А вокруг серого здания музея, вздымаясь над покосившимися, вросшими в землю домиками, над заросшими бурьяном дворами и узкими переулками, стояли освещенные полуденным солнцем древние холмы, молчаливые свидетели славянской жизни. Иссеченные саблями степняков, пронзенные стрелами, пробитые пулями, развороченные фашистскими бомбами и снарядами, они походили на украшенных рубцами сивых стариков. И я подумал: «Родина, ведь она в каждом из нас...»

Отец, возможно, погиб в тот же день, когда был сделан этот снимок. Был август сорок первого года. Пора звездопада. Но в тот год люди, которые оборонялн Киев, не замечали звезд. Вражескнс самолеты приближались к городу без сигнальных огней, но натуженный, порождающий тревогу гул мощных моторов предупреждал об их приближении. Проходила мнута, другая — и в небо разом, по команде вонзались лучи прожекторов... Затем в дело вступали зенитки...



Так это было в Берлине.
Литавры... барабаны... парады... На алюминиевых пряжках три слова: «Gott mit uns» — «Бог с нами». Шагали, высоко подбрасывая ноги, словно истуканы. Верховный магистр новых крестоносцев Адольф Гитлер занимался тем же — маршировал. Ему уже виделась простертая до Урала территория «тысячелетнего рейха», в котором он будет канонизирован как «бог и отец нации»...

План войны с Советским Союзом, или «директива № 21», поначалу именовался «план Фрица», затем он получил новое кодовое наименование — «план Барбаросса». «План Барбаросса» датирован 18 декабря 1940 года. 9 июня 1941 года в Берхтесгадене состоялось последнее совещание Гитлера с военачальниками, которые доложили о готовности к нападению. Прощаясь, Гитлер изрек: «Желаю успеха. На параде в Москве увидимся».

Так это было в Крыму, под Севастополем. Привитая фельдфебелями привычка держать строй, равнение не покидала гитлеровских солдат даже в окопах. Для поддержания ратного духа им вдалбливали: не за горами тот день, когда доблестная армия фюрера промаршрует по Красной площади в Москве. Но все чаще из глубин сознания всплывала заповедь великого Бисмарка: никогда не воевать с Россией...

12 мая 1944 года все там же — под Севастополем сдавшиеся солдаты 17-й полевой немецкой армии не бросили свои каски как попало, а сложили их так, словно этим каскам предстояло промаршировать в парадном строю. Сказалась все та же, въевшаяся с годами привычка.

Эта картина своей безысходностью в те майские дни поразила всех: трупы вражеских застрелившихся солдат и офицеров лежали у кромки воды на берегу Стрелецкой, Казачьей и Камышовой бухт и легкий бриз шевелил какое-то несметное множество выброшенных фотографий «бога и отца нации», который еще три года тому назад с упоением рисовал им сказочные земли на востоке и красочный парад в Москве: литавры, барабаны, шелест победоносных знамен...

А парад в Москве на Красной площади действительно состоялся.

Adolf Hitler

А ТАК ЭТО БЫЛО В МОСКВЕ, НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ

Вот они — поверженные штандарты и знамена новых крестоносцев: черные мальтийские кресты, знакомые еще воинам Александра Невского, фашистские свастики, золото триумфальных венков...

Это они развевались на парадах в Берлине, утверждая идею «тысячелетнего рейха» и веру в особую миссию Германии установить в мире новый порядок.

Это их пронесли завоеватели по столицам и городам покоренной Европы. Кровь, смерть, рабство таилось в их шелке, голод и концлагеря.

Таким ли грезился победный парад фюреру, когда 9 июня 1941 года он прощался со своими генералами в Берхтесгадене!! О таком ли триумфе мечтал он, изрекая: «На параде в Москве увидимся»!!

Вот он — наглядный урок истории: знамена поверженного фашизма на Красной площади. Те самые знамена, под которыми гитлеровцы маршировали на своих парадах. Те самые знамена, которые завоеватели с триумфом пронесли по городам и столицам покоренной Европы. Пройдут еще несколько минут — и под четкий барабанный бой советские воины бросят их к подножью Мавзолея.

Так начнется парад Победы на Красной площади.

Так завершится недолгая история «тысячелетнего рейха».

СРАЖАЮТСЯ АРМИИ, ПОБЕЖДАЮТ ЛЮДИ

КАРТА-ГРАФИК

Парад немецких войск на Крещатике был назначен на 8 августа. Приказ был отдан не командующим группой армий «Юг» фельдмаршалом Рундштедтом, а лично фюрером.

Давно замечено, что подобные приказы Гитлер и его генералы издавали, когда у них изрядно что-то не ладилось. В данном случае затянувшееся стояние под Киевом обеспокоило ставку Гитлера. Дело в том, что еще в июне была разработана карта-график передвижения армий. Согласно этому плану Киев должен был пасть еще в первой половине июля. В конце августа — начале сентября наступал черед Москвы и Ленинграда. Отдавая приказ сровнять оба города с землей, Гитлер изрек: «Это будет народное бедствие, которое лишит центров не только большевизма, но и московитов вообще». В октябре планировалось выйти на берега Волги, еще через месяц немецкие солдаты обязаны были промаршировать по улицам Баку и Батуми...

Изучая немецкие военные материалы, я неоднократно подмечал чуть ли не патологическую легкость, с какой желаемое выдавалось за действительное. Уже на четырнадцатый день войны Гитлер заявил: «Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл».

Когда 11 июля две танковые немецкие дивизии прорвались по киевскому шоссе и вышли на рубеж реки Ирпень, до окраин украинской столицы оставалось не более двадцати километров. Что такое двадцать километров для танковых дивизий и армий, если за две недели они смогли преодолеть расстояние от границы до Днепра?! И вдруг эта заминка. В Берлине ее восприняли как случайность, временный сбой. Об этом свидетельствуют дневники Гальдера. Затем Гитлеру это надоедает, он отдает подстегивающий приказ, назначает дату парада на Крещатике. Рундштедт бросает все силы. В наступлении участвуют: лучшая армия генерала Штюльпнагеля, 1-я танковая группа генерала Клейста, элита войск СС: лейбштандарт «Адольф Гитлер» и танковая дивизия «Викинг». С каждым днем бои носили все более упорный характер...

Поставив многоточие, я мысленно перенесся в те дни. Там был отец. Его батарея. Налеты вражеской авиации: «мессершмитты», «юнкерсы», «хейнкели»... Пронзительный, бьющий по нервам вой пикирующих самолетов и устремившиеся навстречу им трассы зенитных снарядов... Выстрелы, разрывы, крики раненых... Вести огонь приходилось и днем и ночью... Потом настало шестое августа... Седьмое, восьмое, девятое, десятое — тебя уже вон сколько дней не было в живых, отец, а Киев все еще держался...

Уже после войны бывший гитлеровский генерал начальник главного разведывательного управления генерального штаба сухопутных войск Курт Типпельскирх в своей книге «История второй мировой войны» признает: «Гитлер был мало удовлетворен достигнутыми успехами. От танковых клиньев на основании опыта войны в Европе ожидали гораздо больших результатов. Русские держались с неожиданной

твердостью и упорством, даже когда их обходили и окружали. Этим они выигрывали время и стягивали для контрударов из глубины страны все новые резервы, которые к тому же были сильнее, чем это предполагалось».

Сводки с фронта поступали не только в военные ведомства, но и министру пропаганды рейха Геббельсу. В мае сорок пятого в Берлине был обнаружен его личный дневник. Глупцом Геббельса не назовешь — этот низкорослый колченогий уродец имеет хитрый, подлый, коварный ум. Его ведомство не только в совершенстве овладело искусством обработки мозгов собственного народа, но также принимало самое активное участие в процессе международной дезинформации накануне войны. Однако, читая дневниковые записи Геббельса, нельзя не поразиться тому, сколь ограничен этот ближайший приспешник Гитлера. Вот он записывает: «Русские защищаются мужественно. Отступлений нет». После таких слов можно было бы и трезво взглянуть на вещи, но как раз на это министр пропаганды и не способен, начатую запись он заканчивает утверждением: «Это хорошо. Тем скорее оно будет впоследствии».

«В общем происходят очень тяжелые и ожесточенные бои. О «прогулке» не может быть и речи. Красный режим мобилизовал народ. К этому прибавляется еще баснословное упрямство русских. Наши солдаты еле справляются. Но до сих пор все идет по плану...»

«Их союзником является пока еще славянское упорство, но и оно в один прекрасный день исчезнет!»

Думается, что на основании одних лишь этих записей опытный врач-психиатр без особого труда смог бы поставить диагноз не только рейхсминистру пропаганды, но и всему фашистскому режиму, при котором на смену веры пришел маниакальный фанатизм, надежды — алчность, любви — ненависть и страх. А славянскому упорству не только не грозит кризис, как предсказывал Геббельс, но, напротив, оно уже обретает новую форму. Вскоре весь мир с удивлением, восхищением и надеждой будет следить за мужественной борьбой городов-героев.

ЛИРИЧЕСКИЙ ТРАКТАТ О ГОРОДАХ-ГЕРОЯХ

Ни в августе, ни в сентябре сорок первого года мы еще не знали такого понятия: город-герой. Его еще не было. Был громадный фронт, растянувшийся на тысячи километров от Черного моря до Баренцева, и были сотни небольших, средних и крупных городов, лежащих на пути наступающих гитлеровских армий, корпусов, дивизий, и было достаточно много приказов с требованием любой ценой удержать тот или иной город — приказов, которые не удалось выполнить.

В годы войны славу героев заслужили всего четыре города: Одесса, Севастополь, Ленинград и Сталинград.

Уже гораздо позже, когда настала пора осмыслить Отечественную войну, в числе городов-героев были названы Москва, Киев, Минск, Новороссийск, Керчь, Тула, Мурманск и крепость-герой Брест. Названные города, словно магнитом, притянули к себе острия вражеских стрел. Минск и Керчь — это города, которые прославились своим сопротивлением в годы оккупации.

Поначалу оказанное под Киевом и Одессой сопротивление вражеская сторона восприняла как кратковременную задержку, быть может, нелегко, но все-таки устранимую при определенных усилиях. Судя по документам и более поздним признаниям, генералы и фельдмаршалы вермахта ожидали яростное сопротивление под Москвой и Ленинградом, но уж никак не под Одес-

сой — город посреди ровной степи был открыт как на ладони. Ни гор, ни рек, ни густых лесов и никаких искусных линий со рвами, дотами и дзотами, вязками колючей проволоки, ежами и надолбами, — казалось бы, гони прямиком на танках, дави, сбрасывай защитников в море... Но странное дело — вопреки стратегической и тактической логике как раз этого и не произошло. Стрелки, указывающие направление ударов, столь тщательно нарисованные в генеральном штабе на секретных картах, спустя приемлемый срок не ожили, подобно пробуждающимся по весне змеям, и не поползли на восток навстречу утреннему солнцу, а, напротив, замерли, словно впали в спячку.

Так, совершенно неожиданно для немецкой стороны, уже поверившей в свой окончательный успех, возник феномен городов-героев.

Наши войска отступали — это правда, но при этом они не походили на разбитую наголову, бегущую в панике армию, как того жаждали гитлеровцы. Скорее, положение наших войск можно было сравнить с истечением расплава. Что стекло, что металл в состоянии расплава можно легко кромсать ножницами, сдавливать щипцами, вдавливать, но лишь стоит расплаву кристаллизоваться, затвердеть, как он превращается в твердую и неподатливую массу. И вот совершенно стихийно, порожденные в первую очередь силой духа и отчаянием, вылившимся в решимость умереть, но не отступить, возникли крупные очаги сопротивления, которые в эти критические дни сыграли роль первых центров кристаллизации. Этот процесс кристаллдизации, начавшийся в зародышевом состоянии еще в Брестской крепости и уже открыто под Киевом и Одессой, получил свое завершение под Сталинградом и Новороссийском, что сразу же проявилось решительным переломом в характере войны. Теперь уже наши войска, наши армии стали как никогда крепки и монолитны, а немецкая сторона, напротив, стала дробиться, провисать, как провисает лист уставшего металла, прогибаться.

Этот процесс превращения нашей армии в сталеподобный монолит, в котором столь важную роль сыграли города-герои, имел ту замечательную особенность, что каждый город-герой, существуя сам по себе, одновременно влиял на судьбу другого города-героя. За примером далеко ходить не надо. В том пресловутом приказе ставки вермахта от 21 августа, в двух его пунктах называлась наша 5-я армия, которая в районе Коростеня остановила 6-ю армию фельдмаршала фон Рейхенау. «Только окружение Ленинграда, соединение с финнами и уничтожение 5-й русской армии приведет к освобождению сил и создаст предпосылки... для успешного наступления и уничтожения группы армий Тимошенко» — так было сказано в приказе. Маршал С. К. Тимошенко в это время командовал войсками Западного и Резервного фронтов, которые защищали подходы к нашей столице. Вот и получается, что 5-я армия, закрепившись на Коростеньском плацдарме, не только надежно прикрыла Киев с северо-запада, но и, по признанию самого Гитлера, уже в августе защищала Москву, приковав к себе значительные силы противника. Эти силы еще более возросли, когда, подчинясь вышеупомянутому приказу, командующий группой армий «Центр» фельдмаршал фон Бок вынужден был снять с московского направления и бросить против 5-й армии 2-ю немецкую армию и уже знакомую нам по Бресту 2-ю танковую группу Гудериана.

Наша художественная литература в долгу перед подвигом 5-й армии, перед ее бойцами, командирами и командармом генералом Михаилом Ивановичем Потаповым. Пожалуй, в первые дни и месяцы войны не было в наших войсках второй такой армии, которая бы так досаждала гитлеровцам.

На армию Потапова постоянно натал-

киваешься и в ежедневных записях Гальдера, и в приказах командования сухопутных войск, и в приказах германского верховного главнокомандования. И это понятно — с первых часов войны 5-я армия сражалась с удивительным хладнокровием и если отходила, то не потому что не смогла удержать рубежей, а потому что так складывалась ситуация на фронте, у соседей. Заслонив собою Киев, эта армия совершила выдающийся подвиг, приковав к себе две армии, одна из которых, повторяю, считалась лучшей в вермахте, танковую группу Гудериана, автора наступательных операций при помощи танковых клиньев, и лейбштандарт «Адольф Гитлер», гордость фюрера, и СС лейб-гвардейскую моторизованную дивизию.

В составе 5-й армии в тот решающий момент, когда потребовалось остановить 1-ю танковую группу Клейста, был молодой генерал, командир приданного армии 9-го механизированного корпуса К. К. Рокоссовский, ставший за годы войны выдающимся полководцем.

Вместе с 5-й армией героически сражались бойцы и командиры 6, 12, 26 и 37-й армий, удерживая в течение с е м и д е с я т и дней Киевский плацдарм. Киев пришлось оставить, но каждый погибший на древней земле от рядового красноармейца до командующего фронтом генерал-полковника М. П. Кирпоноса мог сказать, что остался верен заповеди Святослава: «Да не посрамим земли Русской, но ляжем костьми — мертвые сраму не имут!»

ПРИЗНАНИЯ НЕМЕЦКОГО ГЕНЕРАЛА

21 августа 1941 года, поставив свою подпись, Гитлер никак не мог предположить, что после войны некоторые его бывшие генералы и некоторые западные историки в этом приказе увидят чуть ли не основную причину поражения германской армии. Веских аргументов при этом никто не приведет, но будут рассуждения: не вмешайся, мол, Гитлер в дела генерального штаба сухопутных войск — и немецкая армия еще в сорок первом была бы в Москве, ну а уж потом...

«Часто спрашивают: смогли бы немцы выиграть эту войну, если бы им удалось захватить Москву? Это чисто академический вопрос, и никто не может ответить на него с полной определенностью. Я лично считаю, что, если бы даже мы овладели Москвой, все равно война была бы далека от благополучного завершения. Россия настолько обширна, а русское правительство обладало такой решимостью, что война, принимая новые формы, продолжалась бы на бескрайних просторах страны. Наименьшее зло, которого мы могли ожидать, — это партизанская война, широко развернувшаяся по всей Европейской России. Не следует забывать и об огромных пространствах в Азии, которые тоже являются русской территорией».

Эти трезвые слова принадлежат немецкому генералу — начальнику штаба армии, на которую фюрер возложил историческую миссию ступить на Красную площадь. Правда, 9 мая 1941 года тот же генерал по этому же вопросу придерживался совершенно противоположных взглядов. Выступая в этот день на совещании высшего руководства сухопутных войск, он тоже говорил об отличительных чертах русских воинов, но тем не менее свою речь закончил такими словами:

«Наши войска превосходят русских по боевому опыту... Нам предстоят упорные бои в течение 8—14 дней, а затем успех не заставит себя ждать и мы победим».

Отрезвление пришло ровно через четыре года.

Находясь в плену, генерал выступил со статьей «Роковые решения», в которой было сделано следующее признание:

«Московская битва принесла немецким

войскам первое крупное поражение во второй мировой войне. Это означало конец блицкрига, который обеспечил Гитлеру и его вооруженным силам такие выдающиеся победы в Польше, Франции и на Балканах. Первые роковые решения были приняты немецким командованием в России. С политической точки зрения самым главным роковым решением было решение напасть на эту страну.

Теперь нам пришлось вести войну с более сильным противником, чем тот, с которым мы встречались до сих пор.

На бескрайних просторах Востока нельзя было рассчитывать на легкие победы...

После молниеносных побед в Польше, Норвегии, Франции и на Балканах Гитлер был убежден, что сможет разгромить Красную Армию так же легко, как своих прежних противников. Он оставался глухим к многочисленным предостережениям. Весной 1941 года фельдмаршал фон Рундштедт, который провел большую часть первой мировой войны на Восточном фронте, спросил Гитлера, знает ли он, что значит вторгнуться в Россию...

Фельдмаршал фон Рундштедт, командовавший группой армий «Юг» и после фельдмаршала фон Манштейна наш самый талантливый полководец во время второй мировой войны, в мае 1941 года сказал о приближающейся войне: «Война с Россией — бессмысленная затея, которая, на мой взгляд, не может иметь счастливого конца».

К событиям, о которых пойдет речь далее, фельдмаршалы Рундштедт и Манштейн имеют самое непосредственное отношение.

Первый — как главнокомандующий группой армий «Юг».

Второй, в ту пору еще только генерал-полковник, — 12 сентября 1941 года возглавил нацеленную на Крым 11-ю полевую армию.

КОМЕНДАНТ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ КРЫМА

Это верно, что сражаются армии. Но верно и то, что побеждают все-таки люди. На Бородинском поле ни одна из сторон не получила явного преимущества. Но в тот час, когда Кутузов решил без боя отвести свои войска, Наполеон проиграл не только войну, он потерял трон.

Событие, о котором пойдет здесь речь, даже не событие, а эпизод, каких немало случалось в войну и о котором можно говорить, как о событии только в силу его влияния на весь ход событий в Крыму, не явилось на свет само по себе, а было результатом мыслей и поступков многих вовлеченных в общее дело людей. Когда невысокого роста, широкоплечий лейтенант Заика появился в каземате генерала Моргунова, этому событию уже был дан ход. Так, положив в землю зерна, мы еще не знаем, каким будет урожай, урожая еще нет, и где-то витает опасение, что его вообще не будет, и в то же самое время он уже есть, потому что зерна лежат в земле.

На листке календаря стояло число — 21 августа 1941 года.

Накануне Петр Алексеевич Моргунов вернулся из поездки по Крымскому перешейку, где, как ему доложили перед отъездом, уже велось строительство оборонительных сооружений. Начиная с 14 августа, когда пришло распоряжение Ставки сформировать для обороны Крыма на базе 9-го стрелкового корпуса 51-ю Отдельную армию с полномочиями фронта, к его былым обязанностям начальника севастопольского гарнизона и командующего Береговой обороной флота прибавилась еще одна обязанность — коменданта Береговой обороны Крыма с подчинением командарму 51-й, кандидатура которого еще решалась в Москве. Буквально на следующий день позвонил по прямой связи нарком-военмор Николай Герасимович Кузнецов и

приказал выделить для укрепления перешейка тяжелую артиллерию из резерва главной базы. Поэтому Моргунов и выехал на перешеек, чтобы на месте выбрать позиции для новых батарей.

В сопровождении двух офицеров от артиллерии и инженерных войск Моргунов изъездил весь район от Чонгарского моста до Перекопа. Обвалившиеся окопы, ошметки ржавой колючей проволоки, выщербленные снарядами бастионы Турецкого вала еще напоминали о героическом штурме Перекопа войсками комфронта Фрунзе.

С нарастающей тревогой Моргунов замечал, что возведение новых оборонительных сооружений велось малыми силами, к тому же с вялостью, преступной для военного времени. Эмка пылила по проселочным дорогам, и он все больше убеждался, что Крым совершенно не подготовлен к обороне. Оно, казалось бы, и понятно: ну кто всерьез мог предположить, что на этом узком степном перешейке снова придется воевать. Уже давно все считали, что и глубокий Татарский ров, от которого и родилось само понятие П е р е к о п, и Турецкий вал, возведенный два века тому назад французскими фортификаторами, принадлежат лишь одной истории да еще, быть может, киностудиям, вздумавшим снимать здесь исторические фильмы.

Однако враг уже стоял за Днепром, осаждал Одессу, пытался овладеть Киевом.

От Перекопа до излучины Днепра, где немцы могли появиться со дня на день, было всего-то несколько часов хода на автомобиле, и Моргунов, все яснее оценивая складывающуюся ситуацию, сидел в машине с нахмуренным видом, он понимал: плохо дело!

Мутные, как зеленое бутылочное стекло, воды Сиваша дышали гнилью. Красные солончаки и серебристо-серая полынь вблизи берегов, а далее, куда ни кинь взгляд, серая, как расстеленное солдатское сукно, ровная степь... Моргунов вспомнил, как 8 ноября 1920 года сильные отгонные ветры неожиданно так понизили уровень воды, что комфронта Михаил Фрунзе тут же принял решение форсировать Сиваш в районе Литовского полуострова. Если бы не те ветры, то пришлось бы идти на штурм, брать укрепления в лоб, как это делала 51-я дивизия Блюхера. Она вынуждена была идти на верную смерть, иначе противник смог бы часть своих сил перебросить на Литовский полуостров и сбросить обратно в Сиваш немногочисленный авангард Красной Армии. Двадцать лет спустя Моргунов, участник тех событий, понимал, как легко было перекрыть ту тонкую струйку, которая, просочившись сквозь укрепленный рубеж, разрушила, казалось бы, неуязвимую оборону врангелевцев. И он помнил, как потом конница вырвалась на просторы Крыма и с ходу ворвалась в Керчь, в Феодосию и в Севастополь, который как раз покидали, отчаянно дымя, дредноуты, крейсера и миноносцы английского и русского флотов. Белогвардейцы увели отечественные корабли в Бизерту, лишив родину сильного флота. Моргунов отметил это вскользь, главное же было в другом — и генерал Моргунов это сейчас понимал как никогда — в том, что Севастополь уязвим с суши. Логика подсказывала, что проще всего защитить Севастополь именно здесь, на Перекопе. Вот почему так важно было все предусмотреть, увидеть все слабые места, все, чем мог воспользоваться враг. Имея у себя в резерве тридцать одно морское дальнобойное орудие, которыми надлежало укомплектовать запланированные батареи, он подумал о том, что Каркинитский сектор следовало бы усилить еще двумя тяжелыми полевыми батареями. Потенциально уязвимым тогда оставалось лишь одно место — берег Каламитского залива, где в 1854 году высадилась англо-французская армия. Немцы не могли не помнить об этом. Любой, даже немногочисленный, но сильный, мобильный десант мог нанести коварный удар с тыла

на заранее намеченном участке, и в пробитую брешь неминуемо бы хлынула, все сокрушая на своем пути, многочисленная немецкая армия.

Думая об этом, Моргунов на обратном пути приказал завернуть в Николаевку, севернее которой в Каламитский залив острым уступом выдавался мыс. Глинистый высокий берег здесь был отвесно крут, и Моргунов решил, что лучшей позиции для береговой батареи на случай морского десанта и не сыщешь.

Как раз совсем неподалеку отсюда и высадились 1 сентября 1854 года англо-французы. «Пусть и батарея носит пятьдесят четвертый номер, — подумал он. — Пусть это напоминает нам о тех событиях, следом за которыми началась героическая оборона Севастополя».

Если бы в тот августовский день генерал Моргунов знал, как он близок к истине...

ЛЕЙТЕНАНТ ЗАИКА

Лейтенант стоял и молча смотрел на генерала.

— Повесь фуражку и иди сюда, — сказал генерал, жестом подзывая лейтенанта к столу, где лежала расстеленная карта Крыма.

Перед тем как вызвать к себе Заику, Моргунов внимательно изучил личное дело лейтенанта. Родом из Кременчуга. Возраст — 22 года. Год назад закончил Севастопольское военно-морское училище Береговой обороны имени ЛКСМУ. Отлично показал себя на выпускных стрельбах. Упорен. Скромен. Открыт. Честен. Хороший спортсмен. Пользуется авторитетом. Будучи помощником командира батареи номер два на Константиновском мысу, в ночь на 22 июня давал оповещение «Большого сбора» сигнал «Юкон». И вот теперь, глядя на ладно сбитого лейтенантика, генерал подумал: не слишком ли он большую ответственность возлагает на плечи этого молодого человека, назначая его командиром 54-й батареи? Ведь в его распоряжении имелись командиры и старше и опытнее Заики... Правда, окончательного слова еще не было сказано, Моргунов снова пытливо взглянул на Заику.

— А ты чего это голову вдруг побрил? — удивленно спросил генерал, вдруг вспомнив, что Заику его товарищи называют Ваней-чубчиком. Это генералу тоже сообщили, когда он наводил справки.

Лейтенант улыбнулся.

— Врач на батарее велел, товарищ генерал, — пояснил он. — Немец бомбит, вон уж сколько ранений в голову, осколки каску запросто пробивают. Доктор и велел всему личному составу постоянно брить головы, чтобы ему потом время на эту процедуру не терять.

— Предусмотрительный у вас доктор, — покачал головой генерал, не понимая, почему ему вдруг стало весело. — И что же, все подчинились?

— Все, как один, побрили, товарищ генерал. Да чего там, все равно причесываться некогда: целый день по батарее носишься, то одно, то другое, а ночью у дальномера торчишь — парашюты с минами засекаешь.

— Некогда, говоришь, а вид у тебя такой, словно прибыл ко мне прямо из парикмахерской, — генерал усмехнулся.

— А я, товарищ генерал, надежду по-прежнему имею девушку хорошую встретить. Надеюсь, что, взглянув на меня, найдет она во мне теперь нечто общее с героической внешностью товарища Котовского.

— Думаешь, достаточно побрить голову, так уже вылитый Котовский? — снова улыбнулся генерал.

— Ну пусть и не вылитый, товарищ генерал, а все-таки лишний шанс имеем, — с уверенностью сказал лейтенант, и Моргунов вдруг понял, почему он остановил выбор на Заике: у таких парней, как этот лейтенант, и в трудную минуту руки не

опустятся. Надежная порода людей, на которую всегда можно положиться.

— Ну так вот, лейтенант Заика, — лицо Моргунова вмиг посуровело, на лбу обозначились складки. — С сегодняшнего дня ты назначаешься командиром новой береговой батареи номер пятьдесят четыре. Назначение батареи — отражение морского десанта, для чего тебе вверяются четыре стодвухмиллиметровых орудия. Начнешь на пустом месте, если есть сомнения, высказывай.

— Приложу все силы, чтобы оправдать доверие командования, ваше доверие, товарищ генерал, — сказал Заика, не выкрикнул, а именно сказал, и это тоже понравилось генералу.

— Скрывать не буду, лейтенант, положение у тебя незавидное. Пойми это сразу. Взялся за гуж, не жалуйся потом, что не дюж, никаких оправданий не приемлю! Враг прет на Одессу; по нашим сведениям, Антонеску парад на Соборной площади назначил на двадцать третье августа. Хрен у них что получится из этой затеи, вместо парада торжественные похороны — это мы обещаем. Думаю так: пока Одесса в наших руках, враг на высадку десанта не пойдет. Слишком рискованно, когда флот господствует на море. Там не дураки, это понимают. А вот как дальше все повернется, жизнь покажет. Откровенно говорю тебе об этом, потому что времени на раскачку у тебя, лейтенант, нет. Задача, считай, непосильная. Так чего же я от тебя тогда хочу? А хочу, чтобы ты с этой непосильной задачей справился! И всего-то.

Говоря все это, генерал внимательно смотрел на лейтенанта, который по возрасту годился ему в сыновья, и видел, что слова его не пугают Заику, хотя не мог он не понимать, чем чревата для него новая должность, не мог не отдавать себе отчета в том, что, взвалив на себя ответственность, он отвечает за батарею головой не в переносном, а в самом буквальном смысле. И нравилось генералу в лейтенанте то, что парень согласен был взвалить на свои плечи ответственность без всяких оговорок. И все-таки по молодости лет он мог столкнуться с проблемами, справиться с которыми ему будет непросто, и поэтому генерал проговорил:

— Я тебя назначаю, Иван Заика, за тебя и несу ответственность. И с меня строго спросят. И поэтому, если всерьез забуксуешь, не жди худшего, сразу дай знать. И еще себе уясни: противник не должен проведать о батарее. Маскируй работы. И потом, когда уже все будет готово, не выдай свое присутствие раньше времени. Внезапность, как тебе внушали в училище, — половина успеха, и это правда. Враг доказал, что умеет взять внезапность на вооружение, теперь черед показать и нам, что мы не лыком шиты. Уяснил?

— Уяснил, товарищ генерал, — ответил Заика.

Моргунов кивнул.

— Ну, тогда и принимайся за дело, — сказал генерал.

Она говорила, а я слушал ее, ничего не записывая, только запоминал, потому что не запомнить то, что рассказывала она, уже было невозможно.

— Ваня в Николаевке появился двадцать четвертого августа. Почему запомнила число?.. А как его не запомнить, если вся моя жизнь с того дня изменилась?! Запомнила я этот день на всю жизнь! Сама я крымчанка, родом из Новопокровки. После семилетки поехала учиться не в Симферополь, а в Феодосию, до нее было ближе. Закончила медтехникум и по распределению попала в Николаевку. Врачей тогда с дипломом в селе не сыщешь, в городе их не хватало. Фельдшеры всем заправляли. Помню, нам в техникуме так и объясняли: фельдшер — это человек, который заботится о других в полевых условиях, «фельд» — по-немецки «поле», другими словами: фельдшер — это лекарь для сельской местности. А лекарю и двадцати еще нет. Приехала, гляжу: медпункт хороший,

с приемным покоем, с амбулаторией, есть стационар — более десяти коек. Одна медсестра. Была она чуть постарше меня, мы с ней сразу же подружились. И вот двадцать четвертого августа только мы с ней одеяла на окна повесили для светомаскировки, как кто-то в дверь стучится. Открыли. На пороге стоит один знакомый товарищ из сельсовета и какой-то морячок.

— Вот это и есть фельдшерица наша николаевская Валя Хохлова, комсомолка, — зачем-то говорит сельсоветчик моряку, а затем уже ко мне обращается:

— Вот, Валентина Герасимовна, привел к тебе товарища командира на ночлег.

А моряк добавляет:

— На одну ночь, подружка, завтра как-нибудь на местности разберусь.

Говорю:

— Проходите, товарищ командир. Стационар уже какими-то бойцами в морской форме занят, а в приемной еще свободная кушетка есть.

А он:

— Да мне, сестричка, хоть на полу.

— Зовите меня Валентина Герасимовна, — говорю я ему строго и веду в приемный покой, где стоит кушетка.

Стелю я ему, а он все на меня смотрит, смущает. Постелила, говорю:

— Спокойной ночи, товарищ командир.

— Спокойной ночи, — отвечает, а сам смотрит так, словно не хочет, чтобы я уходила. «Ну и нахал!» — думаю. Лицо бронзовое, голова бритая — ну чистый абрек, каких в кино показывают.

Утром принесла ему молока с хлебом. А он сидит без кителя, в белой маечке, и мускулами нарочно играет.

— Сладкое у вас тут молоко, — говорит, затем встает, напяливает китель и вдруг, представляете себе, ни с того ни с сего наклоняется и целует меня в щеку.

«Вот тебе и товарищ командир, — думаю. — Ничего себе командир, просто развязный нахал, считает, раз моряк, то, значит, все ему можно...» Я покраснела, выскочила за дверь, даже не видела, когда он ушел.

Через несколько дней снова заявляется. С гитарой. Тут война идет, а он с гитарой! И нахально просится переночевать. Ну а как откажешь командиру, даже если бы мой личный дом был, все равно не имею права отказывать; но злюсь на него страшно.

— Ночуйте, — говорю, а сама и не смотрю на него.

А он ведет себя как ни в чем не бывало. Говорит:

— Не сообразите ли, Валентина Герасимовна, мне чего-нибудь поесть, хотя бы чаю с хлебом, весь день не ел.

Ну, я, конечно, принесла ему хлеба, помидоры у меня были, сало. Чайник на электроплитку поставила. Захожу, а он опять в своей белой маечке на кровати сидит и гитару настраивает.

— Садись, — говорит, — Валюша, сегодня я для тебя петь буду.

Думаю: «Тоже мне Лемешев нашелся!» После «Музыкальной истории» мы все на Лемешеве помешались.

А он словно мои мысли угадал.

— Оно, конечно, — говорит, — я не Лемешев, но тоже чувства имею и через песню передать их могу.

И запел «Очи черные, очи карие». Да так хорошо запел, что от неожиданности я даже растерялась. Глаза у меня, как видите, действительно карие. И выражением лица он мне дает понять, что как бы обо мне поет. Хоть и думаю, что с такими парнями, как этот командир, ухо нужно держать востро, а сама таю. Он пел, пел, а потом встает, обнимает меня своими железными ручищами и целует... Меня еще никто так не целовал. Аж голова закружилась, недаром говорится, что голову человек теряет. Я уж почти ее потеряла, когда удалось вырваться.

Спрашиваю:

— И не стыдно?.. Вот так...

А он на меня с восхищением смотрит.

И нет, чтобы как-то оправдаться, извиниться, говорит:

— Бывают же такие красивые девушки! Ах, чует мое сердце, что погиб в Николаевке лихой артиллерист.

Я его и слушать не стала, сразу за дверь. Шмыгнула к себе в комнатенку и дверь на крючок закрыла.

Утром пришла — а его уже нет. Записка только на столе лежит. Навестить обещает. А я даже не знаю, как его зовут. Для меня он по-прежнему товарищ командир, подпись неразборчива.

Пришла моя напарница, а я реву. Она переполошилась: обидел кто?

Я сквозь слезы отвечаю:

— Обидел!

И рассказываю, что вчера случилось. А она вдруг стала хохотать. Говорит:

— Милая, да ты же сама в него влюбилась.

— Ну вот еще, — говорю. — С чего это ты взяла?.. Да и какая сейчас может быть любовь, сейчас война!

— Война-а-а... — Она смеется. — А вспомни, — говорит, — фильм «Чапаев». Что, не было тогда войны?! А Петька с Анкой-пулеметчицей друг друга полюбили. Вы чем хуже?

Это ее «вы»... Уже поженила. До сих пор помню, как сердце сжалось, когда она это сказала. Говорю:

— Я даже имени его не знаю!

— Узнаешь еще, не беда, — отвечает. И смеется, и заливается. Весь день надо мной подтрунивала. Вечер подошел, а я уже жду. А его нет. И на второй день нет! И на третий, и на четвертый... Я уж думаю, хоть бы пришел наконец, а он все не приходит. Неделя прошла — нет! Дней через десять прибегает ко мне матрос.

— Я за вами, Валентина Герасимовна. Командир прислал. Велел сказать, что очень вы ему нужны.

Думаю: не дай бог что-нибудь случилось. Хватаю на всякий случай сумку с медикаментами. Приходим. Земля разворочена. Жарко. Кирками, лопатами, ломами работают, а земля сухая и красная, словно ржавчина. А под землей — скала. Пыль на потные тела садится, измазаны все как черти. Я своего командира и не узнала сразу. Такой же, как все, чумазый, ломом скалу долбает. Матрос его окликнул и тут же исчез. А мой командир лом отложил, вскарабкался ко мне.

— Видала, что творится? Суток не хватает, людей не хватает, ломов вон и тех не хватает... Значит, так, я тебя, Валюша, люблю, предлагаю тебе стать моей женой. — Выпалил и смотрит на меня.

Говорю ему:

— Вы вон мне предложение сделали, а я даже не знаю, как вас зовут. Хотя бы представились для начала.

Отвечает:

— Оплошность свою исправлю. Иван сын Иванов. И фамилия простая — Заика.

— Не очень звучная фамилия, — говорю. — Но я согласна.

— Ну вот и умница, — говорит он и показывает на палатку. — Как время выпадет, пойдем все и оформим честь по чести, а сейчас запомни — вон моя палатка. Теперь она наша.

Стояла она на берегу — зеленая брезентовая палатка, где была раскладушка и чемодан с его вещами. И стала эта палатка нашим первым семейным домом. По ночам мы слышали, как внизу под обрывом шумит прибой. И так пахло полынью горько и сладко, что не забыть мне этого никогда...

СУТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО МОМЕНТА

Все-таки пришел такой день, когда лейтенант Заика, набрав коммутатор, попросил соединить его с генералом Моргуновым. Услышал голос генерала, проговорил:

— Забуксовал, товарищ генерал.

— В чем дело?

Голос генерала был резким, и Заика подумал, что генералу, наверное, не до него, но уже все равно ничего нельзя было исправить, и поэтому он сказал:

— Нужна комиссия, товарищ генерал Кто-то из нас — я или политрук батареи — неправильно понимает задачу момента! Поправляюсь — политическую задачу момента. Прошу срочно разобраться.

— Завтра будем у тебя, — изрек Моргунов и дал отбой.

Батальонный комиссар, что соответствовало майору, и званием и годами был старше командира батареи. Никто не знал, почему он был назначен политруком батареи, но сам он явно тяготился тем обстоятельством, что командиром у него был мальчишка, лейтенант, и, возможно, по этой причине, он вмешивался чуть ли не во все его распоряжения. Одно это Заика, пожалуй, еще вытерпел бы, хуже было другое: политрук ввел за правило каждый день проводить занятия по политграмоте и, отложив шанцевый инструмент, батарейцы по полтора часа в светлое время суток проводили с блокнотами и карандашами в руках. И это в то время, когда каждая минута была на счету. Когда Заика высказал свое недоумение, глаза политрука нехорошо сузились и в голосе прозвенел металл.

— Разберемся, товарищ лейтенант! Вижу, вы не понимаете сути настоящего политического момента, ничего, разберемся...

— Сейчас, товарищ батальонный комиссар, есть один главный политический момент — это защита Родины! Я так это понимаю! И пусть партия решит, кто из нас прав!

Выпалив это, Заика пошел звонить Моргунову. «Если я не прав, — думал он, — пусть меня снимают. Пусть даже разжалуют, но мириться с тем, что мы теряем драгоценные часы, я не буду».

Разбор конфликта на следующий день был коротким. Начальник политотдела Береговой обороны полковой комиссар Силантьев, уяснив суть разногласий, отстранил батальонного комиссара. Что с ним стало дальше. Заика не знал, но через несколько дней на батарее появился новый комиссар — бывший кузнец, начавший службу на флоте еще в двадцать седьмом году, Савва Павлович Муляр. Представляясь командиру, он сразу же сказал:

— Все знаю. Твое поведение расцениваю как принципиальное. Рад, что ты нашел в себе мужество поставить вопрос, и уважаю тебя за это. Будем служить вместе, надеюсь, не разочаруешься. А сказал ты верно: защищать Родину и бить фашистских гадов — это и есть главная политическая задача момента! И баста, лейтенант, вот тебе моя рука.

Так они познакомились.

ПОТРЯСЕНИЕ

Та осень сорок первого — и сентябрь и часть октября — была сухой и светлой. И крымская степь, посеребренная пахучей приморской полынью, в полдень дышала жаром, поэтому люди, возводившие батарею на обрывистом берегу Каламитского залива, оголяли по пояс свои лоснившиеся от пота, бронзовые тела. Без отбойных молотков, вручную, лишь киркой и ломом они крушили скалы, и красная земля была подобна запекшейся крови, пролитой за многие века на древней земле Таврии.

А мимо, курсом на Одессу, проходили военные и транспортные корабли с боеприпасами, провизией и подкреплением, а потом они возвращались обратно, имея на борту раненых, женщин, детей, стариков. Однажды все, кто был на берегу, стали свидетелями, как «юнкерсы» разбомбили пароход с красными крестами. По решению Международного Красного Креста ни одна из воюющих сторон не имела права бомбить или расстреливать из артиллерии

госпитальные суда, а летчики не могли не видеть огромных красных крестов, намалеванных и на бортах, и на палубе, и даже на трубе, но они пикировали на судно и стряхивали на палубу продолговатые черные капли — так издали выглядели бомбы. Столбы огня, дыма и пара скрыли надстройки, а когда дым рассеялся, пароход, лежа на боку, быстро погружался.

Море не приняло погибших, море вернуло их земле.

В то утро потрясенные стояли батарейцы, с высокого обрывистого берега глядя на излучину залива, куда бриз сгонял мертвые тела и плавающие обломки. И не было зрелища более жуткого.

И душили слезы лейтенанта Заику. И думал он о том, что когда-нибудь фашисты ответят за каждого убитого человека, за этих женщин и детей. И судить извергов будет все человечество международным судом.

Погибших хоронили несколько дней. Хоронили, как в седой древности, — без гробов. Да и не нашлось бы в Севастополе досок для гробов: весь имеющийся в наличии лес ушел на строительство дотов и дзотов, на обшивку щелей и блиндажей.

СОТЫЙ ДЕНЬ ВОЙНЫ

29 сентября пошел сотый день войны...

Я пытаюсь вспомнить, что было в этот день. И не могу. Ничего конкретного.

Помню, что в доме много яблок и поздних груш. Сады уродили как никогда, ветки пригибаются к земле. Некому собирать урожай, некуда отправлять — Крым отрезан. Манштейн уже овладел Перекопом, и рубеж обороны полуострова проходит по Ишуньским позициям.

Теперь я знаю, как обострилось тогда положение на всех фронтах. 8 сентября гитлеровцам удалось окружить Ленинград, 10 сентября в Ленинград прибыл генерал армии Г. К. Жуков. Под Москвой немецкая сторона завершила обеспечение операции «Тайфун», генеральное наступление на нашу столицу спланировано на 2 октября. А тремя днями раньше румынский диктатор Антонеску обратился к Гитлеру с мольбой о помощи войсками и авиацией для взятия Одессы, откровенно признаваясь, что без этой помощи его армия, которая насчитывает 18 дивизий, Одессы не возьмет. И принимается решение направить в помощь Антонеску еще две немецкие дивизии — это тридцать тысяч солдат! — а также три-четыре дивизиона тяжелой артиллерии, дивизион минометов «Небельверфер», дивизион инструментальной разведки, штаб корпуса, значительные силы авиации. Все это должно быть переброшено под Одессу в течение четырех недель...

«29 сентября, — читаю в книге генерала П. А. Моргунова «Легендарный Севастополь», — Военный совет Черноморского флота, оценив обстановку в Крыму, возбудил ходатайство перед Ставкой о переброске Отдельной Приморской армии из Одессы в Севастополь для усиления обороны Крыма». А это означало, что Одессу придется сдать врагу.

Как к этому предложению отнесется Ставка?

На следующий же день, 30 сентября, Ставка секретной директивой дает добро. С высоты сорокалетней давности со всей очевидностью ясно: промедли Ставка с этим решением — и мы одновременно потеряли бы и Одессу и Севастополь.

29 сентября строительство батареи на берегу Каламитского залива в самом разгаре. Мало вскрыть землю и вгрызться в скалу, необходимо на должной глубине выдолбить ниши для снарядных погребов, командный пункт, укрытия, лазарет. Все забетонировать, покрыть щитами, провести связь, установить орудия, создать вокруг батареи систему защиты: минные по-

ля, окопы и индивидуальные противотанковые ячейки.

Этих ячеек не было в инженерном плане, ячейки придумал Заика. Он именовал их гнездами. Идею подсказали степные пауки — тарантулы. В детстве он ловил тарантулов, опустив в норку шарик липучей смолы на нитке. Заика подумал: а почему бы на танкоопасных направлениях не вырыть два ряда глубоких — не менее полутора метров — нор с нишами для гранат и бутылок с горючей жидкостью «КС»?

Наверное, среди батарейцев были и такие, кто, долбая ломом скалу, втихомолку поругивал командира за лишнюю работу. Возможно, что было и так.

Потом ему пришла в голову мысль в километре от батареи соорудить фальшивую батарею. Из бревен. Накрывая маскировочной сетью фальшивую батарею, не забыли оставить «упущение» для немецких летчиков...

От изнурительной работы и недосыпания они все осунулись. А осень уже вступала в свои права. На юг летели караваны птиц. Словно спешили очистить небо, словно предчувствие их гнало, словно заранее знали, что вскоре здесь закружат страшные птицы с черными крестами и свастиками на крыльях.

ОПЕРАЦИЯ ВЕКА

Военными историками эта операция по эвакуации защитников Одессы будет признана как одна из самых выдающихся операций за всю историю.

Любая операция по отводу войск, любая эвакуация чревата опасностью, что противник, обнаружив отход, сокрушительной атакой сомнет заслоны и на плечах отступающих ворвется в город. Так было в Одессе, когда конники Котовского ворвались в порт, где белые еще не завершили посадку на корабли. Итог известен: паника, корабли поспешно снимаются, на причале крики, давка...

Обычно при отходе оставляется заслон. Чем он крепче, тем больше шансов на успех операции в целом. И тем меньше шансов уцелеть у тех, кто остается в заслоне.

Но такова жестокая логика войны, высказанная когда-то простыми словами: сам погибай, а товарища выручай.

Первоначальный план эвакуации, утвержденный и Военным советом Одесского оборонительного района и Военным советом флота, предусматривал постепенное сокращение линии фронта с одновременным отводом части войск в порт. Последний рубеж обороны проходил уже в черте города. Две стрелковые дивизии должны были удерживать его в течение двух суток, а затем ночью отойти в порт, чтобы погрузиться на корабли. Это был самый обычный, хрестоматийный вариант, в нем не было ни дерзости, ни блеска.

В чьей голове родился новый план, достоверно не известно. Молва называет командующего Приморской армии генерал-майора Ивана Ефимовича Петрова. Не исключено *.

План был настолько дерзким, настолько лежал за пределами допустимого, что на него было, конечно, непросто решиться. Для его осуществления было необходимо ввести противника в заблуждение. Нужно было внушить ему, что со дня на день следует ждать удара. Нужно было добиться, чтобы опытный, изощренный враг поверил, что в Одессу идет усиленная переброска живой силы и техники с очевидной целью прорвать кольцо блокады и, быть может, даже ударить в тыл 11-й армии, которая уже вгрызлась в Крымский перешеек.

Резко участившееся число радиопере-

* Ратной судьбе этого замечательного человека посвящена книга «Полководец», написанная писателем Героем Советского Союза В. Карповым.

говоров, колонны крытых грузовиков, снующих между портом и передовой, возросшее количество военных и транспортных кораблей в гавани, возросшая активность артиллерии сделали свое дело — враг стал поспешно укреплять оборону.

Теперь оставалось последнее: всего лишь за одну ночь в полной темноте отвести с передовой и погрузить на корабли почти сорок тысяч воинов с техникой и оружием. Другими словами, всех защитников Одессы, оставшиеся танки, пушки, минометы, грузовики, лошадей. Полностью оголить фронт, оставив в заслоне не дивизии, а всего лишь батальоны.

Риск был огромен. Проведай или заподозри что-либо враг — и катастрофа неминуема. Это понимали все, посвященные в операцию. Все было расписано по минутам — каждому командиру полка и батальона были вручены пакеты с обозначением времени вскрытия, в конверте хранился маршрут следования и время погрузки на корабли.

В 16 часов 15 октября Военный совет оборонительного района перешел на борт крейсера «Червона Украина». Начинался последний, самый ответственный, самый напряженный этап. По плану после полуночи передовую обязаны были покинуть батальоны прикрытия, к трем часам ночи — завершиться общая посадка на корабли.

Для завершения дезинформации противника на его передовые позиции авиацией Крыма был совершен массированный налет. Затем за дело принялась артиллерия. Следовало создать видимость артподготовки, которая всегда предшествует наступлению. Противник, спасаясь от артналета, не замечал, как умолкают на передовой орудия. Да и трудно это было заметить, потому что стоило умолкнуть какой-либо батарее — как ту же партию в общем хоре подхватывала корабельная артиллерия. Снаряды продолжали рваться на тех же квадратах, канонада не умолкала.

16 октября в 5 часов 10 минут утра мимо Воронцовского маяка прошел последний транспорт с войсками.

В 6 утра от стенки отошли морские охотники, забравшие последних защитников города.

Взошедшее солнце осветило пустые окопы и ходы сообщения, но враг об этом не знал. Румынские и немецкие солдаты в напряжении ждали начала атаки. Атака почему-то затягивалась. Внезапно наступившая тишина действовала на нервы. Напряжение росло. В полдень противник открыл огонь по нашей передовой. С аэродромов поднялись самолеты. Они устремились в порт, чтобы нанести удар по кораблям. Гавань была пуста...

В штабах ничего не понимали. Подозревали какой-то подвох. Солдаты по-прежнему сидели в окопах, не зная, что им ничего не угрожает.

Воздушная разведка обнаружила наши корабли, когда они уже шли у берегов Крыма. Пустившаяся вдогонку торпедоносная и бомбардировочная авиация смогла потопить лишь один транспорт. Пароход «Большевик», который шел замыкающим. Подоспевшие торпедные катера спасли всех, кто оказался на плаву.

В Одессу вражеская армия решилась войти только утром следующего дня, столь сильным оказалось потрясение.

СХВАТКА НА КРЫМСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ

Можно не сомневаться в том, что генерал Манштейн одним из первых узнал, как их одурачили под Одессой. Он отлично умел читать сложную книгу войны и, оценив случившееся, понял, что ему следует торопиться с нанесением решающего удара по Ишуньским позициям, которые — он в этом нисколько не сомневался — в самые

ближайшие дни будут усилены прошедшими огонь и воду защитниками Одессы. Поэтому в день, когда воины Приморской армии сошли на севастопольские причалы, он отдал приказ о начале наступления.

На рассвете 18 октября двести танков и шесть дивизий двух корпусов пошли на позиции оперативной группы генерала Батова.

Я не помню день — то ли еще 17, то ли уже 18 октября.

Это были приморцы, Чапаевская дивизия.

От мысли, что в гражданскую этой дивизией командовал сам Василий Иванович Чапаев, что здесь служили комиссар Фурманов, лихой чапаевский адъютант Петька, Анка-пулеметчица, что первых бойцов этой дивизии показывают в нашем самом любимом фильме, было не по себе.

Весть о том, что чапаевцы расположились на Историческом бульваре, принес Котька. Все городские новости он всегда узнавал первым. Не прошло и пяти минут, как наша уличная компания была в сборе — Нонка, Шурка, по прозвищу Цубан, Вовка Жереб, Котька Грек и я. В руках у нас были бидоны — Котька предупредил, что чапаевцам мы понесем воду. «Они же из Одессы, где не было воды! — кричал он. — А без воды, братцы, и не туды и не сюды...»

Воду мы набрали в будке, где сидела тетя Паша, и, выглядывая из окошка, наливала воду, стараясь, чтобы ни капли не пролилось на землю. Еще недавно вода была платной — рядом с краном из стены торчала черная запаянная труба с прорезью для монет. С водой в Севастополе всегда было плохо, воду оберегали, редко у кого в доме на нашей улице был свой собственный кран.

— Тетя Паша, — крикнул Котька. Он не умел говорить тихо, он всегда кричал. — Воду мы несем одесситам.

— Их и без вас уже напоили, — сказала тетя Паша.

— А может, кто еще хочет, — сказал Котька. — Может, кто не напился?

— Ну несите, — сказал тетя Паша. — Несите, ребята.

И вот мы их увидели. Они лежали или сидели на траве под деревьями и кустами, некоторые спали. Рядом были свалены каски, вещмешки, винтовки, подсумки с патронами, гранаты. Мы впервые видели людей, вышедших из боя.

Небритые, изможденные, пахнущие густым, застарелым потом, они отрешенно улыбались, наверное, просто радовались покою и тишине. А день был солнечным, припекало, и они с тихой радостью пользовались ненавязчивым теплом бабьего лета. Быть может, они впервые ощутили, как устали за четыре месяца войны, отступлений, контратак, обороны, бомбежек, артналетов. Мы протягивали им воду, и они пили со сдержанностью отвыкших от воды людей. Несколько глотков — и бидон передавался соседу.

— Эх, помыться бы сейчас в баньке-е-е!

До сих пор слышу, как это было сказано. Закрываю глаза и слышу этот голос. Теперь он звучит словно эхо, звонко, протяжно.

И слышу ответ:

— Обещали, чай. Поведут наш славный Пугачевский полк, Яркин, в баню и как героям вручат нам чистое белье. Белое, пахнущее мылом... а ребята, во будет блаженство!

Это говорит боец со шрамом на щеке. Заросшее рыжей щетиной лицо, веселые глаза.

Подходит командир с тремя кубиками в петлицах. Треплет Вовку Жереба по голове.

— Севастопольские пацаны уже тут как тут, уже помогают.

— Да с ними еще и пацанка.

— А тут и пацанки отчаянные. Я здесь зенитное училище заканчивал, — поясня-

ет командир бойцам и, уже обращаясь к нам, произносит: — Надежные вы люди, верно говорю?

— Верно, товарищ старший лейтенант! — орет Котька.

— В баню идем через час, а потом нам отводят для отдыха казармы нашего зенитного училища на Корабельной стороне, — громко объявляет этот похваливший нас человек. А я уже ощущаю в горле предательский комок и острое желание с этими бойцами, с этим командиром, который, конечно же, знал отца, быть может, даже дружил с ним, уйти на фронт...

Откуда мне знать, что не пройдет и двух недель, как Севастополь станет фронтовой полосой. Этого никто тогда не знал.

22 октября, когда первая из дивизий Приморской армии вышла на боевой рубеж, батовцы уже не в силах были удерживать позиции.

Поле битвы выглядело так: совершенно плоская, красная от солончаков степь, по которой, чередуя приливы и отливы, гуляет шумная волна танков. За танками перебежками следует вооруженная автоматами пехота.

В промежутках между приливами наши позиции долбят артиллерийские и минометные батареи.

Когда для подавления артиллерии с наших аэродромов поднимаются бомбардировщики, их встречают истребители эскадры Мёльдерса.

И снова приближается волна ирыгающих огонь танков, за которыми, прячась от встречного огня, перебегают автоматчики в серо-зеленых мундирах.

И так весь день, с рассвета дотемна...

24 и 25 октября в бой вступают остальные дивизии приморцев. И Манштейн это сразу же ощущает:

«25 октября казалось, что наступательный порыв войск совершенно иссяк. Командир одной из лучших дивизий уже дважды докладывал, что силы его полков на исходе. Это был час, который, пожалуй, всегда бывает в подобных сражениях, час, когда решается судьба всей операции...»

Вот тут Манштейн и вводит свежие силы — две дивизии вновь прибывшего корпуса генерала графа Шпонека. И штурмовую авиацию. Теперь наши позиции атакуют не менее ста тысяч отборнейших солдат рейха. Прибывшие на помощь дивизиям Павла Ивановича Батова сильно поредевшие в боях за Одессу дивизии Ивана Ефимовича Петрова не в состоянии восстановить положение. Не хватает орудий, нет танков, истребителей, штурмовиков, пулеметов и минометов считанное число.

Окончательный перелом в сражении на Крымском перешейке падает на 27 октября.

28 октября 11-я немецкая армия переходит в наступление по всему фронту. В этот день новый командующий войсками Крыма вице-адмирал Г. И. Левченко делает последнюю попытку приостановить начавшееся наступление противника — из Севастополя брошена на север 7-я бригада морской пехоты полковника Е. И. Жидилова. В этот же день Военный совет Черноморского флота принимает решение срочно перебросить из Новороссийска в Севастополь 8-ю бригаду морской пехоты полковника В. Л. Вильшанского.

29 октября оставшийся в Севастополе за старшего контр-адмирал Г. В. Жуков, под чьим руководством проходила оборона Одессы, объявляет Севастополь на осадном положении.

Свой командный пункт Гавриил Васильевич Жуков переносит на Крепостной переулок, где еще раньше разместился начальник Береговой обороны генерал Моргунов. Оставшийся в Севастополе гарнизон насчитывает всего 11 500 человек — два недоукомплектованных полка морской пехоты и местный стрелковый полк. Где взять людей, где взять оружие — в арсеналах не осталось даже винтовок! Не хватает шанцевого инструмента. Ведь все, что раньше было собрано генералом Моргуно-

вым на Главной базе, постепенно ушло на организацию обороны Одессы, Перекопских и Ишуньских позиций, на укомплектование бригад и полков морской пехоты, созданной из добровольцев моряков. Винить некого.

Ко всему прочему потеряна связь с фронтом. Что там?.. Где армия Петрова?.. Где армия Батова?..

И где противник?

В том, что враг ринется на Севастополь, выдвинув вперед бронированный кулак, в штабе на Крепостном переулке никто не сомневался...

БАЛЛАДА О 54-й БАТАРЕЕ

Преодолев на Крымском перешейке Перекопские и Ишуньские укрепления и вырвавшись на степные просторы полуострова, 11-я немецкая армия в полной мере обрела все те преимущества, которые были заложены в ее численном перевесе и в оснащенности военной техникой. Если на узком перешейке атакующие танки натыкались на надолбы, противотанковые рогатки, минные поля, на плотный артиллерийский огонь, на окопы, откуда летели бутылки с горючей жидкостью, то в широкой степи уж было где разгуляться танкам. Это напоминало охоту прожорливых бронированных чудовищ, алчных и ненасытных, опьяневших от легкодоступной и обильной человеческой крови. Испуская зловонный дым и рыча, они настигали очередную жертву и, покончив с ней, уносились туда, где синей стеной вставала далекая горная гряда. А позади, среди высохших и печальных осенних трав, подмятых гусеницами, лежали люди, тараща в небо остекленевшие глаза.

Не было в голой степи укрытий ни от танков, ни от пикирующих стервятников. Темно-серые, покрытые желтыми лишайниками скифские бабы, немало всякого повидавшие на своем долгом веку, впервые видели такой кровавый пир, но бессильны были они оказать помощь попавшим в беду людям.

Когда на степь легла ночная мгла и атакующая армия остановилась на ночлег, две отступающие армии получили единственную возможность оторваться от наседающего врага.

В полночь во вражеском стане командующий армии стоял перед картой, где жирные черные стрелы выражали суть его замыслов. Одна стрела, самая западная, нацеленная своим острием на Севастополь, определяла поведение корпуса — двух пехотных дивизий и моторизованной бригады, перед которыми стояла задача овладеть морской твердыней раньше, чем отлив все еще непобежденной армии нагромоздит вокруг города заслоны, пробиться сквозь которые будет уже непросто.

Генерал был умен. Он высоко ценил свое военное искусство и теперь, глядя на карту, любовался совершенством задуманной операции: вторая стрела, направленная строго на юг, разделив полуостров почти на равные части, отсекала от Севастополя основную часть отступающего войска. Сюда бросал он свои лучшие дивизии — Саксонскую и Нижнесаксонскую, — которые показали, на что они способны, когда первыми в группе армий «Юг» форсировали Днепр. Саксонцы умели воевать, и генерал был уверен, что они поставят надежный заслон, облегчив тем самым задачу ударной группе.

Хищный клюв третьей стрелы смотрел на восток, куда пытались уйти остатки отступившей армии. Через узкий Керченский пролив они могли ускользнуть на Кавказ, что было бы упущением. Опередить отходящие войска и, охватив дугой, прижать к гнилым водам Сиваша, а затем уничтожить — таким представлялся гене-

ралу завтрашний день. Он знал, что у противника нет танков, плохо с оружием. Они были беззащитны в голой степи, и его воображение уже рисовало картины усеянного трупами поля битвы. Даже не битвы, а побоища, потому что как раз у него было все: и танки, и авиация, и сильная артиллерия, и в несколько раз больше солдат.

Разведчики впервые видели врага так близко.

По шоссейной дороге шли танки с черными крестами на башнях. Из каждого люка, уверенно высунувшись по грудь, выглядывали танкисты. За танками в той же колонне следовали бронетранспортеры с автоматчиками. Чуть поотстав, чадила колонна бензовозов.

Шоссе уходило на юг. К голубым севастопольским бухтам.

С тех пор как в степь ушла, растаяв во мраке, полуторка с разведчиками — лейтенантом Яковлевым и краснофлотцем Морозом, — не смыкал глаз командир батареи лейтенант Заика. Все предыдущие сутки на северном небосклоне полыхали зарницы и громыхали раскаты, а небо над головой оставалось ясным, и по ночам мерцали звезды. Внезапно наступившая тишина сулила беду, и крепла мысль, что на Крымском перешейке одолел враг.

Но вот в эфире заработала рация, и лейтенант Яковлев передал, что по шоссейной дороге наблюдается перемещение значительных сил противника в направлении Севастополя.

— Колонну накроем в зоне достижения огня, продолжать наблюдение, — приказал Заика.

Комиссар Муляр стоял рядом, рослый белорус, много повидавший за свою жизнь.

— Поговори, командир, с народом, скажи людям слово, пока есть для этого время, — сказал комиссар.

Маскировочная сеть отбрасывала пятнистую тень на лица морских артиллеристов. Лейтенант Заика поднялся на зарядный ящик, чтобы все его могли видеть. И чтобы он тоже всех мог видеть. Бескозырки, синие воротники с тремя белыми полосками, бронзовые лица. Молодые крепкие парни. Вот ленинградец Дмитриев — высоченный, огромный, истинный богатырь. Рядом юркий, подвижный, находчивый и острый на язык севастополец Шмырков. Вот командир орудия белорус Кардаш. Его товарищ и тоже командир орудия украинец Спивак. Тихий, застенчивый наводчик Лунев... Сто тридцать артиллеристов стояли, ждали, зачем позвал их командир.

— Друзья мои, краснофлотцы! — так он обратился к ним. — Моряки-черноморцы!.. Враг рвется к Севастополю!.. И враг этот силен!.. И враг отважен!.. И враг этот вооружен до зубов!.. Говорю это вам не для того, чтобы запугать вас, а для того, чтобы каждый из нас сказал сам себе, что отваге врага мы должны противопоставить бóльшую отвагу! Силе — бóльшую силу! Его умению воевать — наше умение воевать! Будем бить по врагу из всех орудий!.. Будем бить их штыками!.. Будем рвать зубами, но поклянемся, что врага, пока будем живы, не пропустим!..

И когда все, как один, вымолвили: «Клянусь!» — комиссар подвел итоги:

— Правильные слова сказал нам командир. А теперь к орудиям!

Недоходя степного селения с простым русским названием Ивановка авангард мотобригады генерала Циглера свернул в балку и остановился на отдых, последний перед броском на Севастополь, до которого оставалось не более сорока километров.

День был жарким, и танкисты, покидая свои стальные машины, сбрасывали черные комбинезоны и растягивались на траве в ожидании, когда их накормят из полевых кухонь.

Остывали заглушенные танковые моторы.

И тени редких облаков скользили по машинам и танкам, уплывая на восток...

Сколько раз, выкрикивая командные слова на учебных стрельбах, волновался лейтенант Заика, потому что очень хотелось поразить ему цель. Почему же теперь, готовясь отдать команду, не волновался командир, а ликовал?.. Да потому что с той минуты, как передал Яковлев координаты расположившейся на отдых мотоколонны и танков, жажда мщения охватила Заику. За бомбы, сброшенные на спящих людей; за смерть, которую принесли чужеземцы на своих штыках; за тех женщин и детей, вспухшими телами которых был усеян Каламитский залив. И зазвеневшим от нетерпения голосом крикнул лейтенант Заика:

— Пеленг сорок два... Дистанция пятьдесят три кабельтовых... По вражеским тан-ка-ам... Зал-лп!

Изрыгнув огонь и дым, ахнули все четыре пушки, и дымящиеся гильзы со звоном покатились по бетону орудийных двориков.

Командир знал, что не увидит разрывов: слишком далеко было до цели, но он смотрел туда, куда улетели снаряды.

— Накрытие, товарищ командир! Забегали!.. — раздался в рации ликующий голос Яковлева. — Так их, бей гадов!

— Пять беглых! — скомандовал Заика.

— Отлично, командир! Горят бензовозы...

— Бьем их, ребята! — более не сдерживая радости, крикнул двадцатидвухлетний комбат. — Горят танки. А теперь... беглым... двадцать снарядов!..

А из эфира продолжали поступать сведения о том, что творилось в тихой и уютной балке, где фашисты искали отдых, а нашли карающий огонь. Взрывались цистерны, наполненные горючим баки, припасенные для Севастополя снаряды. Взрывались гранаты в кузовах бронетранспортеров. И, все яростнее, все громче завывая, полыхало пламя.

Теперь можно было скомандовать: «Дробь!» — что с петровских времен или того раньше означало конец стрельбы. Заика удовлетворенно вздохнул и, открыв журнал боевых действий, сам того не ведая, сделал историческую запись:

«30 октября 1941 года в 16 часов 35 минут батарея открыла огонь по моторизованной колонне противника. Противник уничтожен».

Как всегда в полночь, начальник оперативного отдела штаба вражеской армии докладывал своему командующему положение на театре боевых действий. Указка полковника порхала по карте и голос его был подчеркнуто бесстрастен, пока острие указки не уткнулось в побережье Каламитского залива.

— Сегодня, — произнес полковник и прочистил горло, — неизвестная батарея русских внезапным налетом накрыла весь авангард мотобригады Циглера...

Брови генерала удивленно поползли наверх.

— Как это понимать? — спросил генерал.

Полковник пожал плечами.

— Танкисты и мотопехота остановились на отдых.

— Ну и что же было потом?

— Генерал Циглер вызвал авиацию, мой генерал.

— Ну и?.. — нетерпеливо спросил генерал.

— Батарея уничтожена.

— Батарея уничтожена, — повторил генерал и с укором взглянул на подчиненных. — Мы потеряли уже сутки. И это на самом важном для нас направлении... Распорядитесь, полковник, выслать к месту

уничтоженной батареи офицера штаба, пусть разберется для отчета непосредственно на месте. Потерять сутки из-за какой-то одной-единственной батареи — это слишком большая роскошь, господа.

Было заметно, сколь сильно он раздосадован.

Легковая машина, раскрашенная для маскировки желтыми и грязно-зелеными пятнами, свернула с Евпаторийского шоссе на ответвление, ведущее в прибрежное село Николаевку. В машине кроме водителя находились офицер и два автоматчика.

— Парни из люфтваффе передали, что разбомбленная ими батарея находится севернее Николаевки. Значит, из Николаевки к батарее должна вести дорога, будь внимательней, Курт, и не пропусти ее, — сказал офицер, обращаясь к водителю.

Село приближалось — побеленные домики, черепичные крыши, сладковатый запах скотного двора.

Один из автоматчиков, закрыв глаза, с наслаждением втянул воздух. Толстый рыжий фельдфебель усмехнулся.

— Давно навоз не разгребал, Курт, так? Потерпи, еще немного — и это все твое.

— Фюрер пообещал всем особо отличившимся выделить личные усадьбы в Крыму, — сказал офицер.

На северной окраине села машина остановилась. Вдоль моря действительно шла дорога. Офицер с биноклем в руке вышел из машины. Он уже пожалел, что поехал без взвода охраны. Опустив стекла, автоматчики выставили наружу вороненые стволы. И в этот момент воздух дрогнул от орудийного выстрела.

— Шнель! — крикнул офицер, стремглав юркнув в машину. — Назад, Курт!

Но удрать им не удалось: моряки, засевшие на околице в засаде, уничтожили машину гранатами. Одного из автоматчиков — толстого рыжего фельдфебеля, который остался жив, — под конвоем отвели на батарею.

На этот раз 54-я била по центру большого селения Булганак, где все те же Яковлев и Мороз обнаружили штаб какого-то крупного соединения. Какого соединения, они не знали, но в том, что это действительно штаб, разведчики не сомневались: легковые автомобили, фургоны с радиостанциями, подразделение мотоциклистов на площади перед зданием школы говорило о том. Да и само село, расположенное на шоссе в преддверии Альминской долины, было самым удобным местом для руководства наступающими на Севастополь войсками.

На окраине села солдаты выгружали из грузовиков зеленые снарядные ящики, наверное, создавали склад боеприпасов. Чуть ближе к центру стояла колонна бензовозов.

Глядя на пруты антенн, Яковлев сразу понял, что на этот раз их мигом засекут, но иного выхода не было.

Первый снаряд ушел в сады.

— Перелет, — доложил на батарею Яковлев.

Батарея продолжала пристреливаться, и Яковлев, корректируя стрельбу, сразу же увидел, как из школы выскочили автоматчики и оседлали мотоциклы. «Уже засекли», — догадался он.

Пятый снаряд лег там, откуда только что отъехали мотоциклисты, совсем рядом со школой.

— Порядок, командир, уже совсем рядом, — передал Яковлев.

Мотоциклисты сворачивали на проселок.

Яковлев медлил, хотел дождаться залпа. Вот знакомое завывание подлетающих снарядов. Они веером легли на площади. Лейтенант видел, как из окон посыпались стекла и в проемах появились перепуганные офицеры. Они выпрыгивали из окон и бежали в сторону садов. Ярким факелом пылал легковой автомобиль.

— Так держать, командир! — крикнул Яковлев и стал сворачивать рацию. С вершины холма хорошо было видно, что мотоциклисты уже перекрыли дорогу на Нико-

лаевку. Оставалось одно — уходить прямо по степи. Подвывая мотором, полуторка рванула по балке к речному броду.

Словно стая гончих псов, спущенных на зайца, прямо по степи неслись мотоциклисты за пылившей впереди полуторкой. Разделившись, они обтекали полуторку, брали ее в клещи и строчили из автоматов, целясь по кабине и по скатам. Широко расставив ноги, словно на палубе попавшего в шторм корабля, Мороз стоял посреди кузова и строчил из ручного пулемета, прижав его к бедру.

Пули прошивали деревянные борта, свистели рядом, но не задевали большую черную фигуру матроса, словно он был от них заколдован. Зато его огонь метко разил врага — три мотоцикла уже лежали в степи колесами кверху и бесполезным было бешеное вращение колес.

Отстреливаясь, уходила полуторка то ровной степью, то узкими балками. И, не выдержав этой гонки, немцы прекратили погоню.

Когда на берегу моря разведчики остановились, чтобы перевести дух, они услышали не только выстрелы своих пушек, но и взрывы чужих снарядов и поняли, что на батарее идет бой...

На этот раз командующий вражеской армии изменился в лице, когда услышал о случившемся.

— Как?! — вскричал он. — Но вы же сами меня уверяли, что никакой батареи больше нет!

— Сведения, к сожалению, оказались неверными, — отвечал полковник. — Эти русские нас обхитрили. Мы разбомбили фальшивую батарею, а настоящая сегодня нанесла удар по штабу мотобригады. Генерал Циглер, к счастью, остался жив, но жертв немало. Заодно в селении Булганак русские уничтожили запасы горючего и боепитание для танков. Попытка уничтожить батарею танками и полевой артиллерией закончилась, увы, печально для нас — на поле боя осталось пять средних танков... Итак, господин командующий, на счету этой батареи русских не менее двадцати танков и бронемашин, десятки грузовиков и бензовозов, урон в живой силе исчисляется сотнями солдат. Печальная правда, мой генерал.

Генерал молчал. Тот стремительный бросок моторизованных сил, который был задуман, чтобы с ходу взять Севастополь, рушился. Вот когда пригодилась бы ударная мощь лейб-штандарта «Адольф Гитлер», но предпринятое Красной Армией наступление со стороны Дона вынудило его бросить лейб-штандарт навстречу противнику, а потом фюрер не вернул свою лейб-гвардию, посчитав, что у 11-й армии и без лучшей дивизии СС достаточно сил, чтобы овладеть Крымом. И здесь фюрер был прав: сил вполне хватало, чтобы разбить Крымскую группировку русских. Генерал подошел к карте.

— Так где эта батарея, полковник?

— Батарея находится здесь, — сказал полковник, указывая обведенную красным карандашом точку на берегу залива.

— Странно, — в задумчивости проговорил генерал. — Ведь они совсем одни. Как Робинзоны на необитаемом острове.

— По всей вероятности, это береговая батарея, ее предназначение — топить корабли, а не вести огонь по танкам.

— Это наша логика, полковник. Если бы на батарее был наш гарнизон, в сложившейся ситуации мы бы взорвали все к чертовой матери и присоединились к основным силам. Так поступают разумные люди. Вот почему огонь батареи застал нас врасплох! Эти русские на батарее воюют против разума, против логики, но они уже двое суток отсекают от Севастополя мотобригаду и привязанную к ней пехотную дивизию Линдемана, и получается, как это ни парадоксально, разум на их стороне. Это чисто славянская черта — сражаться за каждую пядь своей земли, презрев смерть, но у

любого настоящего солдата эта черта не может не вызывать восхищения.

Генерал еще раз взглянул на карту и проговорил жестким голосом:

— Батарею атаковать с утра. Навязать бой, который станет для них последним. Этого будет достаточно, чтобы мотобригада наконец-то двинулась на Севастополь, где, я думаю, за эти двое суток проделана немалая работа по укреплению обороны. Эти русские безумцы, с которыми завтра будет покончено, вырвали у нас внезапность натиска, который, несомненно, принес бы нам победу.

В балладах не принято цитировать документы. Строгий язык документа противопоказан поэзии, противопоказан и возвышенному стилю прозы, которым достойно говорить о подвигах. Право, люди, заложившие первый камень в бессмертный подвиг Севастополя, сами достойны бессмертия. Их следовало бы воспеть в балладах, в былинах, ибо то, что они сотворили, не выдумка, а быль. И пусть доскажет эту героическую быль сухим языком фронтового отчета генерал Петр Алексеевич Моргунов:

«1 ноября батарея № 54, будучи отрезанной противником от Севастополя, продолжала вести неравный бой с превосходящими силами врага. С 11 час. 20 мин. до 15 час. 10 мин. артиллеристы несколько раз открывали огонь по колоннам, выпустив 130 снарядов. Противник огнем двух батарей стремился подавить сопротивление героев-артиллеристов. На батарее появились убитые и раненые, было уничтожено орудие. Во второй половине дня 8 самолетов противника нанесли бомбовый удар, несколько человек было убито и ранено. Гитлеровцы силой до батальона атаковали батарею, но атака была отбита огнем орудий и пулеметов. Несмотря на тяжелое положение, личный состав батареи № 54 стойко держался, поражая своим метким огнем врага.

Жены комбата Заики, военфельдшера Портова и старшины Заруцкого под обстрелом и бомбежкой оказывали помощь раненым, разносили пищу бойцам.

2 ноября положение ухудшилось. С 8 час. утра в течение полутора часов батарея вела огонь по колоннам противника. Около 10 час. противник открыл огонь из трех тяжелых полевых батарей. Вскоре последовал налет авиации, которая бомбила и штурмовала батарею, а затем снова — артиллерийский обстрел. Вся батарея была усеяна воронками от снарядов и бомб, была разрушена часть убежищ, в одном из которых погибли тяжелораненые.

Батарея продолжала сражаться. Артиллеристы устраняли повреждения в орудиях и снова открывали огонь по врагу. Росли потери на батарее. Большинство раненых оставались на своих боевых постах у орудий и пулеметов.

Немецко-фашистская пехота снова атаковала батарею силою до батальона, но герои-артиллеристы огнем отразили эту атаку, а также атаку двух эскадронов румынской кавалерии с большими потерями для врага.

Положение осажденных становилось все тяжелее: впереди атакующих противник, сзади море — отходить было некуда. Превосходство противника в силах было слишком велико. К 13 час. 20 мин. на батарее уцелело только одно орудие, но артиллеристы продолжали сражаться еще в течение трех часов, отбивая атаки противника ружейно-пулеметным огнем и гранатами. Отвагу и находчивость проявил матрос Мороз, который пробрался с пулеметом в расположенную вблизи деревню и с фланга открыл меткий огонь по наступающим врагам. Смелые вылазки совершили бойцы Нечай и Анисимов.

Но силы защитников батареи таяли, и врагу удалось ворваться на батарею. В 16 час. 40 мин. командир батареи доложил открытым текстом: „Противник нахо-

дится на позиции батареи. Связь кончаю. Батарея атакована "» *.

Когда 2 ноября командующему вражеской армии донесли, что с батареей на берегу Каламитского залива наконец-то покончено, он только горько усмехнулся. Ему уже было ясно, что план, который представлялся ему столь совершенным еще несколько дней тому назад, рухнул. Удача — да и то не в полной мере — сопутствовала ему только в Керченском направлении. Большая часть отступившей на восток русской армии избежала окружения, но зато и не смогла закрепиться в узкой части Керченского полуострова и создать рубеж обороны.

Вторую армию, отступающую в Южном направлении, удалось отсечь от Севастополя, захватив Бахчисарай и перерезав Симферопольское шоссе, но генерал Петров, уводивший эту армию, оказался дальновидным. Он не стал увязать в бою, понимая, что вскоре будет прижат к горной гряде и окружен, и поэтому основные силы повел к Севастополю через горные перевалы. До прихода этой армии севастопольский гарнизон не мог противопоставить сколько-нибудь значительных сил, что еще давало надежду на успех штурма, однако непредвиденная задержка в районе Николаевки, Ивановки, Булганака почти на трое суток уже сказывалась на всем. Если бы задуманный им прорыв мотобригады Циглера удался, все бы теперь пошло иначе — уличные бои сделали бы бессмысленным рейд к Севастополю отступающей армии, прижатая к морю, она оказалась бы в безвыходном положении.

Оставалось последнее — идти на штурм.

* Истинный текст радиограммы: «Батарея атакована. Противник находится на батарее. Погибнем в бою, но в плен не сдадимся. Командир батареи Заика».

ОТСТАВКА СТАРОГО ФЕЛЬДМАРШАЛА

Прошло еще несколько дней, и командующему армии из Полтавы, где находился штаб группы армий «Юг», позвонил фельдмаршал Рундштедт.

— Эрих, — обратился он к генералу. — Я внимательно ознакомился с твоими сводками. Не подумай, что я упрекаю тебя. Это не так. Я считаю тебя лучшим моим генералом, поэтому мне особенно важно именно твое мнение. Скажи мне со всей откровенностью, что помешало тебе до сих пор овладеть Севастополем? Ведь на твоей стороне, Эрих, было все, ты доминировал на театре военных действий, и я нисколько не сомневался, что ты войдешь в прославленный русский город накануне большевистского праздника. Ты, наверное, уже слышал об этом — в Москве большевики отметили его военным парадом на Красной площади.

— Все, что я могу сказать в свое оправдание, экселенц, слишком банально: мы еще никогда не встречали такого противника. Русских словно подменили — теперь они дерутся за каждую пядь земли. Можете себе представить, мое наступление было сорвано какой-то жалкой батареей, насчитывающей всего четыре ствола. А сегодня мне сообщили, что несколько русских матросов с гранатами бросились под танки. Растратив боеприпасы, их летчики таранят наши самолеты. Я не знаю, что будет, если и дальше все пойдет так же...

— Благодарю, Эрих, — проговорил фельдмаршал и, сделав долгую паузу, добавил: — Я предупреждал фюрера, что воевать с русскими — безумие.

Нет, у меня нет документов, подтверждающих достоверность диалога между двумя самыми выдающимися, по словам генерала Блюментрита, полководцами рейха. Но вот выписка из книги английского историка Б. Лиддел Гарта «Вторая мировая война», которая убеждает, что подобный диалог вполне мог иметь место:

«Вопрос о возобновлении наступления в 1942 году обсуждался в ноябре (разрядка здесь и далее моя. — *Г. Ч.*) 1941 года, еще до последней попытки взять Москву. Как утверждают, в ходе ноябрьских дискуссий Рундштедт предложил не только перейти к обороне, но и отвести войска на первоначальные исходные рубежи в Польше. Лееб якобы согласился с ним. Другие ведущие генералы хотя и не выступали за такую полную перемену политики, но многие из них испытывали все большую тревогу за исход русской кампании и не проявляли никакого энтузиазма по поводу возобновления наступления. Провал декабрьского наступления на Москву и зимние невзгоды лишь усилили их сомнения.

Однако влияние военной оппозиции было ослаблено изменениями в высшем командовании, произведенными после провала кампании 1941 года. Когда Гитлер не согласился с предложением Рундштедта прекратить наступление в южном направлении на Кавказ и отойти на зимний оборонительный рубеж на р. Миус, Рундштедт подал в отставку, и она была принята в конце ноября... 19 декабря официально было объявлено об отставке Браухича. У Бока, одного из ревностных сторонников захвата Москвы, в результате нервного и физического переутомления открылась болезнь желудка. Отставка Бока была принята 20 декабря. Лееб пока оставался на своем посту. Однако когда Лееб понял, что Гитлера ничем нельзя убедить в необходимости отвести войска с демянской дуги, он сам подал в отставку».

Итак, старый генерал-фельдмаршал Рундштедт решился сказать: «Король голый!» Иначе нельзя расценить его предложение на совещании у фюрера полностью очистить нашу территорию и отвести немецкие войска на довоенный рубеж. И другой старый вояка — фон Лееб, командующий группой армий «Север», уже обжегшийся под Ленинградом, — поддержал Рундштедта. Два фельдмаршала в открытую признавали крах «блицкрига». Третий фельдмаршал — командующий группой армий «Центр» фон Бок, в ноябре еще живший надеждой взять Москву, — уже в декабре свалится от нервного потрясения. Сменивший Рундштедта на посту командующего группой армий «Юг» фельдмаршал Рейхенау, издавший в октябре свой чудовищный приказ «О поведении войск в оккупированных странах Восточной Европы», в котором потребовал от своих солдат поголовного убийства русского населения, включая женщин и детей, не долго занимал новую должность: 14 января он свалился от кровоизлияния в мозг. Его смерть была расплатой за напряжение под Киевом, который он не мог взять в течение семидесяти дней. Какая судьба ожидает его преемника на посту командующего 6-й армии генерал-лейтенанта Фридриха Паулюса, теперь знает каждый: пленение в городе-герое Сталинграде.

Сместив с поста главнокомандующего сухопутными войсками фельдмаршала Браухича, Гитлер не стал искать ему преемника, он занял это место сам, и это была последняя в его жизни занятая должность...

СРАЖАЮТСЯ АРМИИ, ПОБЕЖДАЮТ ЛЮДИ

Однажды, подбирая изобразительный материал для фотоальбома о Севастополе, я просмотрел отснятую в Крыму немецкую кинохронику. Вереницы легких, средних и тяжелых танков... Солдаты на марше... Ничего не скажешь, лихо идут... Молодые, беззаботные лица, бравая осанка, на груди автоматы... И слышится голос диктора: «Солдаты победоносной 11-й полевой армии вступили в Крым. Никто и ничто не в состоянии уберечь большевиков от нависшей над ними катастрофы...»

Наши операторы не снимали в те дни лица отступающих бойцов и командиров 51-й и Приморской армий, бригады морской пехоты. Теперь мы можем пожалеть об этом, но тогда снимать такие кадры было выше сил. Совестно было снимать попавших в беду людей, откровенное горе, страдания, тела убитых. Поэтому так беден и фото-, и киноархив на тот материал, в котором война предстает в своем обыденном виде.

А жаль, что кинопленка не зафиксировала лица наших бойцов, командиров и генералов. Иногда я словно смотрю фильм, которого нет в действительности:

...идут бравые солдаты рейха, непокрытые головы, засученные рукава... вереницы танков... парад орудийных стволов... строгие звенья пикирующих бомбардировщиков и штурмовиков... генерал-полковник Манштейн... он оглядывает проходящее войско... сдержанная, как это принято у полководцев, улыбка — и солдаты отвечают ему тем же...

Диктор. Генерал-полковник Эрих фон Манштейн — командующий 11-й немецкой армии. Прорвав Перекопские и Ишуньские позиции, его армия вступила в Крым. Его солдаты маршировали по мостовым Праги, Варшавы, Брюсселя, Парижа, Афин. Полководец уверен в своих солдатах — на своих штыках они несут победу, ему они принесут фельдмаршальский жезл и имение на Южном берегу Готенланда — так решил Гитлер переименовать Крым: Готенланд — земля готов... Но если бы Манштейну было дано заглянуть в сравнительно недалекое будущее, то он увидел бы себя узником тюрьмы для военных преступников и автором книги «Утерянные победы». Фельдмаршал был бы куда более прав, если бы назвал свою книгу «Отнятые победы»! Он не терял своих побед, у него их отняли...

На экране. Потрепанные части отступающей Красной Армии... Запыленные, пропотевшие гимнастерки, осунувшиеся лица... они бредут по дорогам... прямо по степи, уминая сапогами пожухлую осеннюю траву... они бросаются врассыпную, валятся на землю, когда с противным воем пикируют на них самолеты...

Диктор. Отняли вот эти люди... Сейчас они отступают перед более сильным, лучше вооруженным и многочисленным противником. Остановите любого из них, спроси, кто победит в этой войне, и эти люди, не ведающие, что будет с каждым из них через час, твердо ответят: «Победим мы». И больше они ничего не добавят, не станут пояснять, откуда такая уверенность, когда все вокруг так плохо, они просто произнесут то, во что сами непоколебимо верят. Вглядитесь в этих людей.

Вглядитесь в этого человека...

На экране. Высокий, уже немолодой генерал с двумя звездочками в петлицах... небольшие, как у Котовского, усы... старомодное пенсне... Человек этот больше похож на профессора, чем на боевого генерала.

Диктор. Иван Ефимович Петров, командующий Приморской армии. С его именем связан подвиг трех городов-героев: Одессы, Севастополя, Новороссийска. Оборона Кавказа. Освобождение Чехословакии. Взятие Берлина. Командарм Петров. Ему еще предстоит командовать фронтами.

Начальник штаба Приморской армии Николай Иванович Крылов...

На экране. Невысокий, плотного сложения полковник с простым, даже простодушным лицом мирного человека.

Диктор. Участник обороны Одессы, Севастополя, Сталинграда, где он был начальником штаба в 62-й армии легендарного генерала Чуйкова. Впоследствии командарм, дважды Герой и Маршал Советского Союза.

На экране. Высокий сухощавый полковник с осунувшимся лицом.

Диктор. Иван Андреевич Ласкин — командир 172-й стрелковой дивизии. За-

щитник Севастополя. Не кто иной, как Иван Андреевич Ласкин, генерал-майор Ласкин, тридцать первого января тысяча девятьсот сорок третьего года с сопровождающими спустится в подвал разрушенного универмага в Сталинграде, где навстречу ему поднимется командующий 6-й немецкой армии и на ломаном русском языке произнесет: «Фельдмаршал германской армии Паулюс сдается Красной Армии в плен». А он, естественно, не знает, какая ему уготована роль.

На экране. Маленький и жилистый, словно ствол можжевельника, генерал с морщинистым лицом...

Диктор. Когда этот человек дрался с фашистами в Испании, бойцы Интернациональной бригады называли его: «Товарищ Фриц». И лишь немногие знали его подлинное имя — Павел Иванович Батов. Мог ли предполагать Манштейн, что в январе сорок третьего года командарму 65-й армии Донского фронта Батову будет доверено нанесение главного удара в стратегической операции «Кольцо», которое закончится окружением 6-й немецкой армии под Сталинградом?!

Мог ли предполагать Манштейн, что операцию по спасению окруженной группировки Паулюса Гитлер поручит ему — фельдмаршалу, командующему группой армий «Дон», но даже он — лучший полководец рейха — будет бессилен решить эту задачу?!

Мог ли предполагать Манштейн, что судьба вновь сведет его с генералом Батовым в самой грандиозной битве за всю историю человечества?! В битве, о которой в приказе ставки вермахта говорилось: «На направлении главных ударов должны быть использованы лучшие соединения, наилучшее оружие, лучшие командиры и большое количество боеприпасов. Победа под Курском должна явиться факелом для всего мира». Возглавить операцию под кодовым названием «Цитадель» снова поручили ему. После войны историки подсчитают, что в сражении на Курской дуге приняли участие свыше четырех миллионов человек, около семидесяти тысяч орудий и минометов, более тридцати тысяч танков и самоходных орудий, двенадцать тысяч самолетов! Пятьдесят дней и ночей длилось это сражение. Только под одной Прохоровкой на поле брани сошлось с обеих сторон тысяча двести танков. Горела танковая броня, горела земля. Таким будет для Манштейна жаркое лето сорок третьего года. Он проиграет это сражение как полководец. Для него поражение будет еще одной «утерянной победой». Для Третьего рейха это будет крушение. Отныне уделом немецкого солдата будет отступление, уделом немецких генералов и фельдмаршалов — желание удержаться хотя бы на одном рубеже, но все будет тщетным...

На экране. Снова бравые солдаты Манштейна и их предводитель... ослепительные улыбки... ветер шевелит белокурые волосы на непокрытых головах... высокая тулья генеральской фуражки... поднятая в приветствии рука...

Диктор. Потомок немецких крестоносцев, потомственный прусский офицер Эрих фон Манштейн не обладал даром предвидения. И поэтому преждевременно торжествовал победу...

Я смотрю фильм, которого нет. Нет такой кинопленки. Нет звуковой дорожки, которая бы воспроизводила дикторский текст, шумы, музыку. Я сам и киномеханик и зритель, сценарист и режиссер. В ворохе «отснятой за десятилетия кинохроники» я пытаюсь разглядеть знакомые лица и «смонтировать» их во взаимосвязи, о которой они даже не подозревали. Эта взаимосвязь была определена временем и местом действия. Я вижу, как мало в моем распоряжении материала. Поговорить бы с Иваном Ефимовичем Петровым, задать бы ему вопросы... Ход времени

беспощаден. Ветераны уходят. На тех, кто шагает следом, они глядят из небытия с надеждой и тревогой, словно говорят: «Теперь вам за все держать ответ». Они свое дело сделали, их совесть чиста.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ

Человек пересек залитую летним солнцем улицу и по ступеням поднялся к массивной двери музея. Прежде чем войти, он обернулся и помахал рукой женщине, которая осталась в сквере. Она сидела в тени дерева, невысокого роста, пожилая женщина с смуглым лицом.

Комната, куда вошел мужчина, была полуподвальной, здесь было сумрачно и прохладно. Вдоль стен громоздились книжные шкафы. За одним из письменных столов сидел научный сотрудник и что-то быстро писал.

— Вы ко мне? — спросил он, мельком взглянув на вошедшего.

— Может быть, к вам, — сказал человек. — Я хотел бы передать музею один экспонат.

— Что еще за экспонат? — спросил сотрудник, продолжая заниматься своим делом.

— Хронометр Пятьдесят четвертой батареи, — сказал человек.

— Интересно, — сказал сотрудник.

Человек протянул хронометр.

— Простите, а вы что — тоже там были, на батарее, я имею в виду? — спросил сотрудник одновременно с интересом и недоверием. Недавно ему повезло обнаружить флотскую газету за март 1942 года с текстом приказа командующего Севастопольского оборонительного района вице-адмирала Ф. С. Октябрьского:

«В повседневных разговорах и печати называют различные даты начала обороны Севастополя.

Приказываю:

1. Датой начала обороны Главной базы Черноморского флота и города Севастополя в Великой Отечественной войне считать 30 октября 1941 года.

2. 30 октября 1941 года в 16 часов 35 минут батарея Береговой обороны Главной базы № 54, дислоцированная в районе деревни Николаевка, под командованием командира батареи лейтенанта тов. Заики и военкома батареи — политрука тов. Муляра первая открыла огонь по прорвавшейся мотоколонне противника из района деревни Ивановка на Севастополь.

В этом первом бою за Севастополь моряки-черноморцы показали чудеса храбрости и бесстрашия. Они уничтожили десять танков противника. Это было началом нашей славной героической борьбы за Севастополь, за Главную базу Черноморского флота, за честь и славу великого советского народа, воспитавшего подлинных героев в лице артиллеристов батареи № 54. Они не дрогнули, не испугались мотоколонны, а героически, по-флотски начали громить врага.

3. Батарея № 54 Береговой обороны Главной базы Черноморского флота, весь ее личный состав, в числе которого были три женщины-патриотки, войдет в историю нашей борьбы как символ нашего могущества, славы и непобедимости».

Сотрудника тогда все искренне поздравляли с находкой — как-никак в музее теперь был подлинный документ, где называлось число и время начала 250-дневной обороны города-героя. И сам документ и названные в нем люди принадлежали отечественной истории, как принадлежали ей участники первой обороны города лейтенанты Н. А. Бирюлев, П. А. Завалишин, матросы Петр Кошка, Иван Дымченко, Федор Заика — однофамилец, а может быть, и предок командира 54-й батареи. Недаром говорится, что беда к беде, а удача к удаче: вот и хронометр исторической батареи шел к нему в руки. Однако, напом-

нил себе сотрудник, в музее ничего нельзя брать на веру. И он строго спросил:

— Простите, а у вас есть какие-либо документы, которые бы подтвердили, что этот хронометр именно с Пятьдесят четвертой батареи?

Человек с удивлением взглянул на сотрудника.

— Какие еще документы? — спросил он.

Сотрудник скептически скривил губы.

— Согласитесь, что в любую минуту может распахнуться эта дверь, на ваше место сесть человек и протянуть мне чернильницу, заявив при этом, что это чернильница самого Наполеона.

— Понимаю, — сказал человек, — Я должен был представиться. Моя фамилия Заика.

Сотрудник музея побледнел.

— Простите, я только на минуточку, — проговорил он и вскочил из-за стола.

— Что делать? — спросил он, вбегая к начальнику музея. — За моим столом самозванец, который выдает себя за командира Пятьдесят четвертой батареи лейтенанта Заику?!

— Какое он производит впечатление? — быстро спросил начальник музея.

— Вполне нормальное. Вежливый, — сказал сотрудник.

— Зовите его ко мне, — распорядился начальник. — Сейчас выясним. Пока я буду с ним беседовать, узнайте год и место рождения лейтенанта Заики. Запишите все это на бумажке и положите мне на стол.

— Мне доложили, что вы Заика, — сказал начальник музея, протягивая руку вошедшему. — Присаживайтесь, пожалуйста...

Человек, который вошел к нему в кабинет, был невысокого роста, плотно сбитый, на светлом летнем пиджаке не было ни орденских планок, ни значков.

— Так-так, — сказал начальник музея, и лицо его приняло укоризненное выражение. — Мы тут собираем крохи о подвиге вашей батареи, радуемся каждой находке, а главный виновник живет в своем Кременчуге и в ус не дует, как говорится. Что ж это вы ни разу не дали о себе знать?

Вошедший усмехнулся:

— Мы врагу давали о себе знать. А война закончилась — вернулись домой залечивать раны. Работали, растили детей. А гоняться за славой — это не мужское дело.

Начальник музея больше не сомневался, что перед ним подлинный комбат Заика, человек из легенды. От растерянности он не мог найти сейчас нужных слов, бормотал:

— Никто, как говорится, не забыт, ничто не забыто, очень рад, что вы сочли нужным прийти к нам, и все-таки я не согласен с вами. Как же так?! Вас считают погибшим. Хоть бы весточку какую бы прислали, мы бы сами приехали к вам...

Вошел научный сотрудник, положил на стол бумагу, глазами показал: читайте. «Место рождения — Кременчуг, год рождения — 1919-й», — прочитал начальник музея. Почувствовал себя неловко. Но быстро нашелся.

— Вот, Иван Иванович, — сказал он, подходя к Заике, — как раз и хочу вам представить нашего сотрудника, который отыскал, наверное, очень ценный для вас приказ. Возможно, что вы даже не знаете, что такой приказ был. Сейчас мы вам его покажем...

И это была правда — о приказе Октябрьского Иван Иванович Заика ничего не знал. Он не знал, что его команда: «Пеленг 42... Дистанция 53 кабельтовых... По вражеским танкам... Залп!» — эти его слова, которые он выкрикнул когда-то давным-давно, и тот первый залп, который раздался следом, оказывается, и были началом обороны Севастополя...

Сколько раз доводилось читать, что подлинное искусство обладает даром предвидения. За несколько лет до начала войны в прибрежной степи под Севастополем, на крутых глинистых откосах снимали фильм «Мы из Кронштадта». А в сорок первом здесь же столь же мужественно и лихо, столь же бесстрашно дралась с врагом все та же морская братва. Быть может, поэтому, когда теперь случается вдруг увидеть этот фильм, я смотрю его иначе, понимаю: все показанное в нем — правда.

Скрываясь в бурьяне, разведчики внимательно следили за танковой колонной. Они еще не знали, что это авангард мотобригады генерала Циглера, перед которой командующим 11-й полевой немецкой армии Эрихом фон Манштейном была поставлена задача с марша прорвать нашу оборону и с ходу ворваться на северную сторону Севастополя.

Недоходя степного селения с простым русским названием Ивановка танкисты остановились на отдых. Сто» теплый полдень», вражеские солдаты стали располагаться на траве, собираясь пообедать...

Сколько раз, выкрикивая командные слова на учебных стрельбах, волновался лейтенант Заика! Почему теперь его охватило нетерпение, почему такой ненавистью горело его лицо!.. Да потому что жажда мщения охватила его. Теперь перед ним был не выдуманный, а настоящий враг, сильный, жестокий и наглый. И зазвеневшим от нетерпения голосом он крикнул: «Пеленг сорок два... Дистанция пятьдесят три кабельтовых... По вражеским танкам... Зал-лп!»

Изрыгнув огонь и дым, ахнули все четыре орудия 54-й батареи.

«Накрытие! Товарищ командир! — неслось из эфира. — Горят!»

Пылали грузовики с мотопехотой, дымно и страшно пылали вражеские танки...

Иногда в исторической летописи главы словно повторяются. Подмосковная деревушка Фили, изба, где командующий армии Михаил Илларионович Кутузов собрал своих военачальников решать, что же делать дальше. Сто тридцать лет спустя генерал Иван Ефимович Петров, командующий Приморской армии, в тесном деревенском домике в степном селе Экибаш тоже собрал на совет командиров своих дивизий и полков, чтобы решить, куда отводить армию: на Керчь или на Севастополь. Генерала Петрова поддержал полковник Ласкин: любым путем прорываться в Севастополь и до последней капли крови защищать город русской славы — таким было окончательное решение.

Кто мог знать тогда, что именно Ивану Андреевичу Ласкину сдастся в плен командующий 6-й полевой немецкой армии фельдмаршал Паулюс... Кто мог знать, что генералу Петрову еще доведется командовать фронтом, брать Берлин...

ВКУС МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ

ВЕТЕРАНЫ

Был август — время созревания звезд. Казалось, тряхни хорошенько небосвод — и звезды посыплются на землю, как перезрелая алыча.

Звезды и так осыпались, сгорали, подобно сигнальным ракетам.

Над морем висела яркая звезда Альтаир. Неопытные люди принимали Альтаир за топовый огонь, им казалось, что в море стоит судно.

Звезды были нашими друзьями.

И огонь, пылающий в очаге, тоже был нашим другом.

Очаг был сложен из камней и сверху накрыт листом железа, на этом листе мы пекли мидий. Прежде чем открыть створки, мидии выпускали сок, и тогда раздавалось шипение. Обжигая пальцы, мы брали мидию за верхнюю, полуоткрывшуюся створку, открывали ее и съедали горячий комочек нежного мяса.

Мидий мы добывали сами, ныряя за ними в масках. Здесь, в открытом море, раковины не вырастали до больших размеров, как на Керченских косах, но зато моллюски были такими чистыми, что мы даже решались поедать их живьем, как устриц. В некоторых мидиях попадались жемчужины.

Мы жили прямо над морем. Деревянный домик с верандой стоял на склоне горы, заросшей можжевеловыми и фисташковыми деревьями. Краснобугорчатые листья фисташки, стоило их помять, источали острый запах канифоли.

Иван Иванович и Валентина Герасимовна вздыхали: красиво! Днем мы жарились на солнце, купались, удили рыбу, ночью лакомились мидиями, смотрели на звезды и не говорили о том, ради чего мы встретились.

С командиром 54-й батареи и его женой я познакомился 30 октября 1981 года. Всюду, где бы я ни появлялся, слышалось: «Приехал Заика с женой». Я подумал, что было бы хорошо встретиться с ними и поговорить, но с ними же хотели поговорить и работники музеев, и журналисты, и ветераны, и воины, и школьники. Я понимал, что мои желания могут остаться всего лишь желаниями.

В конце октября облик севастопольских улиц преобразился: повсюду стояли, обнимались или шли куда-то оживленными группами ветераны, приехавшие отметить сорокалетие начала обороны. В Севастополе и 9 Мая было не менее, а может быть, даже и более оживленно, но среди тех, кто приезжал в город в мае, было много участников штурма Севастополя. Теперь же собирались только защитники.

Какими маленькими, неказистыми выглядели большинство из них рядом с рослыми акселератами. Время еще укоротило их, сжало, но в новеньких матросских форменках и в бескозырках они хорохорились, принимали молодцеватую осанку, и молодым людям, судя по выражению лиц, по снисходительным улыбкам, смотреть на ветеранов было и трогательно и забавно. С раннего возраста они встречали ветеранов войны и дома, и в школе, они привыкли к ним, они не понимали до

конца, какие это особенные старики. Не понимали, что не кто иной, как эти люди, в июне сорок второго года, в самый разгар третьего штурма, заставили фашистскую газету «Берлинер берзенцейтунг» завопить на весь Третий рейх: «Так тяжело германским войскам нигде не приходилось». И военный корреспондент газеты «Гамбургер фремденблат» думал о них, когда писал, что Севастополь оказался самой неприступной крепостью мира и что германские солдаты никогда не наталкивались на оборону такой силы.

САМАЯ НЕПРИСТУПНАЯ КРЕПОСТЬ МИРА

Самая неприступная крепость мира к началу третьего штурма могла противопоставить противнику 151 орудие Береговой обороны, 455 орудий и гвардейский дивизион «катюш» — 12 реактивных установок Приморской армии, 38 действующих танков, 56 истребителей, 16 бомбардировщиков, 12 штурмовиков, гарнизон крепости насчитывал 106 625 человек.

Немецкая сторона перед началом штурма на фронте протяженностью 34 километра сосредоточила 208 батарей — это составляло 37 орудий на один километр фронта, на направлениях же главного удара противник сосредоточил до 100 артиллерийских стволов, включая танковую и зенитную артиллерию. «Во второй мировой войне немцы никогда не достигали такого массированного применения артиллерии, как в наступлении под Севастополем» — это написал не военный историк, это написал сам фельдмаршал Эрих фон Манштейн, непременный участник самых грандиозных сражений второй мировой войны, и уж он-то знал, как все обстоит на самом деле. Половину стянутых к Севастополю батарей составляли тяжелые. Были и сверхтяжелые, осадные калибра 305, 350 и 420 миллиметров.

Но и этого Манштейну показалось недостаточно, он затребовал у Гитлера самые мощные орудия за всю историю человечества — два «Карла» и «Дору».

Снаряды «Карлов» уже были опробованы на стенах Брестской крепости, теперь настал черед Севастополя. Когда наши артиллеристы впервые увидели упавший на территорию 30-й батареи и почему-то не взорвавшийся снаряд «Карла», они не поверили своим глазам — длина его достигала 2 метров 40 сантиметров, калибр — 615 миллиметров.

«Дора» стреляла еще более страшными снарядами, калибр их достигал 812,8 миллиметра, вес — 7 тонн. Эта суперпушка была изготовлена на заводах Круппа для того, чтобы сокрушить французскую оборонительную линию «Мажино». Тридцатиметровый ствол «Доры», который перевозили на двух специальных платформах, уже на месте устанавливался на лафет высотой с трехэтажный дом. Чтобы погасить откат, было создано специальное, овальной формы многорельсовое полотно. Прикрепленный к «Доре» полк саперов обязан был не только оборудовать позицию, которая смогла бы выдержать такую махину и такие перегрузки, но и потом, когда надобность в позиции отпадала, разрушать ее до основания, как это требовала служба секретности. Позиции охраняли триста автоматчиков с овчарками, вокруг были установлены зенитные батареи, было еще подразделение специалистов по дымовой завесе. Вместе с техниками и артиллеристами обслуживающий персонал «Доры» насчитывал более двух тысяч человек во главе с генералом.

Потеряв под Севастополем за семь месяцев почти сто тысяч солдат, Манштейн на этот раз готовился к штурму небольшого укрепрайона с большей тщательностью,

чем к Польской кампании. Он знал, что к Севастополю обращены взоры всего мира, на карту был поставлен военный престиж рейха. В считанные дни были завоеваны целые страны: Франция, Бельгия, Норвегия, и поэтому уму непостижимое упорство севастопольцев чрезвычайно болезненно переживалось в Берлине. Лишь молниеносное овладение русским городом могло как-то спасти положение и несколько восстановить поверженный престиж армии.

На этот раз Манштейн решил не торопиться вводить в бой пехоту, пусть вначале хорошенько поработает авиация и артиллерия. Приданный ему для этой цели 8-й авиационный воздушный корпус генерал-полковника Рихтгофена по праву считался лучшим в хозяйстве рейхсмаршала Геринга. Это были асы, которые принимали участие в захвате острова Крит, бомбили Лондон, Ливерпуль. Корпус насчитывал более шестисот бомбардировщиков. Вместе с истребителями и штурмовиками набиралось тысяча шестьдесят самолетов. Командующему 11-й армии еще не доводилось видеть, чтобы подобная воздушная армада наносила удар по столь малому объекту. Фронт русских, окруживший Севастополь в виде дуги, насчитывал всего тридцать четыре километра в длину и шесть-семь километров в глубину. Дальше начинались городские окраины. Нетрудно было себе представить, во что превратится столь малая территория после того, как на нее упадут десятки тысяч бомб и снарядов...

А потом — все это уже было обозначено на картах — в позиции русских вбивались танковые клинья! Четыреста пятьдесят средних и тяжелых танков обязаны были вонзиться и раздвинуть ослабленную за дни бомбардировок и артогня оборону русских, вот только тогда в пробитые бреши должна была хлынуть пехота: 175 тысяч солдат и офицеров. Всего же в распоряжении Манштейна теперь находилось 203 800 пехотинцев.

Итак, перед началом штурма на каждого защитника Севастополя приходилось два вражеских солдата, на каждое орудие — два, причем большего калибра, на каждый наш танк — одиннадцать немецких танков. Если говорить об авиации, то бомбардировщиков у Рихтгофена было почти в пятьдесят раз больше, а среди истребителей, которые мы могли поднять в воздух, было немало устаревших «ишачков» — «И-16», и сколько раз я видел, задрав голову, как звено зеленых «ишачков» бросается навстречу эскадрилье «мессершмиттов», бесстрашно атакует их и сбивает один-два самолета.

2 июня 1942 года нас разбудила канонада. Словно где-то, совсем неподалеку, бушевала гроза. Потом все стихло. И в тишине возник натуженный гул множества самолетов. По звуку мы уже научились определять, откуда идут самолеты, — эти шли со стороны моря. В нашем направлении... Мы схватили подушки и бросились в щель. Щель начиналась в двух шагах от нашей калитки и шла вдоль дороги, это была общая уличная щель. Сверху она была покрыта досками, листами кровельного железа и засыпана землей. Перед тем как спуститься по ступеням, я оглянулся и увидел громадную стаю тяжелых бомбардировщиков. Столько самолетов сразу я еще никогда не видел. На Северной стороне захлопали зенитки...

В последних числах мая нас ежедневно бомбили, но такой бомбежки еще не было. Сбросив бомбы, первая шеренга отворачивала, уступая место следующей. Нарастающее завывание приближающихся к земле бомб не в силах было заглушить натуженное гудение тяжелых машин — так их было много. Потом все тонуло в грохоте взорвавшихся бомб. Я зажимал уши ладонями и открывал рот, чтобы не оглохнуть, ногами, спиной ощущая, как вздрагивает земля. А земля вздрагивала, стонала, словно ей было больно, дергалась, как дергается человек, которого истязают.

И невидимый оператор все вращал рукоятку громкости — это приближался к нам фронт взрывов. Каждый понимал, что только чудо может спасти нас. Кто-то скомандовал: «Ложитесь, я всех накрою подушками, больше шансов уцелеть». И все легли, прижавшись друг к другу, и кто-то — я не мог вспомнить, кто это был, — сверху набросал подушки, потом втиснулся сам.

Подушки нас спасли, но мы бы задохнулись, если бы не бабушка. Она почему-то задержалась, не успела спрятаться в эту щель и спряталась в ту, которую мы вырыли в огороде. Там могли уместиться только два человека. Это был крошечный окопчик — все, что удалось нам выдолбать в скале. И бабушка потом рассказывала, что, когда рядом взорвалась бомба, она сразу же почувствовала: с нами беда, и побежала к нам, не дожидаясь конца бомбежки, и увидела, что нашу щель засыпало развороченной землей и камнями. Потом все удивлялись, как ей хватило силы, одной, выворотить столько земли, чтобы раскопать нас. Бабушка по очереди выволокла всех наверх, оглушенных, потерявших сознание.

Когда я очнулся, мне показалось, что наш дом лежит на боку. Часть крыши стояла стоймя, кровельное железо было пробито осколками. Я услышал бабушкин голос: «Ну, слава богу, живы! Я уж думала, все...»

Немецкие самолеты продолжали бомбить, но теперь они бомбили центр. Из-за поднятой пыли почти ничего нельзя было разглядеть, кроме того, что там бушует смерч, грязно-серый кудлатый смерч, над которым вырастают клубы черного дыма. Поднятая взрывами земля опадала, сквозь мутную пелену проступали оранжевые пятна пожаров. Таких пятен было много — я догадался, что центр бомбят не только фугасными, но и зажигалками. Самое крупное пятно полыхало наверху противоположного холма, и я вдруг понял, что это горит Владимирский собор — усыпальница наших адмиралов. Пыль оседала, и все отчетливее вырисовывался объятый пламенем собор...

В тот же день стало известно, что вражеские летчики сбросили на Севастополь более трех тысяч одних только фугасных бомб. Зажигательные никто не считал.

Естественно, что в штабе СОР (Севастопольского Оборонительного района) никто не знал, что задумал Манштейн. Согласно же плану «Störfang» («Лов осетра»), как было закодировано наступление на Севастополь, на артподготовку было отведено пять дней, на авиационную — больше двух недель. По самой скромной прикидке за четыре дня на Севастополь было сброшено более шестнадцати тысяч фугасных бомб и на передовую упало около сорока тысяч снарядов. Осколки некоторых снарядов достигали пятидесяти — шестидесяти килограммов.

Уже после войны французский военный историк генерал Шасен где-то нашел данные, что германская авиация в течение двадцати пяти дней сбросила на Севастополь сто двадцать пять тысяч т я ж е л ы х бомб *. Он сравнил это число с количеством бомб, которые английский королевский воздушный флот сбросил с начала войны на Германию. Поскольку в те годы фашистскую Германию бомбили лишь англичане (американцы присоединились позднее), то выходило, что на Севастополь за время обороны было сброшено столько же бомб, сколько и на всю Германию с начала войны по июль 1942 года, то есть почти за три года.

Сегодня, когда я пишу эту главу, с начала войны прошло более сорока лет. Я поль-

* Официальный орган люфтваффе «Дас Адлер» в 1942 году сообщил, что со 2 июня по 4 июля 1942 года на Севастополь и оборонительные сооружения было совершено 23 751 самолетовылетов и сброшено 24 000 тонн бомб.

зуюсь книгами, написанными советскими, английскими, американскими, немецкими и французскими историками, на полке моей библиотеки стоят мемуары величайших полководцев и скромных участников боев за Севастополь, сборники некогда секретнейших документов. Все это позволяет увидеть подвиг моего города в ракурсе исторической объективности. Но если вернуться все в тот же сорок второй год, когда дивизии 6-й немецкой армии, начав свое наступление от Харькова, с боями форсировали Дон и вышли к излучине Волги, когда группа армий «А» фельдмаршала Вильгельма Листа в составе 1-й танковой армии фон Клейста, 17-й полевой армии генерала Руоффа и 3-й румынской армии генерала Думитреску — 40 пехотных, танковых, моторизованных, кавалерийских, горнострелковых и прочих дивизий — приступили к исполнению стратегического плана «Эдельвейс» по овладению Кавказом, когда наступил самый напряженный и самый ответственный этап войны, когда все советские люди жили лишь одной верой, выраженной всего двумя словами: м ы п о б е д и м, когда подвиг Севастополя еще не стал историей и о нем судили по меркам военного времени, то и тогда ему отдавали должное. Я не стану приводить строки из статей и очерков таких знаменитых писателей, как С. Сергеев-Ценский, Алексей Толстой, Илья Эренбург, Андрей Платонов, Леонид Соболев, Вл. Лидин, Л. Соловьев, Л. Озеров, Петр Сажин, А. Первенцев, А. Калинин, Евгений Петров, и фронтовых корреспондентов центральных газет, я приведу строки, написанные безымянным автором в сорок втором году в качестве предисловия к книге очерков «Севастополь»:

«Сейчас нет еще тех слов, которые могли бы со всей полнотой и со всей глубиной передать то, что чувствовали и переживали советский народ и его друзья во всем мире, когда краткие сводки Информбюро называли слово: С е в а с т о п о л ь.

В этом слове было — все. В нем отразились величие русского народа и сила его оружия, его жгучая ненависть к проклятому врагу, его титаническая воля к борьбе и неиссякаемая вера в окончательную победу.

Ни героизм воинов, запечатленный в сказаниях и легендах, ни самые прославленные битвы в прошлом не сравнимы с воистину легендарной эпопеей борьбы, которую вели севастопольцы против оголтелых фашистских извергов.

Обычно принято говорить о тех, кто мужественно сражается: «они дерутся, как львы». Но когда вдумываешься в двухсотпятидесятидневную ожесточенную битву защитников Севастополя с врагом, это сравнение кажется слабым. О них, невиданных героях, можно лишь сказать: „они сражались, как севастопольцы“».

ЭХО ВОЙНЫ

Вот эти «невиданные герои» — тогда молодые и отчаянные парни, а теперь, через сорок лет, шмыгающие носами, с покрасневшими от слез глазами наводняли улицы красивого белокаменного города, словно кто-то им дал команду еще раз собраться вместе, еще раз повидаться, вспомнить, как было, и помянуть погибших тогда товарищей.

Я и сам слонялся между ними с затуманенным взором, готов был каждого из них обнять и поблагодарить за все, что они тогда сделали. Каждого хотелось расспросить. И был страх, что за два-три дня, пока эти люди будут в Севастополе, я ничего не сделаю, не успею. Это с магнитофоном все просто, нажал на клавиш и слушай. Человек не сразу начинает вспоминать, человеку не просто в е р н у т ь с я туда, где рвутся бомбы, мины, снаряды и где ты снова один на один остаешься с бронированными

чудовищами, которые, лязгая гусеницами, прут прямиком на тебя, и ты видишь, что остается от тех, кто оказался у них на пути, а это зрелище не для слабонервных, и, зная, что в любой миг это же может случиться и с тобой, ты все равно заставляешь себя взять в руки бутылку с зажигательной смесью и, подпустив танк, швырнуть бутылку, целясь в смотровую щель... Ты должен вспомнить, как ты поднимался в атаку и бежал навстречу солдатам в мутно-зеленых мундирах, как лязгали и стучали в рукопашной штыки и винтовки, как все кричали вокруг и как ты сам кричал, стараясь половчее всадить штык в ненавистный мундир, окрасить его кровью, прикладом отбить, отвести свою собственную смерть и, схватив врага за грудки, свалиться вместе с ним на землю, чтобы на колючей траве решить, кто кого.

Люди годами, десятилетиями жили, не вспоминая этого кошмара, переставали сниться сны, как тебя убивают, собственные страхи и собственная боль проваливались, как в трясину, и сверху нарастала пленка забытья, а иначе невозможно было бы и жить.

Я слышал, как один говорил другому:

— Ты помнишь, как в долине Смерти о н бросил на нас гвозди?

— Не помню, нет, — качал головой собеседник.

— Ну как же ты не помнишь?!. Гвозди летели — та-акие, как палец, и совсем тоненькие, как иголки, чуть больше сапожных... Неужели не помнишь?

— Ты знаешь, не помню.

— А я вот помню. Как сейчас помню. Ужасный визг стоял, когда они сыпались с неба, как град. Насквозь людей прошивали. Я такого страха не испытал больше никогда!.. Ведь жуть что творилось... О н их, видать, из мешков высыпал на наши позиции... Как сыпанет, как сыпанет, а они с визгом тошнотворным летят...

— Слушай, а ведь точно! Вспомнил. Аккурат в Бельбекской долине были. Ой, слушай!.. Зачем только напомнил?!. Ведь точно, насквозь пробивали...

Я расспрашиваю ветеранов и узнаю, что они из 172-й дивизии полковника Ласкина, дрались с немцами еще на Перекопе, в Севастополь пришли в первых числах ноября в составе Приморской армии. Я делаю в своей записной книжке пометку : «172-я, гвозди с самолетов», а фамилии бойцов почему-то не записываю.

Немцы были большие мастера психических атак и сюрпризов. К плоскостям пикирующих самолетов они крепили специальные сирены, которые издавали ужасающий, действующий на психику звук. С этой же целью они сбрасывали пустые бочки, рельсы, спинки и сетки от кроватей — и вся эта железная рухлядь производила такие звуки, от которых хотелось подхватиться и бежать куда глаза глядят. Они не только на передовую, они и на Севастополь кидали такие сюрпризы. Но вот о гвоздях я слышу впервые. Надо бы проверить, думаю я. И вспоминаю, что в этой дивизии до конца воевала Герой Советского Союза Мария Карповна Байда, которая живет в Севастополе, возглавляет Дворец бракосочетаний.

Я прихожу к ней к концу рабочего дня. Последние счастливые молодожены выходят из комнаты, где Мария Карповна пожелала им долгой и счастливой семейной жизни.

Затем появляется Мария Карповна. Она величественна в своем длинном до пола платье с пелериной. Немолодая интересная женщина. Представить себе, что у нее в наградном листе написано: «В схватке с врагами из автомата уничтожила пятнадцать солдат и одного офицера, четырех солдат уложила прикладом, захватила пулемет и автоматы противника», что она была разведчицей, брала «языка», — представить себе все это, глядя на высокую скуластую женщину с усталыми глазами, невозможно. Мы проходим в ее кабинет, некоторое время говорим о том о сем, а потом

я спрашиваю ее: «Правда ли, что немцы сбрасывали гвозди с самолетов?» И вдруг я вижу, как расширяются ее зрачки. Еще секунду назад эти глаза излучали свет, теперь это две черные космические дыры, я ощущаю холод.

— Я все это помню, — говорит Мария Карповна. — Но об этом лучше не вспоминать. Они зудели, как несметное количество комаров. Это было изуверство. Ни взрывов, ни грохота, ни дыма, а люди остались лежать на земле...

— Может быть, об этом не следует писать? — спрашиваю я.

— Нет, об этом писать надо! Надо, чтобы помнили и об этом, помнили, но не знали. Не дай бог, чтобы кто-нибудь снова испытал весь этот кошмар. Женщины должны рожать детей, мужчины делать жизнь краше, никто не должен воевать — ни мужчины, ни женщины...

Меня предупреждают: 30 октября в полдень группа ветеранов на автобусах выезжает на 54-ю батарею, обещают, что будет место в автобусе и для меня.

Автобусы стоят у входа на Исторический бульвар. Большинство ветеранов в военной форме, с погонами, при орденах.

Севастопольский поэт, драматург и журналист Борис Эскин берет меня за руку и подводит к своей машине.

— Они едут со мной, — говорит он по дороге и представляет: — Иван Иванович Заика... Валентина Герасимовна...

Так мы знакомимся.

Борис готовит материал для радио и для газеты, у него в руках репортерский магнитофон, он о чем-то расспрашивает Ивана Ивановича.

Уже третьи сутки сердце словно кто-то прожигает. Я знаю: проснулась п а м я т ь. Одно за другим выплывают извещения о смерти. П о г и б с м е р т ь ю х р а б р ы х... Эти три слова, редкая семья их не знала.

Я нахожу себе место в автобусе.

Через бухту переправляемся на пароме.

День солнечный, тепло. Голубая, чистая вода. Солнечные блики. Слепящая белизна зданий...

На Северной стороне снова загружаемся в автобус.

30-я батарея Александера... 10-я батарея Матушенко... Мощные береговые батареи с громадными пушками, многоэтажными башнями, капонирами, потернами, находящимися глубоко под землей. Обе батареи приняли эстафету от 54-й, встретили огнем танки мотобригады Циглера.

Мы пересекаем Бельбекскую долину — долину Смерти, как ее называли и наши бойцы и немцы.

На виноградниках еще кое-где люди убирают урожай. Плантации виноградников тянутся на десятки километров. Слева видно море. Вот Альма — место, где произошло первое сражение русских и англо-французских войск в сентябре 1854 года. В октябре 1942 года сюда рвалась мотобригада Циглера, чтобы по этому шоссе с ходу ворваться в Севастополь. 54-я батарея преградила немцам путь в сорока километрах от того причала на Северной стороне, где менее часа тому назад мы во второй раз погрузились в автобус. Танки свободно преодолели бы это расстояние за два часа... Утраченная внезапность в октябре и люди, бросающиеся под танки в ноябре. Могучая армия во главе с лучшим гитлеровским военачальником на восемь месяцев выведена из строя, выключена из операций, не участвует в прорывах, в наступлениях. Все, что она в состоянии сделать, — это за семь месяцев штурмов, изнурительных боев и осады продвинуться на пять-шесть километров. Всего на пять-шесть километров при таком преимуществе в живой силе и в технике!

А люди, остановившие врага, едут в автобусе, задумчиво смотрят в окно или беседуют друг с другом.

Я еще не знаю, что два ветерана, ко-

торые сидят впереди меня, — это сигнальщик батареи Дмитрий Шмырков и второй замковой Василий Лунев. От волнения кожа на их лицах так натянулась, что кажется, вот-вот не выдержит напряжения й лопнет.

Автобус останавливается поблизости от памятника. Обелиск с именами погибших, морское орудие, выкрашенное шаровой краской. Здесь уже ждут пионеры с букетами цветов. И жители Николаевки, в руках у них венки. Оркестр моряков. Он приехал на своем автобусе раньше.

Все сразу приходит в движение, по команде подняты с земли медные трубы...

До меня вдруг доходит, что никто не побеспокоился, чтобы сегодняшний день был запечатлен на кинопленку. И становится обидно, досадно — ведь ветераны не вечны, а их бы запечатлеть для потомков, чтобы и через пятьдесят, и через сто лет помнили о героях.

Я смотрю, как маленькая группа батарейцев тесно окружает своего командира. На часах 16 часов 30 минут.

Иван Иванович Заика начинает говорить.

Кажется, обрела дар речи сама история. На часах 16.35, раздается команда:

— Пеленг сорок два... Дистанция пятьдесят три кабельтовых... По вражеским тан-ка-ам... Зал-лп!

Но на этот раз пушки не изрыгают огонь, они скорбно молчат.

Бриз шевелит лепестки осенних цветов на братской могиле батарейцев. Осень пахнет полынью, цветы несут в себе ее горечь, пусть плачут люди, не стесняясь слез...

Пусть скорбят звонкие трубы музыкантов, поминая павших...

Рослые морские пехотинцы вскидывают в небо карабины:

залп...

второй...

третий...

Эхо далекой войны...

ПИСЬМА

В этих письмах я не исправил ни строчки, ни буквы. Сначала я собирался исправить ошибки, но потом понял, что этого делать не следует: перед нами подлинный документ и он должен таким остаться. К тому же нетрудно догадаться, что рыбак Борис Евгеньевич Штепа пережил трудное, голодное детство, ему пришлось рано начать зарабатывать на жизнь, семилетним образованием могли похвастаться немногие.

Письмо первое.

Здравствуйте Иван Иванович и Валюша!

Собирался Вам написать письмо да все не мог выбрать времени. Но одно событие подтолкнуло меня к Вам одной находкой. 8.5. на нашей батарее обвалилась круча как-раз против третьего орудия, там бегали детишки и в окопе обнаружили труп матроса, каска пробита как-раз на лбу, кости, ботинки, перочинный нож и самое главное истлевший бумажник, удалось прочитать (да подсумок и обрывки сумки красного креста), справка истлевшая, никого из взрослых не было и дети ее изомяли, но все же установили, что она была выдана Сергею Колеснику, дальше вырезка из газеты, какое-то стихотворение и две пятерки и одна десятка денег. Если Вы помните у нас был санитар такой пожилой лет ему было уже сорок. То это и есть он... 9.5. Приехал военком Сакского р-на, капитан Воробьев и организовали похороны возле памятника, это уже третья могила, на похоронах была вся деревня. Вот что я Вам хотел сообщить, досвидания Юра.

Письмо второе.

Уважаемый Иван Заика!!

Я читал заметку в газете «Зоря Полтавщины» года три тому назад, о трудном го-

де 1941 года. Я был учасником сам етих событий под Николаевкой между Севастополем и Евпаторией. Точно дату числа забыл. Нас было послано 4 катера рыбацких из Севастополя, на нашем катере на котором я был мотористом, был лейтенант морской. Вышли мы из Севастополя ночью, подошли к Николаевке утром, стали на якоря, недалико к берегу, лейтенант высадился на берег зразу по прибытии, а нам было прыказано чтоб моторы были готовы в любую минуту запустить их, целый день мы стояли, на берегу орудия били целый день, над вечер подул сильный ветер море сильно штормило, перед заходом солнца, прошли самолеты, с моря над нами, и скрылись на горизонти, в глуб крымского материка, через некоторое время появились самолеты над нами, давай нас бомбить и обстреливать с пулеметов, на мой катер на котором я был бросил 4 бомбы но не попал. Когда появились самолеты над нами и стали нас обрабатывать, я и ищо два успели завести моторы и стали крутится в море, а один катер не успел завести мотор иго выбросило на берег, а один катер был сильно побит были раненые на ему люди, сильно дал теч и стал тонуть, мы подошли забрали команду с него, крутились мы долго ночью в море связацса с берегом в нас было нечем, шлюпок небыло у нас была шлюпка маленькая в такую штормину ночью было и думать плыть и мы вернулись в Севастополь.. Числа 6—8 ноября 1941 года погрузили груз, грузили на мино-торпедной прыстани 1 брыгады подводных лодок, вышли из Севастополя нас катеров 40 но нас прыбыло на Кавказ единицы, не буду за це опысувать. С Кавказа Туапсе мой катер направили на десант на Керчь 1941 — в декабре 26—27 числа. После взятия Керчи в мае месяце 1942 г немцем я его время был в Тамани тогда перешли мы в Темьрюк, там я встретил одново человека с тово катера что выбросило на берег, вот что он мине рассказал. Нас направили вас забрать вы должны были выстрелять снаряды орудия подорвать погрузится на катера и итить в Севастополь, лейтенант который прибыл с нами он должен руководить операцией. Ночью немцы забрали в плен краснофлотцев, согнали жителей Николаевки вырыли яму и всех краснофлотцев растриляли, а их забрали в Евпаторию заперли в сарай, охрана была итальянцы, те поснули, а они вбижали и дошли в Керчь, етово человека я встретил в мае месяце в Темрюку 1942 года. Катер мой под названием «Туак» а те забыл. Извини что плохо написал очень трудно споминать руки трясутся. После етого я был 145 мор. пехотный полк на Туапсинском направлении был ранен, после ранения упросил врачей чтоб не списывали, и прошол ищо от Москвы до Витебска и 1944 году был демобилизован сейчас инвалид.

С уважением к вам Штепа Борис Евгеньевич.

— Этот лейтенант появился на батарее, но у нас еще было два орудия и снаряды. Мы собрались в ту ночь, обсудили положение и решили драться до последнего орудия, до последнего снаряда. Потом писали, что за нами выслали эсминец и три шхуны, что меня поставили в известность из дивизиона, чтобы я подготовился к эвакуации. Нет, этого не было. Было все так, как описал Штепа. Штормило сильно. Шхун мы не видели, было не до того, все внимание на противника, который уже с утра атаковал батарею. Да и не шхуны это были, а обыкновенные зеленые рыбацкие фелюги. Не в этом дело, мы решили драться до последнего. И все-таки за нами снова пришли. Ночью. Когда у нас уже не осталось ни орудий, ни снарядов. В сумерках выдержали последнюю рукопашную. Враг уже на батарее. Ждали рассвета, чтобы подороже продать свою жизнь. Залегли у самого моря, за спиной обрыв метров пятнадцать. Если фильм «Мы из Кронштадта» видел, то должен помнить обрыв, где повязанных матросов с камнями

на шее сбрасывали. Вот точно такой же обрыв...

И здесь комбата 54-й не подвела наблюдательность — часть фильма «Мы из Кронштадта» снимали под Севастополем — в районе Учкуевки, поэтому и тот откос, что был показан в фильме, и тот, где в ночь со 2 на 3 ноября собрались батарейцы, принадлежали одной береговой линии западного побережья Крыма. Этот глинистый отвесный берег, подмываемый прибоем, начинался от стен Константиновского равелина и тянулся до Евпатории, и только долины рек нарушали его однообразие. Но замечательным было не совпадение места съемки и места подвига, замечательным было художественное предвидение подвига моряков. Так называемый обобщенный образ рожденного революцией матроса обрел свое реальное лицо. На таком же берегу к своему последнему бою готовились матросы в бушлатах и в блинчатых бескозырках, и символичным теперь воспринимался тот факт, что в фильме на матросских ленточках значилось: «СЕВАСТОПОЛЬ».

Рассказ Ивана Ивановича оживал в моем воображении.

Ночь... Обрыв... Тусклый перламутровый прибой на невидимой кромке пляжа... Пропахшие запахом дымного пороха матросы... Вспархивающие, подобно почтовым голубям, ракеты над вражеской позицией... Немцы, подковой охватившие территорию батареи, не спят, ждут ночной контратаки, но сами наобум Лазаря не лезут: автоматчики, артиллеристы, танкисты...

И вдруг в море кто-то начинает бойко «писать» фонарем Ратьера.

— Товарищ лейтенант, это наши... Просят ответить, — слышится приглушенный голос батарейного сигнальщика Шмыркова, — а ответить нечем...

Если не ответить, уйдут. В темноте не видно, кто пришел, какие корабли. Кто-то протягивает руку помощи, как же дать знать о себе?..

И вдруг радист Дубецкий вспоминает, что на командном пункте, возле разбитой рации осталась годная к употреблению секция аккумулятора.

— Была и лампочка для подсветки, — шепчет он. — Пошли, Шмырков, только спички надо взять... Ребята, все спички мне...

Сигнальщик и радист уползают...

А желтый глазок в море продолжает мигать — запрос... запрос... запрос...

Заика наклоняется к комиссару, шепчет в ухо:

— Савва Павлович, остаюсь прикрывать.

— Почему ты?

— Капитан покидает корабль последним.

— Я остаюсь с тобой!

В темноте их руки встречаются в крепком рукопожатии.

— Яковлев... Лавров... Мороз... — Заика называет тех, кому тоже оставаться в заслоне. Лейтенант Лавров, высокий красивый парень, пока командир уничтожал коды и секретные документы, вынул пистолет, решил застрелиться. Пришлось выбить пистолет. Лавров чуть не заплакал: «Живым не сдамся!» — «Не сдавайся, но умри с пользой. Одного заберешь на тот свет, с собой, хорошо, двоих — еще лучше, понял?» Такой вышел разговор накануне. Миша Мороз — тот из другого теста, будет драться до последнего. Его уже успели прозвать Кошкой. Утром вызвался охотником вдоль берега пройти в Николаевку и с тыла напасть на минометчиков, уж больно донимали. Позвал с собой добровольцев. Собралось человек двадцать. Нападение получилось внезапным. Сам Мороз забрался на чердак и оттуда поливал гитлеровцев из ручного пулемета. Они его обнаружили, окружили дом. Принесли лестницу. Он швырнул под ноги солдатам

связку гранат и, дождавшись взрыва, сиганул вниз сам. Ушел. Еще перед боем постановили: просачиваться на батарею, где каждый человек дорог, самостоятельно. Мороз вернулся и в последнем ближнем бою уложил, стреляя в упор, дюжины две автоматчиков. Готовясь к утреннему бою, он уже успел счетверить пулеметы. Высокий, ловкий, надежный Миша Мороз.

Возвращаются Шмырков и Дубецкий. Шмырков сообразил лампочку поместить внутрь бумажного кулька — чем не фонарь. Закрывая кулек бескозыркой, Шмырков пишет: «Ясно вижу». И читает ответ: «Передаю приказ командующего флотом. Личному составу покинуть позицию батареи. Принимайте шлюпки».

Первым делом нужно каким-то образом опустить в шлюпки раненых. В дело идут телефонные провода. Их заводят под мышки, привязывают к матросским ремням. И таким образом опускают с обрыва прямо в шлюпки. Слышатся привычные команды: «Майна... Вира...» Шлюпки с ранеными отходят. Все вроде бы идет нормально. Заика говорит Муляру: «Пойду искать Валентину, если что, принимай командование на себя».

Комиссар не отговаривает, это настоящий человек.

Заика ползет по развороченной бомбами и снарядами батарее с пистолетом в руке. На спине за пояс заткнуты две гранаты.

Взлетают немецкие ракеты, помогая ориентироваться в темноте. Вот и лазарет. Хоть бы она была жива... Он по ступеням сбегает вниз, дверь открыта. Громко шепчет: «Валентина!» — и чиркает спичкой. Пламя разряжает мрак не больше чем на полметра. Сжигая спичку за спичкой, Заика идет вдоль стены. Лежит мертвый Кардаш... Рядом Дмитриев, ленинградец... Бледные лица мертвых матросов, вытянутые тела... Заика ищет жену... Но в лазарете ее нет...

Когда он появляется на поверхности, он понимает, что немцы обнаружили в море корабли. В небе ярко пылает несколько осветительных «люстр», прекрасно освещая всю территорию батареи. Еще одна «люстра» вспыхивает мористее, осветив приближающуюся шлюпку. И тотчас по шлюпке начинает бить пулемет. К этому немецкому пулемету протягиваются яркокрасные трассы — Заика понимает, что это заговорили «ДШК». Наметанным глазом он определяет, что огонь ведут морские охотники*. Завязывается артиллерийская и пулеметная дуэль.

Пригибаясь, Заика перебегает от одного простертого на земле тела к другому. Здесь и его матросы и немецкие солдаты. Лежат так, словно и мертвыми продолжают убивать друг друга. Окаменевший бой. Лампы-ракеты светят ярче, чем десять лун в полнолуние. Ночное виденье боя потрясает...

Но где же его Валентина?

Неужели ее в лазарете захватили немцы?.. Об этом страшно подумать.

А дуэль между кораблями и берегом все усиливается. Немцы понабросали висячих «люстр» и огонь ведут прицельно. Теперь кроме охотников виден короткий и высокий корпус тральщика, он неподвижен, следовательно, на якоре. Разноцветные трассы щупальцами тянутся к палубам, снаряды вспенивают воду вплотную к незащищенным бортам охотников. Как человек, которого учили стрелять по кораблям, Заика понимает, какому огромному риску подвергают свои суденышки командиры ради спасения артиллеристов.

Когда он возвращается к месту посадки, то видит, как переполненная шлюпка с трудом преодолевает волну. На берегу остались лишь те, кто остался в заслоне.

— Морякам нужно немедленно уходить. Я распорядился, чтобы за нами не возвращались. Нас всего семеро, а там их в десять

* И. И. Заика не знал, что морские охотники МО-031 (командир лейтенант Андрей Осадчий) и МО-061 (командир лейтенант Сергей Еремин) привел командир звена Д. А. Глухов.

раз больше и еще корабли в придачу, — докладывает комиссар.

— Сколько наших ушло на шлюпках? — спрашивает командир.

— Двадцать восемь человек, — отвечает комиссар.

Охотник подходит к шлюпке и берет ее на буксир, чтобы вывести из-под обстрела. На тральщике * заработал фонарь Ратьера, одновременно слышится характерный звук поднимаемой якорь-цепи. Значит, уходят. Тот, кто отдал этот приказ, поступил правильно. Заика понимает, что будь он на командирском мостике, он поступил бы так же — дальнейший риск не оправдан, моряки сделали все, что было в их силах.

— Товарищ командир, — Заика узнает голос Мороза. — Товарищ комиссар. Уходите тоже. Вниз по проволоке и берегом. Я прикрою ваш отход, а потом догоню. Еще повоюем. У меня нюх, немец сейчас попрет злость всю вымещать, я его и встречу пулеметным огнем. Нужно уходить на север, в Николаевке немцы, — добавляет Михаил Мороз.

— Уходи как только мы спустимся вниз, — приказывает Заика. — Мы будем тебя ждать, поэтому не мешкай.

Он скользит по проволоке вниз, ощущая в ладонях режущую боль. Тонкая проволока обжигает кожу, словно раскаленный шомпол. Заика окунает руки в воду, надеясь, что холодная вода остудит обожженные руки, но соль только усиливает боль. Совсем перестал соображать. Один за другим плюхаются на песок Муляр, Яковлев, Лавров. И дуют на ладони. Вдруг наверху раздается пулеметная очередь. На нее накладываются автоматные — наверху идет отчаянный бой. Слышатся разрывы гранат. И пулемет умолкает. В наступившей тишине слышится чужая лающая речь. И треск выпущенных ракет. Заика с товарищами прижимается к откосу. Ракеты освещают пустынную полоску пляжа. Наверху беснуются автоматы, похоже, что немцы так выражают свою радость.

— Мы ошиблись, думая так, — говорит Иван Иванович. — Потом уже, после войны, когда мы с Валей приехали в Николаевку, местные жители рассказали нам, что когда они вышли на следующий день после того, как убрались немцы, чтобы похоронить погибших артиллеристов, то не смогли поднять тело Михаила Мороза. Они не могли его оторвать от земли! И не понимали, в чем дело. А потом поняли: в ту ночь, когда мы стояли внизу и думали, что немцы салютуют, мы ошибались — это они в приливе бешенства разряжали свои диски в нашего, уже мертвого, товарища. Это от принятого свинца стало его тело таким тяжелым.

Иван Иванович умолкает. Багровый отблеск огня падает на его лицо, и я вдруг понимаю, что он *вернулся на тот ночной берег*. Мучительно болят обожженные и порубцованные телефонным проводом ладони... спина вжимается в ребристую сухую глину уступа... у ног привычно рокочет, набегая на песок, волна... потрескивая, взлетают в небо осветительные ракеты... над головой слышится чужеземная речь... а потом все глохнет в яростной дроби автоматных очередей...

Потрескивают в огне можжевеловые сучья. Черные громады гор, в вышине соприкасаясь с звездами, кажутся таинственными.

Я смотрю на командира 54-й батареи и вспоминаю слова Юлиуса Фучика, которые мне хочется поставить эпиграфом к задуманной в Бресте книге: «Об одном прошу тех, кто пережил это время: не забудьте!.. Терпеливо собирайте свидетельства о тех, кто пал за себя и за вас... Пусть же павшие в бою будут всегда близки вам как друзья, как родные, как вы сами!»

Написавшего эти слова утром казнили в фашистском застенке...

* В эвакуации 54-й батареи принимал участие тральщик «Искатель» (командир капитан-лейтенант Вл. Паевский).

РАССКАЗ СТАРШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА

Моя фамилия Зинченко. В Севастополе меня ранило, я попал в госпиталь и эвакуироваться по независимым от меня причинам не успел.

Тридцатого июня тысяча девятьсот сорок второго года оставшимся в госпитале было приказано отправиться в Казачью бухту для посадки на корабли. Я пошел с главным старшиной Онещук, но подойти к Казачьей бухте из-за сильного огня противника мы не смогли. Мы решили пробраться к Херсонесскому маяку, думая, что оттуда легче будет эвакуироваться. Но и там даже малые корабли не смогли подойти к берегу. Те, кто был здоров и хорошо держался на воде, поплыли к видневшимся в море кораблям, а мы, раненые, не смогли этого сделать.

Вечером первого июля нас собралась большая группа. Здесь были севастопольские женщины, рабочие, моряки, армейцы. Все решили пробиваться в горы между Казачьей бухтой и тридцать пятой батареей. Но попытка оказалась неудачной: немцы, заметив нас, преградили нам путь потоками артиллерийского и минометного огня и начали обстреливать со всех сторон из автоматов. Мы вынуждены были отступить и укрыться под нависшей над морем высокой скалой, находившейся между тридцать пятой батареей и мысом Херсонес.

Утром второго июля враг оказался над нашими головами. Немцы с издевкой кричали нам вниз: «Русс! Капут... Сдавайся!»

Мы им на это ответили автоматными очередями и меткими выстрелами из пистолетов. Несколько наглецов упали вниз, умолкнув насегда. Но их сменили другие. Стрельба длилась весь день.

Видя, что нас не запугаешь, немцы в ярости начали бросать вниз связки гранат. Гранаты рвались в воде и на камнях, осыпая прижавшихся к скале людей осколками. Раненые получили новые раны. Росло и число убитых. Надо было как-то защищаться, и мы из трупов немецких солдат сложили стену между скалой и морем, которая предохраняла нас от осколков. Под скалу теперь залетали только жужжащие куски металла, рикошетирующие от камней.

Наконец фашисты это занятие прекратили и снова стали орать: «Русс, сдавайся!»

Узкая полоса земли под нависшей скалой тянулась ломаной линией. Если одни не видели орущего немца, то другим он был виден, поэтому мы кричали соседям: «Братки, вам удобнее сбить эту падаль! Уйми его, надоел».

И товарищи с удовольствием выполняли просьбу — гремел меткий выстрел и немец мешком падал на камни.

Убедившись, что добровольно мы не сдадимся, фашисты пошли на то, чтобы напустить на нас самолеты. Со стороны моря налетели «долгоносики» — так мы прозвали «мессершмитты». Они шли над самой водой, поливая подножье скалы из пулеметов. Струи пуль дробили известняк, но нас они не запугали. Мы сами стреляли по самолетам из нашего оружия.

Тогда немцы решили подослать к нам подлых трусов. Я в это время читал книгу Войнич «Овод», захваченную мною из госпиталя. Светлый образ революционера, стойко переносившего все муки, помогал мне поддерживать товарищей. И вдруг я услышал гнусный голос появившегося «парламентера». «Сдавайтесь, братки, выхода другого нет, — говорил этот гад. — Поверьте, немцы пленных не убивают. Кормят хорошо. Обещали всех, кто выйдет с поднятыми руками, сразу же отпустить по домам. Воды вам дадут...»

Воды нам всем мучительно хотелось — это наверху понимали. Я прервал чтение и начал расстегивать кобуру, но в этот момент раздался выстрел — кто-то раньше

меня догадался пристрелить паршивого пса.

Немцев это сильно обозлило. Они начали сбрасывать пылающие бочки с горючим. Бочки разбивались о скалы, и горящая смесь расплескивалась во все стороны. Многие раненые не имели сил подняться с земли и отбежать от места, охваченного огнем. Эти несчастные в страшных корчах сгорали у нас на глазах.

Видя мучительную смерть товарищей, мы сжимали кулаки. У некоторых не выдерживали нервы. И армейцы и даже матросы один за другим выскакивали на открытое место, рвали на груди одежду и кричали: «Стреляйте, сволочи! Все равно не дождетесь, чтобы мы подняли руки. Наших мук черноморцы не забудут! Под землей вас найдут, гадов, и перетопят, как крыс!..»

Раздавалась автоматная очередь — и человек падал, истекая кровью.

Так прошло два дня.

Под скалой, раскаленной июльским солнцем, уже нечем было дышать. От жары трупы разложились и наполняли воздух кошмарным запахом. Всем хотелось пить. Жажда измучила так, что готовы были пить морскую воду. И пили, ночью подползая к воде. А потом становилось еще хуже, к жажде прибавилась изжога.

Испробовав все средства воздействия, фашисты в конце концов пустили в ход взрывчатку. Они долбили в скале глубокие колодцы и по частям подрывали нашу скалу.

Пятого июля рухнул выступ рядом с нашей группой. Огромные глыбы придавили немало товарищей. Но эти же глыбы для оставшихся в живых стали лестницей спасения. Мы приготовили оружие, решив ночью попытаться прорваться наверх.

Поздно вечером в море замигали два огонька. Немцы сразу же открыли бешеный огонь из орудий. С моря тоже раздались залпы орудий. Одни стали сталкивать в воду кузова автомобилей, используя их как плот, другие бросились к кораблю вплавь, а мы, человек триста, воспользовавшись суматохой, вскарабкались по камням, ползком доползали до Казачьей бухты и там, разбившись на группы, решили пробиваться в горы к партизанам.

В моей группе оказалось человек двадцать. Четверых мы потеряли в темноте. Мы пересекли бухту, где по горло в воде, где вплавь, и двинулись в сторону Балаклавы.

К рассвету мы оказались на холмах северо-восточнее Балаклавы. В долине румыны пасли коней, а с востока — от Сапун-горы — прямо на нас двигалась колонна немцев. Куда деваться? Бросились в громадную воронку и приготовились к последней схватке. На счастье, немцы нас не заметили и прошли стороной. В воронке мы пролежали до темноты и пошли дальше. Нам удалось благополучно пересечь долину и войти в лес. В темноте мы постарались углубиться подальше в лес, но в крымском лесу ночью не походишь. Густые заросли мешали идти, но они же и укрыли нас от самолетов, которые кружили над лесом, словно стервятники. Утром слизывали с листьев росу, пытаясь утолить застаревшую жажду.

Шатаясь по горам в поисках партизанского отряда, мы встретили еще несколько групп севастопольцев, которые смогли вырваться из окружения только девятого июля. Они рассказали нам, что после нашего побега разъяренные фашисты стали посылать к скале торпедные катера. И немецкие моряки, подойдя к берегу на близкое расстояние, расстреливали наших товарищей прямой наводкой. А там, где скала очень близко прижималась к морю, они выпускали торпеды. И это был ад кромешный... Не знаю, удалось ли в этом аду кому-нибудь уцелеть. Только навряд ли. Сколько ужасных смертей перевидали мы в те жаркие июльские дни, горько об этом вспоминать. Как мне, повезло немногим. А в плен попало много нашего брата. Ведь

всему приходит конец — и патронам, и гранатам. Все дрались до последнего патрона. Совсем обессилели от ран, жажды, голода, бессонницы. Июльское солнце, спрятаться негде, скалы за день раскаляются, один валится от солнечного удара, другой...

ВКУС МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ

Память об этом матросе я пронес через всю свою послевоенную жизнь. Я не знал ни его имени, ни где он служил, я только и запомнил его изуродованные губы да то, что он был высокого роста...

Дот, где я его увидел, все еще стоит на излучине шоссе перед мостом через реку Бельбек. Правда, теперь он выглядит совсем иначе. Теперь он похож на декорацию. Не знаю, как это вышло, что боевой дот стал похож на декорацию. А его надо было оставить таким, каким он был, — словно вросший в землю, почерневший от пороховой копоти, посеченный осколками, с вмятинами от прямых попаданий снарядов дот.

В 1944 году этот дот занимал сменный гарнизон контрольно-пропускного пункта — КПП. Здесь проверяли документы, пропуска и разрешения на въезд в Севастополь. Мы же ехали из Севастополя в кузове военного студебеккера и думали, что машину никто проверять не станет. И погорели. Старшина-грузин, став на ступеньку заднего борта, ухмыльнулся, увидев нас, лежащих под откидными сиденьями, поцокал языком, покачал головой — а мы все еще лежали — и сказал:

— Выходи, генацвале, приехали.

Когда мы выползали, он смотрел на нас с нежностью людоеда.

— Ну чего лыбишься? — сказал Шурка и тут же получил по шее.

— Это я для профилактики, — сказал старшина. — И чтобы понятие имел, как говорить со взрослыми. Записки своим мамашам хоть оставили?.. Или они должны с ума сходить, гадая, куда их сыночки запропастились? Так как, генацвале?

Этот старшина видел нас насквозь. Записок договорились не оставлять, а прислать письма из первого же города. Наш путь лежал на Украину — к Шуркиной бабке. Бабка приглашала внука приехать, ей хотелось его видеть, но Шурка решил, что если ехать, то ехать надо с друзьями.

— Поедем, — сказал он, собирая нас на тайное заседание. — Это же Украина, всесоюзная житница! Отожремся.

Предложение было принято. Собирались мы не долго — всего один день. За войну мы привыкли к дорогам, к теплушкам, к вокзалам. Никакие расстояния нас не пугали. На железных дорогах мы чувствовали себя как рыба в воде.

Старшина препроводил нас внутрь дота. Перед телефонным полевым аппаратом в коричневом футляре спиной к нам сидел матрос.

— Привел очередных клиентов, — обращаясь к нему, сказал старшина. — Спроси, где живут, и позвони в комендатуру, может, пошлют кого-нибудь предупредить, что заботливые деточки живы и здоровы. Представляешь, как женщины испсихуются?

— Фамилии и адреса? — сказал матрос, поворачиваясь к нам. И тут я увидел его изуродованные губы.

— Ну? — повторил матрос и взглянул на меня. — Адрес?

Я хотел соврать, но язык против моей воли выложил все как есть.

Шурка задышал мне в ухо:

— Кому это надо?

Я покосился на ребят. Колька стоял по стойке смирно. Через плечо у него висела противогазная сумка, на которой его бабкой цветными нитками была вышита его фамилия. В сумке лежали тетради и учебники. Он не решился после школы зайти

домой, мы-то все занесли. За ним стоял насупившийся Вовка Жереб. Шурка стоял за моей спиной, и я его не видел.

Матрос с уродливыми губами уже крутил рукоятку аппарата. Я слышал, как ему ответили в Севастополе, и он назвал мой адрес и фамилию, и сказал, что нас четверо. Похоже, что в комендатуре пообещали что-нибудь сделать.

— Рубать будете? — спросил матрос и, не дожидаясь ответа, прошел в угол дота.

На столе появилась банка американской тушенки. Он всадил в банку финку. По ноздрям ударил самый вкусный на свете запах. У нас потекли слюни. Я сглатывал их, пока матрос вскрывал банку и своей классной финкой разрезал буханку хлеба.

— Ложки на столе, — сказал матрос и вышел из дота. Он сильно пригнулся, когда выходил. Над его плечом на секунду заискрились звезды. Дверь закрылась.

Коптилка, сделанная из снарядной гильзы, освещала стол.

— Живем, пацаны! — крикнул Шурка и первым бросился к столу. — Налетай, подешевело...

Шурка никогда не унывал. Когда мы покончили с тушенкой, он первым бросился на покрытое парусом сено.

Было мягко. От сена шел приятный запах летней степи. Я не заметил, как уснул.

Проснулся я неизвестно отчего. За столом сидели трое и пили чай. Сахар хрустел у кого-то на зубах.

— Слушай, — услышал я голос старшины-грузина, — ты только не обижайся, отчего у тебя такие губы? В драке тебя изуродовали, да?

— Можно и так сказать, — ответил матрос.

И вот тогда я услышал его рассказ.

Я думал, что и ребята его слышат, но они спали, они ничего не слышали. Потом послышался звук приближающейся автомашины, все трое взяли автоматы и вышли на шоссе.

Я растолкал Шурку. Мне хотелось кому-то немедленно рассказать о том, что я услышал, но Шурка не дал мне вставить и слова. Он сразу оценил обстановку и, растолкав Котьку и Жереба, прошептал:

— Тикаем, пацаны.

Огромная круглая луна, как прожектор, освещала всю долину: и голую холмистую гряду позади нас, и шоссе, где стоял патруль, и кроны тополей у моста. Трава от росы была мокрой, от реки несло сыростью — Котька громко отбивал зубарики. Мы дожидались, когда подойдет машина и отвлечет внимание матросов на КПП.

— Айда, — прошипел Шурка, когда это произошло.

Мы ползком достигли реки, по воде шмыгнули под мост, выползли на том берегу и за кустами, пригибаясь, побежали вдоль реки. Здесь была тропинка.

— Ребята, — сказал я, когда мы отошли на приличное расстояние от моста. — Вы видели, какие у него губы?

— Не губы, а кошмар! — сказал Котька.

Тропинка уперлась в речку.

Шурка решительно шагнул к воде. Мне уже было все равно, где идти — по воде или по суше, — в ботинках было полно воды. Но Жереб зачем-то снял брюки.

Мы пересекли речку и пошли садом. Рассветало. Силуэты гор справа от нас стали отчетливее. Небо впереди порозовело, в балках паутиной повис туман. От быстрой ходьбы стало жарко. Наконец за грядой тополей мы увидели станцию Сюрень.

На путях стоял товарный состав, в голове которого слышалось густое шипение паровоза. Состав не охранялся. И двери были незапломбированы. Мы отодвинули дверь и прошмыгнули внутрь вагона. Это была обыкновенная теплушка с нарами. Пока что нам везло. Мы задвинули дверь и легли на нарах.

Ждать долго не пришлось, заклацали буфера, поезд дернулся, колеса застучали на стыках.

— Поехали, слава аллаху, — засмеялся Шурка.

Он стал что-то весело говорить ребятам, у меня же из головы не выходил услышанный рассказ.

Немцы взяли матроса в плен в районе 35-й батареи. Раненая правая рука висела плетью, рана уже начала загнивать, у него, наверное, был жар, потому что он бредил.

Немецкие автоматчики стали их сгонять в кучу. Потом рассортировали: матросов отдельно, пехоту отдельно. Пехотинцев повели в сторону Балаклавы, а их, сгруппировав небольшую колонну, повели назад — в Севастополь.

Севастополь все еще горел. Но уже не так дымно. Тлели, иногда вспыхивая и разгораясь, балки домов, телеграфные столбы, деревья, обломки крыш.

Больше гореть уже было нечему — город лежал в руинах.

Матросов провели мимо горбольницы, по узкому Херсонесскому мосту над Одесской канавой. Потом их вели мимо чудом уцелевшего здания почты. Обессиленные, мучимые жаждой, они еле-еле передвигали ноги. Тех, кто уже не мог идти, поддерживали соседи.

Автоматчики, держа автоматы наготове, шагали по кромке тротуаров. Никто не знал, зачем и куда их ведут.

Все стало понятно, когда у Приморского бульвара они увидели оживленную группу немцев. Многие из них были в коротких шортах. В руках они держали фото- и кинокамеры. Некоторые камеры были установлены на треногах. Здесь готовилась грандиозная киносъемка: пленные матросы на фоне поверженного Севастополя — вот что им было нужно! Они хотели показать это всей Германии. Чтобы немцы увидели Графскую пристань и памятник Ленина. И русских матросов, пошатывающихся, слабых, жалких.

И тогда кто-то громко крикнул:

— Братки, печатай шаг!.. Запевай «Варяга»!..

И они запели! Распрямились, вскинули гордо головы и четко, как на параде, пошли с песней: «Наверх вы, товарищи, все по местам... Последний парад наступает... Врагу не сдается наш русский моряк... Пощады никто не желает...»

Это надо было видеть! Видеть немцев, вначале растерявшихся, потом взбешенных. Ведь они уже начали снимать — и все у них полетело к черту. Тогда какой-то офицер в черном эсэсовском костюме приказал автоматчикам остановить колонну. Потом он что-то крикнул своим солдатам. Солдаты загалдели и стали разматывать катушку с медной проволокой, которая стояла на тротуаре. Вот этой медной проволокой они и зашили губы матросам. Подходили вдвоем, выволакивали, а третий оттягивал губы и протыкал их толстой медной проволокой и скручивал ее. Эсэсовец смеялся, радовался своей выдумке. Теперь уж, думал он, съемка состоится. И он просчитался. «Верите, мы снова запели. Ну пусть не запели, замычали, чтобы эти гады знали, что в Севастополе мы хозяева! Это наш город! Наш! Наш, а не их, и никогда он не будет им принадлежать! И мы стояли и пели, хотя это наше пение было простым мычанием, но мы мычали матросскую песню, мы все равно пели ее — и тогда они бросились к нам и стали раздирать нам губы, дергая за проволоку. У кого еще были силы драться, тот дрался. И тогда они пустили в ход автоматы и многих положили...»

Я лежал на нарах и под стук колес вспоминал рассказ незнакомого матроса, когда вдруг до меня дошло, какие мы подонки. Бежим, покидаем наш город ради куска сала. Ради того, чтобы сытно жрать, мы уже бросили всех близких, предали их. Предали город... его руины... развороченные пристани... спаленные деревья... Всегда где-то лучше... Всегда можно приехать нахлебником туда, где лучше... Сбежать, словно крыса с тонущего корабля... Тогда зачем умирали люди?!.

Зачем добровольно принимали адские муки?!.

Я вдруг понял, как, наверное, обидно было этому матросу смотреть на нас, убегающих из т а к о г о города. А он еще накормил нас, поделился своей тушенкой...

И Шурка, и Вовка, и Котька не сразу поняли, что я хотел сказать. Сначала они решили, что я просто струсил. Разговор у нас получился крепким. Но в Симферополе мы покинули вагон, чтобы вернуться домой.

Не скрою среди собравшихся в Севастополе ветеранов я искал человека с изуродованными губами. Не обязательно того высокого матроса, кто-то же еще мог остаться в живых...

Первые дни стихийных встреч миновали. Ветераны больше не вглядывались друг в друга, пытаясь в любом человеке узнать своего бывшего сослуживца. Каждый из них уже нашел свой батальон, свой полк, свою бригаду морской пехоты. Те матросы, что пели, ощущая на губах вкус медной проволоки, в одной колонне оказались случайно. Наверное, кто-то из них воевал в 7-й бригаде, кто-то в 8-й, кто-то в 79-й. Возможно, среди них были бойцы и 18-го отдельного батальона морской пехоты, в котором сражалась героическая пятерка моряков, бросившихся 8 ноября 1941 года под танки у села Дуванкой.

В той трофейной кинохронике, которую мне удалось посмотреть, кадров с матросами не было. Был парад немецких войск на площади Третьего Интернационала (ныне Нахимова), который принимал фельдмаршал Манштейн, была толпа измученных военнопленных, которую вели конвоиры по Симферопольскому шоссе, но матросов на фоне разрушенного Севастополя не было.

В министерстве пропаганды Геббельса была специальная служба, которая пристально следила за иностранными публикациями и радиопередачами. Несколько радиостанций работало и на Германию, сообщая сводки с фронта и комментируя их соответствующим образом. Германские газеты и радиостанции взятие Севастополя преподнесли как блестящий успех победоносной армии фюрера. Газеты пестрели заголовками: «Самая неприступная крепость мира в наших руках!» Эрих фон Манштейн получил чин генерал-фельдмаршала. Геббельс предвещал скорый и окончательных крах восточного колосса. Однако лица спецсотрудников и самого шефа министерства пропаганды невольно вытягивались, когда они вникали в суть английских и американских газет.

4 июля 1942 года британское министерство информации распространило сообщение, что в Лондоне выражают преклонение перед борьбой защитников Севастополя, которые **«длительное время отвлекали на себя значительное число германских дивизий и значительную часть германских военно-воздушных сил, нанося при этом противнику исключительно тяжелые потери».** В сообщении говорилось, что **английский народ испытывает чувство б л а г о д а р н о с т и к защитникам Севастополя.**

Газета «Таймс» обороне Севастополя посвятила передовую, в которой была забыта традиционная британская сдержанность: **«Мы отдаем должное блестящему вкладу в общее дело, сделанному Севастополем. Севастополь стал синонимом безграничного мужества, его оборона безжалостно смешала германские планы. В течение длительного времени Севастополь возвышался, как меч, острие которого было направлено против захватчиков».**

Газета «Ивнинг стандарт» указала, что **«в ходе этой войны многие города прославились своей героической обороной, но все они, стяжав себе славу, сегодня отдают должное Севастополю, осаждавшемуся в течение продолжительного времени. Защитники Севастополя от-**

стаивали каждый кусочек дымящихся развалин. Таков Севастополь — и ничто не затмит его славы, завоеванной в борьбе человека за свое достоинство. Долгие месяцы Севастополь стоял непреклонно и своим мужеством озарял все человечество».

То, что защитники Севастополя вызвали невольный восторг всего мира, — это еще могли понять в Берлине, непонятно было другое — оборона Севастополя вызвала у противостоящей стороны волну оптимизма. Да еще какого оптимизма! Американские газеты и радиокомментаторы в один голос заявляли, что славная оборона Севастополя служит воодушевляющим примером для всех свободолюбивых народов мира.

Бостонская газета «Геральд» уверяла, что **«Севастопольская оборона является доказательством того, что объединенные страны могут выиграть войну и выиграют ее».**

А известный радиокомментатор Хиттер заявил, что **оборона Севастополя наглядно показала, почему Гитлер не может выиграть войну.**

Этот Хиттер уверял, что **немецкая армия может еще добиться кое-каких местных успехов, но вынуждена будет заплатить за это неимоверной ценой. Оборона Севастополя, заявил американский комментатор, является героической страницей мировой истории, она уже внесла значительный вклад в общее дело окончательного разгрома гитлеровской Германии.**

На Вильгельмштрассе этого проглотить не могли. Был задуман фильм, послана киногруппа.

Когда я смотрел ленту, было видно, что немецкие солдаты позируют, играют этаких бодрячков, вся фальшь бросалась в глаза...

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, ДЕНЬ ПОСЛЕДНИЙ

Итак, они стояли на песчаной полоске пляжа, а наверху немцы убивали уже убитого Михаила Мороза. Пока не стало светать, им следовало уйти подальше от батареи. В Николаевке были немцы. Оставалось только одно — идти на север вдоль Каламитского залива. И они пошли, изготовив на случай внезапного боя автоматы.

На рассвете стал подниматься ветер. Море зашумело злее, предвещая шторм. Матросы подняли воротники бушлатов и надвинули на лоб бескозырки. Батарея осталась далеко позади. Всю ночь немцы запускали ракеты, освещая позицию, боялись чего-то.

За очередным мысом увидели на берегу мазанку. По всей видимости, это был дом рыболовецкой бригады: две лодки, вытащенные на песок, обрывки сетей на кольях, навес со столом и скамейками, вкопанными в землю.

— Поставить гранаты на боевой взвод, — распорядился Заика.

Они подошли к домику, и Яковлев подергал дверь — дверь была закрыта. Лейтенант постучался в окно. Откинулась занавеска, за стеклом показалось лицо старика.

— Заходьте, — сказал старик, отворяя дверь.

Вошли настороженно — а вдруг засада.

— ...Вот тут-то чуть и не случилось несчастье. Я вошел, продолжая сжимать в руке гранату с выдернутым кольцом. Был готов, если немцы внезапно навалятся, отпустить предохранительную планку. А в комнате увидел Валентину. И словно меня кто-то нокаутировал, даже звука не издал — рухнул, как подкошенный. Валентина первая ко мне подбежала. Я в обмороке в руке сжимаю лимонку. Если бы

разжал пальцы, мало кто уцелел бы. Не иначе как мы с женой в рубашках родились — такими оказались везучими!.. Я ведь на батарее уже распрощался с ней, думал, погибла. И правда — мина от нее в двух шагах разорвалась, ее взрывной волной с откоса швырнуло, но опять повезло — упала в воду, была без сознания, но волной ее выбросило на берег. И здесь опять же ей повезло: из Николаевки возвращались ребята из группы Мороза, увидели ее, нагнулись — дышит. В этот момент мы с немцами в последний раз схватились, врукопашную уже дрались — что под откосом происходило, никто не видел. И я уцелел, Валентину нашел, граната не взорвалась... И потом нам повезло, когда в горах Восточного Крыма командовал партизанским отрядом. Валентина в это время скрывалась в селе у матери — у нас родился сын. Но ее выдал предатель. Когда гнали по селу, протянула грудного сына первой же девушке, которая стояла возле дороги. А потом, уже на станции, сама сбежала. Блукала по лесу, одна, искала наш отряд. Случайно наткнулась на партизан. Стала у нас доктором. Били немцев, пока не пришла от Керчи Отдельная Приморская армия. И сына нам добрые люди спасли, где только его не прятали — и на горище, и под полом, слабенький был, в чем только душа держалась, боялись не выживет — выжил. Вот как бывает — себя не жалели, воевали, а видишь — уцелели и друг друга не потеряли, всю войну рука об руку прошли, счастливые мы с ней, везучие...

3 ноября 1941 года командир 54-й батареи в рыбацком домике провел последний военный совет, на котором порешили разбиться на группы и прорываться к своим.

Пристально вглядываясь в прошлое, нельзя не обратить внимания, что в подвиге 54-й батареи уже просматривался подвиг Севастополя, начало которому положила все та же 54-я батарея. Подвиг батареи продолжался с 30 октября по 3 ноября, за это время были уничтожены десятки танков, сотни машин, около тысячи солдат, на три дня задержана мотобригада Циглера. Подвиг Севастополя продолжался с 30 октября 1941 по 3 июля 1942 года, за это время было уничтожено свыше 300 тысяч солдат и офицеров противника, сотни танков, самолетов, артиллерийских орудий и минометов, на восемь месяцев была задержала 11-я немецкая полевая армия, которая иначе приняла бы участие в наступательных действиях на Москву или в направлении Дона и Кавказа. Севастополь почти на два месяца оттянул на себя лучший авиакорпус люфтваффе генерала Рихтгофена, с именем которого связано большинство узловых точек войны в Западной Европе и на нашей территории, его всегда фюрер посылал туда, где было особенно горячо: под Ленинград, на Волгу, на Кавказ, на Курскую дугу. Для проведения третьего наступления были сняты с других фронтов значительные силы тяжелой и осадной артиллерии.

И гарнизон батареи, и гарнизон Севастополя сражались в условиях блокады против значительно превосходящих сил противника, имея за спиной море. Та же картина последней эвакуации с помощью морских охотников. Сходные судьбы у тех, кто не смог попасть на последние корабли.

Совпала и такая деталь: эвакуацию батареи ночью 2 ноября на двух катерах осуществлял командир звена Дмитрий Глухов, он же в ночь на 3 июля 1942 года привел для эвакуации защитников Севастополя отряд морских охотников из семи катеров.

Все в той же листовке, о которой уже шла речь в главе «Мины на фарватере», есть краткий рассказ о последнем рейде к Севастополю катеров Глухова:

«Глухов плавал беспрерывно. Его катера первыми начали войну, последними покидали Очаков, Одессу, Ак-Мечеть. Они охра-

няли с моря осажденный Севастополь, конвоировали транспорты с войсками, горючим и боеприпасами, отбивали атаки торпедных катеров и авиации противника, ставили дымзавесы при артиллерийских обстрелах.

В последний день обороны Севастополя Глухов повел из Новороссийска к осажденным семь катеров «МО». Путь был тяжелым. Немецкая авиация с рассвета дотемна бомбила их. Осколками посекло головной катер. Из строя выбыла почти вся верхняя команда. Глухов тоже был ранен в спину и ключицу, но продолжал держаться на ногах, заменив на мостике погибших командира и рулевого.

Ночью он привел все катера к Херсонесскому маяку. Маяк был взорван. Вокруг сверкали вспышки разрывов. Глухов взял курс на Стрелецкую бухту. Его обстреляли с берега немцы. Тогда он повернул в Камышовую, но и там был враг. Пришлось идти на Казачью. Приказ был выполнен с честью *.

На обратном пути при первом же налете «мессершмиттов» он лишился последних двух пулеметчиков: правый был убит, а левый — тяжело ранен. Снарядом разнесло бензоцентраль, так что моторы заглохли. И уже на недвижимый катер посыпались бомбы. Две бомбы разорвались у борта. Осколки изувечили мотористов. Действовать мог только легко раненный механик.

Глухов, тревожась, что некому будет запустить моторы, решил во что бы то ни стало сберечь механика. Он приказал ему взяться за трос, прыгнуть за борт и во время пикирования самолетов нырять. Оставшись одиноким на верхней палубе, он из пулемета отбивал атаки «мессершмиттов».

Немцы обстреляли катер из пушек и улетели. Осколком последнего снаряда Глухов был ранен, но он помог механику вылезти из воды. Боясь, что Глухов изойдет кровью и потеряет сознание, механик обвязал его простыней. Когда в небе показывались самолеты, Глухов стопорил ход и приказывал всем прятаться. Катер благополучно прибыл в Новороссийск...»

Раны оказались серьезными, из Новороссийска дядю Митю отправили в госпиталь. Он был лежачим — потерял много крови, — когда к станице внезапно прорвались немцы. Все случилось так быстро, что никто из медперсонала не смог найти грузовиков для эвакуации. А за станицей, за ее садами лежали незасеянные поля, и поэтому бредущие по дороге раненые в своих застиранных халатах и пижамах, в бинтах и гипсовых повязках, на костылях были хорошо видны немецким летчикам. Мало было таких, кому удалось уйти в тот день, но дяде Мите и на этот раз повезло. Когда он снова попал в госпиталь — уже в Тбилиси, — врачи сказали: «Непонятно, как вы выжили, но раз это уже случилось, вы вернетесь на свои катера». — «Выписывайте, — сказал он вскоре. — А не то сбегу!» — «Этот сбежит, — сказал в кругу коллег главврач. — Лучше отпустим его сами». И отпустили с незалечившейся раной.

Дядя Митя... Он был тихим, скромным, даже незаметным человеком, но, когда пришла пора защищать Родину, он прожил столь яркую жизнь, что ее хватило бы на многих. Он не был выскочкой, не лез вперед, не искал славы, он просто делал свое дело. Делал спокойно, обстоятельно, хладнокровно. Он часто рисковал, но не ради рисовки, а потому что иногда выхода не было. Он дважды нашел способ траления неконтактных глубинных мин и тем самым сорвал замыслы верховного главнокоман-

---

*В Казачью бухту вошли два или три катера, остальные по приказу Глухова пошли забирать людей в районе 35-й батареи, о чем и упоминает в своем рассказе старший лейтенант Зинченко. «МО-029», на котором находился Глухов, принял около 70 раненых и пошел обратно чуть ли не с двойной перегрузкой, сильно осев в воду. Чтобы уменьшить риск, Глухов приказал катерам уходить в обратный рейс по готовности.

дования вермахта по уничтожению Черноморского флота *. Эту опасную службу по очистке фарватера от магнитных и акустических мин звено Глухова несло до последних дней обороны.

Катера, на которых он находился, последними покидали Очаков, Одессу, Ак-Мечеть, Евпаторию, Севастополь не потому, что это было привилегией Глухова, а потому, что в нем была та надежность, которая в самых трудных, самых рискованных и самых опасных ситуациях делает человека незаменимым. В Одессе на его катер сошел командующий Приморской армией генерал И. Е. Петров.

Февральской ночью сорок третьего года уже во главе дивизиона дядя Митя обеспечил высадку второго эшелона десантников майора Цезаря Кунникова на Мысхако, и с этой ночи пошел отсчет дней и ночей легендарной Малой Земли.

В Новороссийске, в сквере у Вечного огня, глядя на его портрет, где он был так не похож на самого себя, я пытался представить его на мостике катера «МО-081» в ту сентябрьскую ночь, когда он решительно повел свой дивизион к «воротам смерти». На борту были все те же кунниковцы, ударная группа капитан-лейтенанта Ботылева.

«Воротами смерти» называли вход в Цемесскую бухту, заранее пристрелянный береговой артиллерией противника. К тому же поперек Цемесской бухты была протянута стальная сеть, подвешенная крепчайшим тросом к бонам. А за этим заграждением по береговой кромке у самого уреза воды, охватив железобетонной подковой Цемесскую бухту, проходила линия дотов, черные амбразуры которых легко просматривались в бинокль.

Редкая по дерзости идея сокрушить немецкую оборону, высадив в Новороссийске морской десант, пришла в голову все тому же Ивану Ефимовичу Петрову, который к этому времени уже стал командующим Северо-Кавказским фронтом. Дело было не столько в самом Новороссийске, сколько в мощной оборонительной линии «Готская голова» *, которая пересекала Таманский полуостров с севера на юг. За этой линией укрылась 17-я армия. Потеряв 6-ю армию под Сталинградом, Гитлер теперь все надежды возлагал на эту 17-ю армию. Его по-прежнему манила бакинская нефть, и мысль, что, овладев Баку, он лишит Красную Армию горючего, казалась ему вполне достижимой. Для подготовки грядущего наступления по плану Гитлера и отводился Таманский плацдарм. Естественно, что с потерей Новороссийска, куда упиралась на юге линия «Готская голова», шансы удержать плацдарм резко уменьшались. Это отлично понимал генерал Петров, перед которым была поставлена задача любой ценой сокрушить вражескую оборонительную линию.

Новороссийская операция началась ночью 10 сентября 1943 года.

Первыми ворвались в Цемесскую бухту торпедные катера. Подорвав трос, который удерживал стальную сеть, они влетели в бухту и торпедами обстреляли береговые доты. Некоторые удалось таким образом вывести из строя. Следом за катерами пошли морские охотники Глухова. Вот тут и произошло ЧП. Когда дядя Митя на головном катере уже подходил к «воротам смерти», он вдруг увидел, что подорванный трос хоть и опустился под воду, все еще находится слишком близко от ее поверхности. Глиссирующие торпедные катера проскочили, но осадка перегруженных мор-

* Опробованная в августе 1941 года установка по размагничиванию кораблей, созданная ленинградскими физиками А. П. Александровым, И. В. Курчатовым, Ю. С. Лазурлиным и А. Р. Регелем, обезопасила прохождение корабля над магнитной миной, но не могла предотвратить катастрофы при прохождении над акустической миной или магнитно-акустической.

* В наших штабах «Готская голова» именовалась «Голубой линией».

ских охотников была намного больше. Он уже понял, что, продолжая идти вперед, катера дивизиона винтами неминуемо запутаются в стальных ячейках сети и превратятся в неподвижные мишени. Повернуть же назад — значило сорвать операцию, расписанную по минутам.

И опять только остается восхищаться, как работала его голова! В считанные секунды найти, несмотря на плотный огонь гитлеровской артиллерии, единственно возможное в сложившейся ситуации решение — это он мог. Подняв на мачте сигнал: «Делай, как я», он полным ходом послал катер на сеть и, когда до нее оставалось всего несколько метров, перевел рукоятку телеграфа на «полный назад». Катер резко замер и оказался на гребне догнавшей его собственной волны, которая и перенесла катер над тросом. Повторив маневр своего командира, морские охотники ворвались в Цемесскую бухту.

Но игра со смертью на этом не завершилась — уже при подходе к молу прямо в форштевень угодил снаряд. Прошив корпус насквозь, этот снаряд застрял в днище. Взрыв мог последовать с секунды на секунду. Не дрогнув, дядя Митя приказал следовать к пирсу. Ботылевцы во главе с своим командиром уже стояли на палубе, готовясь перемахнуть через борт и первыми броситься в бой за Новороссийск.

Высадив десантников, катерники вытряхнули застрявший снаряд из днища, работая машинами враздрай, и пошли за следующей партией десантников.

Новороссийск после упорных уличных боев был освобожден. Дивизион Глухова получил почетное наименование Новороссийский и был награжден орденом Красного Знамени. Командира дивизиона наградили сразу двумя орденами: Красного Знамени — за высадку десанта и Суворова — за проявленную смекалку. Насколько мне известно, в войну всего три моряка были награждены этим орденом и первый был вручен дяде Мите.

Потеряв Новороссийск, немцы не удержались на Тамани— 17-я армия отступила в Крым. Теперь лишь узкий Керченский пролив отделял бойцов Северо-Кавказского фронта от крымской земли. И опять почетное право первым форсировать пролив было доверено дивизиону Глухова. Вот краткое описание тех событий, которое я нашел в статье военной поры, посвященное дяде Мите: «...он уже мечтал о Севастополе, о его лазурных бухтах, об Одессе и голубом Дунае. Всюду ему хотелось быть первым. Крымское побережье Глухов знал так хорошо, что мог в самую темную ночь, без навигационных огней, «ощупью», войти в любой порт.

К броску на крымскую землю Дмитрий Андреевич готовил свой отряд в Анапе и на Соленом озере. Такие же отряды готовились в Тамани и на Азовском море.

В ночь на 1 ноября десант, состоящий из частей Красной Армии и морской пехоты, начал сосредоточиваться в Керченском проливе. Глухов шел на головном «МО-081».

Вблизи берега, в пене прибоя, показались колья и черные мотки скрученной спиралями колючей проволоки.

— Бросай на проволоку бушлаты и шинели! — приказал Глухов.

Матросы с сейнеров и мотоботов, прикрыв проволоку шинелями, бросились в воду и, держа на своих спинах трапы, закричали: «Шагай в Крым!»

Десантники по трапам сбегали на камни и, строча из автоматов, растекались по расщелинам и отлогому берегу...»

Крымский берег в районе Эльтигена, где высадил первых десантников Глухов, вскоре назовут «Огненной Землей».

В ночь на 8 ноября 1943 года дядя Митя совершил свой последний выход в море. На катере «МО-0102» он повел через Керченский пролив караван судов и понтонов с боеприпасами, пополнением, медикаментами, продовольствием и пресной водой для гарнизона «Огненной Земли». Повел

сам, потому что все попытки пробиться к крымскому берегу, предпринятые на протяжении двух предыдущих ночей, были безрезультатны. Ночной бой морского охотника и бронекатера с десятью торпедными катерами и двумя быстроходными баржами противника стал последним в жизни дяди Мити. Шесть часов длился этот бой. Были потоплены вооруженная пушками и пулеметами баржа и торпедный катер, когда осколок вражеского снаряда угодил ему в голову.

Он умер в Тамани.

Несколько дней врачи боролись за его жизнь, он не приходил в сознание. Сознание вернулось к нему в самый последний миг. Всего на несколько минут. Он успел попросить, чтобы его приподняли, и взглянул в окно. Накануне выпал снег. День выдался морозным, солнечным, вода казалась зеленой, как таинственный камень нефрит.

И он улыбнулся...

Поэт Григорий Поженян — в те годы отчаянный моряк — рассказывал мне, как катерники перенесли тело своего командира к морю и положили на подвесную парусиновую койку. И стали в почетном карауле. Соленый бриз раскачивал койку, в которой в последний раз провожал свои катера в море командир 1-го Краснознаменного Новороссийского дивизиона сторожевых катеров Дмитрий Андреевич Глухов.

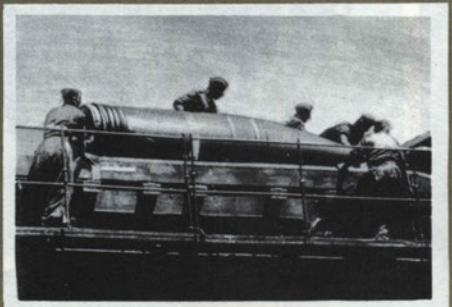
Герой Советского Союза.

Дядя Митя, простившийся с Севастополем на траверсе мыса Херсонес. Севастополь горел...

Летом 1942 года в Буэнос-Айресе вышел сборник стихов, написанных девятнадцатью поэтами семи южноамериканских стран. Сборник назывался «Песни Севастополю». В память врезались строчки одного стихотворения: «Города не сдаются, если не сдаются живые, если не сдаются мертвые...»

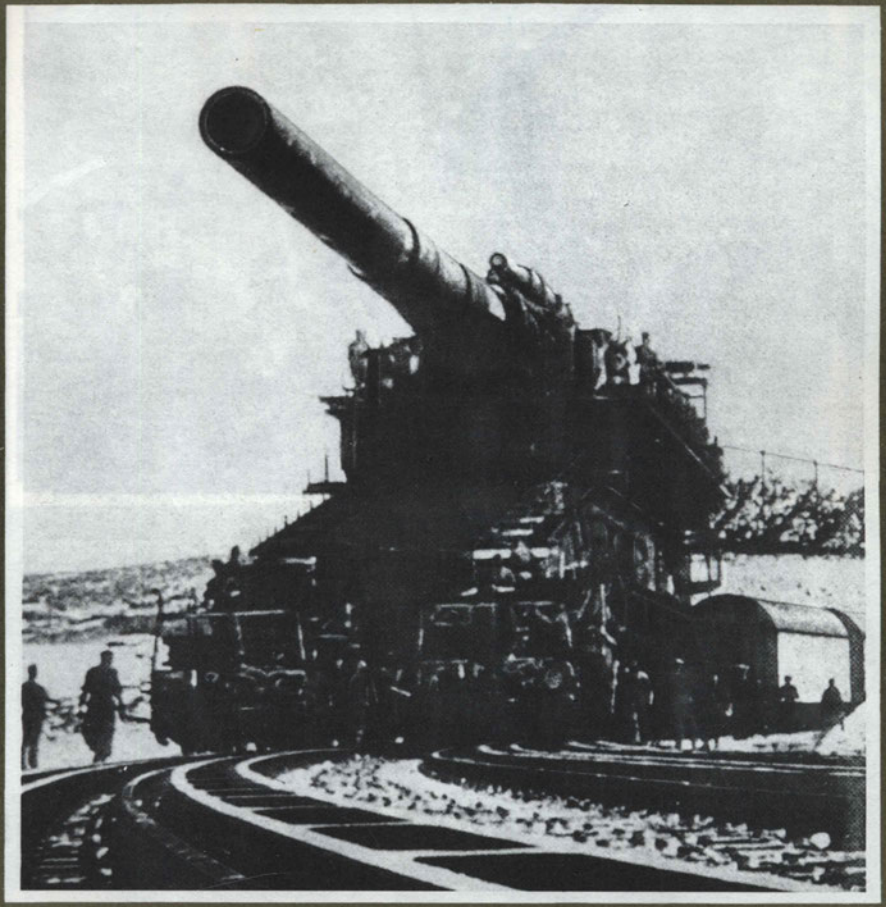
Поэзия далекого континента позволила мне понять, что в сорок первом и в сорок втором году Севастополь в глазах людей планеты уже был не просто героическим городом, Севастополь был я в л е н и е м. День за днем люди с жадностью проглядывали газеты, слушали военные сводки, со страхом ждали, когда дикторы объявят: «Севастополь пал», но проходили недели, потом месяцы, а Севастополь держался. Гарнизон города, каких тысячи на земле, сдерживал натиск целой армии. Одной из семи немецких армий, которые вели наступление от Балтики до Черного моря. Это было непостижимо...

Вражеские позиции проходили так близко от города, что с помощью великолепной цейсовской оптики можно было разглядывать городские руины. Совсем как в пословице: видит око, да зуб неймет...



С линии Мажино под Севастополь была доставлена самая большая пушка за всю историю. Вот она — «Дора», калибр ствола 812,8 миллиметра, вес снаряда более 7 тонн.

Каким же несгибаемым богатырям явились врагу защитники Севастополя, если ставка фюрера пошла на то, чтобы сосредоточить под Севастополем все лучшее, что имела в ту пору Германия: «Дора», два «Карла», батарен сверхтяжелых и осадных орудий...



Здесь, в степи под Николаевкой, где сорок лет тому назад стояла 54-я батарея, ветры пахнут водорослями или полынью. Я смотрю, как горстка ветеранов окружает своего командира. Валентина Герасимовна стоит рядом с Иваном Ивановичем. Я вижу, как они волнуются. Люди, открывшие героическую эпопею Севастополя. Ровно в 16 часов 35 минут Иван Иванович вновь произносит слова команды, с которой все началось: «Пеленг сорок два... Дистанция пятьдесят три кабельтовых... По вражеским танкам... Зал-лп!» Но на этот раз вместо орудий звучат холостые залпы вскинутых карабинов. В память о павших. Эхо далекой войны...

В рядах севастопольских ветеранов я вижу поэта Григория Поженяна, чьи песни распевает вся страна. По его сценарию был снят фильм «Жажда». Его имя можно увидеть в Одессе, на улице Пастера, где на мемориальной доске из мрамора выбиты слова: «Они погибли, дав воду Одессе». Но он не погиб. Он защищал Севастополь, сражался на Кавказе, освобождал Севастополь, столицу Югославии Белград... Он выжил, стал поэтом, и в его стихах я увидел горящий Севастополь. В этих строках Григория Поженяна все было правдой.

...Шел сотый день,
сто первый,
сто второй.
Под нами с ревом оседали горы.
Но только почта покидала город,
И только мертвый смел покинуть строй.
А он пылал,
и с четырех сторон
от бухты к бухте подползало пламя.
А нам казалось, это было с нами,
как будто мы горели,
а не он.

А он горел,
и отступала мгла
от Херсонеса и до равелина,
и тень его пожаров над Берлином
уже тогда пророчеством легла.

БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА

ПУСТЫРЬ НА ВИЛЬГЕЛЬМШТРАССЕ

По вечерам Берлин погружался в туман. Туман был тяжелым и теплым, как влажная перина, ветровое стекло потело, и Манфред вынужден был включить дворники. Мы уже давно покинули новую часть города с белыми домами и широченными улицами, и теперь за стеклом проплывали черные зевы арок, кирпичные или грязно-серые стены, стволы лип. Окольцованные оранжевыми лучами уличные фонари казались одинокими, как ходовые огни уходящего в море судна.

Иногда в тумане я различал руины и тогда просил Манфреда остановиться, и мы подходили к поверженным в сорок пятом году домам, печальным, как все развалины мира.

Наконец мы повернули направо и остановились у какого-то пустыря. Заросший сорной травой и репейником пустырь этот ничем не отличался от прочих пустырей, разве только тем, что с противоположной его стороны белела пограничная стена, отделившая Восточный Берлин от Западного.

— Здесь и находилась имперская канцелярия, — сказал Манфред. — А под ней общий бункер. Бункер Гитлера выходил во двор, он имел отдельный выход...

Я молча смотрел на мертвый пустырь. Сорная трава, колючий репейник и где-то под землей затопленные крысиные норы...

Я смотрел, а в памяти всплывал тот вечер сорок четвертого года, когда мы тащились по степи с огромными медными гильзами, которые мы несли в мешках и везли на покореженной детской коляске, найденной в одной из развалок. Смеркалось. С трудом переставляя ноги, мы шли, не разбирая дороги. Обезображенная оспинами воронок и рубцами окопов, эта степь была страшна. Здесь, на голом степном треугольнике Гераклийского полуострова между мысом Феолент и Херсонесом, прижатая к морю 17-я немецкая армия давала последний в своей истории бой. В сорок первом под Киевом солдаты не предполагали, что путь их армии будет подобен полету бумеранга. Они побывали на Кавказе, любовались заснеженными вершинами Кавказских гор, а теперь на древней земле, некогда давшей приют потомкам Геракла, армия переживала агонию, умирала, подчинившись приказу Гитлера «удерживать севастопольский обвод и Балаклавские высоты до последнего солдата, не отступать ни на шаг».

Этот приказ, который фюрер отдал 19 апреля, возможно, был продиктован адъютанту Отто Гюнше прямо здесь, в имперской канцелярии, но могло быть и так, что это случилось в одной из ставок.

Ставки именовались: «Орлиное гнездо», «Медвежья берлога», «Волчье ущелье», «Волчье логово». «Волчье логово» («Вольфсшанце»), пожалуй, было самой любимой его ставкой, пока там 20 июня 1944 года не взорвалась мина, пронесенная в портфеле полковником фон Штауфенбергом.

Быть может, фюрер сам ощущал себя волком, испытывая к своей собаке — крупной овчарке по кличке Блонди — нечто вроде родственных чувств.

20 апреля Турция преподнесла фюреру своеобразный подарок, прекратив постав-

лять Германии хромовую руду. В Стамбуле и в Анкаре больше не верили в несокрушимую армию Третьего рейха. Фюрер остро отреагировал на этот акт. 24 апреля он заявил, что потеря Севастополя может стать последней каплей, достаточной, чтобы переполнить чашу. Его пугало, что, в случае сдачи Севастополя, Турция вообще может перейти в лагерь противника, а это окажет сильное воздействие на все балканские страны и на позицию остальных нейтральных государств.

Кроме политических у Гитлера были еще соображения военного характера: он хотел, чтобы 17-я армия сделала то, что уже совершили в 1941—1942 годах защитники Севастополя. Как было записано в дневнике верховного германского главнокомандования, с потерей Севастополя Гитлер связывал появление в другом месте около 25 полностью оснащенных советских дивизий. Эти дивизии он планировал удержать как можно дольше на подступах к Севастополю, нанося при этом максимальные потери умелыми контратаками и массированным артиллерийским огнем.

И была еще одна, на мой взгляд, причина, которая продлила агонию 17-й, да и не только этой армии, но еще и 6-й, и еще многих других армий, корпусов, дивизий, гарнизонов, — его ревнивое отношение к достоинствам своих солдат. Он всегда и везде заявлял, кстати и некстати подчеркивал, что его солдаты на голову превосходят всех других. В его обращении к солдатам накануне битвы на Курской дуге были такие слова: «Наша пехота, как всегда, в такой же мере превосходит русскую, как наша артиллерия, наши истребители танков, наши танкисты, наши саперы и, конечно, наша авиация». Но за годы войны он чуть ли не ежедневно слышал или читал в сводках и отчетах о том, что русские солдаты стоят насмерть, и у него, как я стал думать, развилось странное, болезненное, даже противоестественное желание убедиться в том, что его солдаты в этом качестве не уступают русским. Пока на Восточном фронте ситуация складывалась для него более или менее удачно — армии или вели позиционную войну или наступали, — он не мог требовать от своих солдат стоять насмерть, но в октябре 1942 года, когда возник Сталинград, он сказал, обращаясь по радио к народу: «Немецкий солдат остается там, куда ступит его нога!» Не овладей им эта болезненная страсть, превратившаяся со временем в манию, он, конечно бы, посчитал разумным отвести группировку Паулюса от Волги, как этого требовали от него генералы, однако этого не случилось, и армия Паулюса, хотя и оказала упорное сопротивление, все-таки не стала стоять насмерть, а капитулировала. По личному распоряжению Гитлера капитуляция целой армии была скрыта от народа, было объявлено, что доблестные немецкие солдаты во главе с фельдмаршалом Паулюсом пали на поле боя смертью храбрых, по всей Германии был объявлен траур. «Готская линия» на Тамани давала возможность взять реванш, он не пожалел никаких средств, чтобы превратить Таманский плацдарм в непотопляемую крепость. Он никогда не забывал, какой моральный ущерб нанесла его престижу оборона Севастополя и Ленинграда, и жаждал показать всему миру, что его солдаты могут обороняться не хуже. И снова состязания не получилось: 17-я армия, не выдержав натиска, вынуждена была перебазироваться в Крым. 9 января 1945 года на совещании в ставке вермахта, где кроме Геринга, Гудериана и Йодля было еще немало высших офицеров, фюрер поразил всех присутствующих, заявив неожиданно для них: «Когда у нас начинают жаловаться, я могу только сказать: берите пример с русских в том положении, какое у них было в Ленинграде».

Эта его сорвавшаяся с языка фраза свидетельствовала о том, что Гитлер жаждал от своих солдат выдающегося подвига, который можно было бы сравнивать с подви-

гом советских людей, но в его арсенале ничего подобного не было, и он вынужден был в качестве примера приводить подвиг Ленинграда.

Итак, в сорок четвертом немцы, уже не скрывая того, старались следовать примеру наших воинов. 24 апреля генерал Енеке издал приказ по 17-й армии: «Фюрер приказал оборонять крепость Севастополь, тем самым поставив нам большую и серьезную задачу. Ей принадлежит самое решающее значение... Все, что противник бросил на Крым, может участвовать в наступлении Советов против Запада и против сердца Румынии. Чем больше усилия врага взять Севастополь, тем увереннее Германия, которую мы заслоняем здесь щитом... Нам ясно: здесь нет пути назад. Перед нами — победа, позади нас — смерть». Сменивший Енеке на посту командующего 17-й армией генерал Альмендингер в обращении к солдатам от 3 мая был еще более откровенен: «Я получил приказ защищать каждую пядь Севастопольского плацдарма. Его значение вы понимаете. Ни одно имя в России не произносится с большим благоговением, чем Севастополь... Я требую, чтобы все оборонялись в полном смысле этого слова, чтобы никто не отходил, удерживал бы каждую траншею, каждую воронку, каждый окоп...»

Приказы приказами, но подготовились фашисты к отражению натиска наших войск со свойственной им обстоятельностью. Основу обороны составляли горные кряжи и скалистые высоты, охватывающие полукольцом подступы к Севастополю с суши. Здесь им мудрить не пришлось — они просто повторили тот рубеж обороны, который уже был апробирован защитниками Севастополя в ноябре сорок первого года: Мекензиевы горы, Инкерманские высоты, Федюхины высоты, Балаклавские горы. Ключевыми позициями обороны были Сахарная Головка и Сапун-гора — две господствующие высоты, словно самой природой созданные, чтобы защищать Севастополь с востока и юго-востока. Обращенные к противнику крутые скаты исключали применение танков, а с вершины легко просматривалось любое перемещение атакующих войск на глубину до десяти — двенадцати километров. И нужно было видеть, во что превратили этот естественный защитный рубеж немецкие военные инженеры, строители, саперы! Трехъярусный оборонительный пояс начинался у подножия и заканчивался у самого гребня, система траншей, соединенных многочисленными ходами сообщения, была до предела насыщена огневыми средствами — на каждый взвод приходилось в среднем по шестнадцать пулеметов! На каждый километр фронта — шесть—восемь дотов, сооруженных не кое-как, а из железобетонных и металлических конструкций или вырубленных прямо в скале. В них надежно были запрятаны тяжелые и легкие орудия, пулеметы; чтобы их сокрушить, требовалось прямое попадание тяжелого снаряда или бомбы.

На всем протяжении передний край немецкой обороны и подступы к нему были заминированы и опоясаны двумя-тремя рядами колючей проволоки.

Сравнивать эти первоклассные укрепления с теми, что противостояли армии Манштейна в ноябре сорок первого года, было по меньшей степени наивно. Они были несравнимы, как несравнимы броненосные и парусные линейные корабли. Двадцать тысяч защитников — это все, что Севастополь мог выставить против хлынувших дивизий Манштейна. Но и потом, когда положение стало намного лучше, в распоряжении севастопольских артиллеристов было не более шестисот орудийных и минометных стволов. 17-я армия только одних орудий имела около полутора тысяч, с минометами набиралось более двух тысяч стволов. Если еще учесть, что в единоборство с нашими частями собирались вступить не новички, а семьдесят две тысячи бывалых солдат и офицеров, за плечами которых были

Новороссийск, Тамань с ее «Готской линией», Эльтиген и Перекоп, задача, которую поставил Гитлер перед командованием 17-й армии, не казалась столь уж невыполнимой. Выражаясь спортивным языком, это была лучшая команда, которую мог выставить фюрер, и неудивительно, что он возлагал на нее большие надежды.

В книге английского журналиста Александра Верта «Россия в войне» я как-то наткнулся на такую фразу: «Одной из загадок войны останется вопрос, почему в 1941—1942 годах, несмотря на подавляющее превосходство немцев в танках и авиации и существенное превосходство в людях, Севастополю удалось продержаться 250 дней и почему в 1944 году русские взяли его за четыре дня?»

Это была загадка?..

Или никакой загадки не было?..

Нужно отдать должное — немецкие солдаты все эти четыре дня дрались с отчаянной храбростью, и наши воины, прошедшие сквозь горнила Одессы, Севастополя, Сталинграда, Малой Земли, Новороссийска, штурмовавшие Берлин, в один голос заявляют, что равного по накалу боя, чем штурм Сапун-горы, за всю войну не было. И это действительно так. Если под Прохоровкой было самое грандиозное танковое побоище, если в Нормандии была самая грандиозная высадка морского десанта, то на склонах Сапун-горы был самый грандиозный рукопашный бой. Сыграть в кино это невозможно. Живопись статична. Слова бессильны передать стихию этой схватки, когда десятки тысяч людей встают во весь рост и с кличем «Даешь Севастополь!» бросаются на штурм бастиона, равных которому еще не было. Когда рассудку вопреки люди преодолевают и минные поля, и заросли колючей проволоки — и все это под неистовым огнем, которым гора встречает рокочущую людскую волну, словно цунами выплеснувшуюся на ее склоны. Такое не укладывается в голове, кажется невозможным, но это свершается на глазах у той и другой стороны. Немецкие солдаты не покидают первой траншеи — они знают, что тут же будут сражены ливнем своего же огня, и поэтому, стиснув зубы, пытаются защитить себя короткими автоматными очередями и штыками. Эти зажатые в руках короткие немецкие штыки, рассчитанные на рукопашную, взлетают над бруствером, как клювики дятла, — и с силой обрушиваются вниз.

Стоны, крики, возня в траншее не отвлекают тех, кто идет следом, волна атакующих, перехлестнув траншею, стремится подняться выше. Никто не залегает и не ждет, когда снова будет поднят в атаку. Они уже поднялись, и теперь только пуля способна уложить их на землю. Из общей массы своими полосатыми тельняшками выделяются морские пехотинцы. Несмотря на строгий приказ командования, они по традиции сбросили каски и воюют в бескозырках, на ленточках которых названия кораблей. Своей неимоверной отвагой, яростью и презрением к смерти они задают тон. Они не просто воюют, они отвоевывают свой город, прощаясь с которым в сорок втором они поклялись вернуться, и вот оно — возвращение!

С немецкой стороны стреляет все, что может стрелять. Несмотря на невиданный по плотности массированный огонь — двести пятьдесят орудийных и минометных стволов на километр прорыва! — большинство дотов оказались неуязвимыми, и теперь они без устали косят людей, пытаясь повернуть их вспять. Кто-то должен дрогнуть, кто-то первый... попятиться... побежать назад... или хотя бы залечь... Все тщетно — в амбразуры летят связки гранат, их расстреливают из противотанковых пушек, которые артиллеристы вкатили — надо же такое! — на руках, их накрывают — что уже выше понимания немецкого солдата — люди собственными телами...

Вражеские солдаты помнят, что им говорили командиры: здесь, на севастопольских высотах, они защищают Германию, и

они готовы умереть за фатерлянд, но поставленную фюрером перед ними задачу они уже решить не могут, они просто бессильны ее решить. И, делая все, что от них зависит, они видят, они не могут этого не видеть, как человек с перебитыми ногами продолжает ползти наверх, волоча за собой пулемет. Они видят истекающих кровью людей, которые не только не покидают поля боя, но рвутся наверх с еще большей яростью... Как остановить эту неукротимую, все сметающую на своем пути волну краснозвездных людей?! Все ближе перемещаются их красные флаги к третьей, последней, траншее, все меньше остается на их пути огневых точек...

Первая группа атакующих, прорвав все заслоны, водружает свой флаг на вершине ровно в 18 часов 30 минут. Но проходит еще не менее часа, прежде чем удается полностью овладеть всем гребнем Сапун-горы. Девять часов не прекращался этот бой, весь восточный склон горы был усеян телами убитых и раненых. Они лежали вперемешку, иногда все еще сцепившись друг с другом, солдаты обеих сторон, где были немцы, затеявшие эту войну, румыны, позволившие себя в нее втянуть, и русские, украинцы, белорусы, грузины, азербайджанцы, армяне, киргизы, казахи, узбеки, молдаване, осетины... — люди, вынужденные взяться за оружие, чтобы защитить свой дом, и потому ставшие солдатами.

Сколько их было, убитых в этот день, 7 мая?.. Двадцать... тридцать... сорок тысяч?.. Где-то эти цифры значились. Я не искал их, считал, что каждая унесенная войной жизнь кем-то горько оплакивается. У каждого кто-то был — или мать, или жена, или дети, или невеста, отец ли, брат ли, друг... Нет, не в детстве — тогда я еще не понимал это, как сейчас, — узнал я, прочувствовал ту истину, что сердце любого из нас не принадлежит нам в полной мере, а отдано близким и любимым людям. Я понял, что когда они уходят от нас, частично умираем и мы. Я узнал, что бывают в жизни такие случаи, когда ты готов заменить на смертном одре близкого тебе человека, но, увы, природа распоряжается иначе, оставляя тебе лишь право на горе и тоску.

Гитлер, принесший 17-ю армию на алтарь собственного тщеславия, — что знал он о русском характере?! Мог ли он постичь простое величие того смертельно раненного при штурме Сапун-горы матроса, который, окликнув проходящих мимо солдат, попросил как-нибудь поднять его на вершину горы. «Хочу увидеть Севастополь, убедиться, что я все-таки дошел до него», — сказал он, и солдаты подняли его наверх на плащ-палатке. «Стоит! Все на том же месте», — удовлетворенно сказал он, глядя на задымленные руины, над которыми, словно край матросской тельняшки, синела полоска моря, и только тогда умер.

Этот матрос имел право на бессмертие, а не тот немецкий солдат, который сначала убил его, а потом погиб сам, думая, что помогает Германии. А фюрер хотел сделать бессмертным именно этого солдата, который на самом деле был всего лишь марионеткой в его руках. Забравшись в одну из своих нор, Гитлер увлеченно играл солдатиками, расставляя их по своему усмотрению и заставляя делать все, что он захочет, забыв, что это живые люди. Так он обрек на смерть остатки уже выбитой 9 мая из Севастополя 17-й армии, и еще двое суток эта армия агонизировала на Гераклийском полуострове, подвергнув себя ударам 51-й и Приморской армий. Было ли это задумано специально, или так уж вышло, что разгром крымской группировки завершали как раз те армии, которые в сорок первом пытались заслонить Крым от вражеского нашествия.

Конечно, это было жестоко — подвергать последнему испытанию уже обреченных солдат. Не знаю, чего уже ожидал этот усатый маньяк, не разрешая капитулировать, но ничего сверхъестественного не

случилось — 12 мая утром, не выдержав ураганного огня артиллерии, солдаты стали сдаваться целыми батальонами. На мысе Херсонес, окруженная танками, сложила оружие и выбросила белый флаг группа офицеров, среди которых находился генерал, похвастывшийся накануне штурма: «Русские удерживали Севастополь восемь месяцев, мы будем удерживать его восемь лет!» До последнего часа генералы питали надежду, что за ними пришлют самолет, затягивали с приказом о капитуляции, и поэтому тысячи новых трупов остались лежать в степи и на скалах. Было много застрелившихся офицеров, в окостеневших руках они сжимали «вальтеры» и «парабеллумы», а рядом валялись отпечатанные карманного формата фотографии Адольфа Гитлера. Было похоже, что накануне боя эти фотографии выдавались каждому солдату и офицеру — так много было теперь этих выброшенных фотографий. Почему их выбрасывали те, кто решился сдаться в плен, было понятно, но что заставляло избавляться от них самоубийц?..

Нужно сказать, что эта картина поразила своей безысходностью всех — и разгоряченных недавним боем бойцов, и подоспевших к финалу военных корреспондентов. Фотографии поверженной гитлеровской орды были опубликованы в газетах и журналах, перепечатаны на Западе. В Берлине ими тоже «любовались» высшие чины секретных служб и министерства пропаганды, расположенного в видимой близости от имперской канцелярии.

Здание резиденции Геббельса сохранилось, мы видели его в тумане, не очень большое и вовсе не внушительное здание, где, однако, был главный штаб по обработке умов и где работали специалисты, научившиеся черное выдавать за белое.

На это здание я взглянул мельком, меня гораздо больше интересовал задрапированный пепельной дымкой пустырь. И в памяти вставала та ночь, когда мы — наш проводитель Гешка, Котька, Шурка, Вовка, горбатый Вася и я с братом — возвращались с мыса Феолент...

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТУ НОЧЬ

Мы возвращались по месту последнего боя 17-й армии, смеркалось, а вокруг лежала изрытая окопами и воронками минированная степь. Осколки с рваными краями лежали на земле так густо, что невозможно было сделать и шага, не наступив на них, а десятки тысяч касок, брошенных солдатами перед тем, как сдаться в плен, возвышались над бурой травой и были похожи на ржавые болотные кочки. И вот среди этого металлического барахла, среди неразорвавшихся гранат и россыпей потускневших винтовочных гильз таились едва заметные для глаза, своей окраской сливавшиеся с травой мины-попрыгунчики. Паршивые это были мины. Похожие на закрытую раковину — устрицу или гребешок, — они лежали себе в траве, но стоило к ним прикоснуться штаниной, как они оживали и, подпрыгнув на полметра, взрывались, выплеснув во все стороны дождь стальных шайб. Уж если они взлетали, уберечься от них было невозможно.

Конечно, ни в школе, ни дома не знали, откуда мы приносим огромные медные гильзы, знали бы — запретили! Но металл был нужен для победы, в особенности медь и латунь. Над входом в школу висел лист фанеры, на котором неровными буквами, размашисто и коряво было написано:

ФРОНТУ ПОЗАРЕЗ НУЖЕН МЕТАЛЛ!
НУЖНА МЕДЯШКА!
А ЧТО ТЫ СДЕЛАЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ?

В октябре сорок четвертого Севастополь все еще лежал в руинах, среди которых семь чудом уцелевших зданий выглядели

сказочными дворцами. Руины древнего Херсонеса и руины Севастополя мало чем отличались друг от друга, их можно было проходить насквозь. Из-под камней выглядывали искореженные спинки кроватей, стулья, колеса детских велосипедиков, продырявленные эмалированные тазы... На стенах, на видном месте крупно была намалевана одна и та же фраза: «Проверено, мин нет». Ниже значилась фамилия минера. Мин в городе и правда уже не было — саперы поработали на славу, но на разминирование Гераклийского полуострова у них уже не осталось времени — фронт быстро передвигался на запад, и саперы нужны были на передовой.

Вообще, довершив 12 мая разгром немцев на Гераклийском полуострове, армии из Севастополя исчезли, словно испарились. Ставка преобразовывала фронты, готовясь к решительному наступлению на Германию. Начинался новый и последний этап борьбы с фашизмом, и в этой ситуации закаленные воины, за плечами которых стояли Сталинград, Новороссийск, Севастополь, были на вес золота. Отныне командующий 2-й гвардейской армией Г. Ф. Захаров, ставший генерал-полковником, должен был распроститься с боевыми товарищами, вместе с которыми он сражался на Волге, ему в готовящейся операции «Багратион» доверялось командование 2-м Белорусским фронтом. Ф. И. Толбухину, руководившему операцией по освобождению Севастополя, вместе с маршальской звездой вверялись армии 3-го Украинского фронта, нацеленные на союзные фашистской Германии Румынию и Болгарию.

Мы вернулись в Севастополь в начале июня. Стоило подуть ветру, как над испепеленным городом поднимались пыльные смерчи. Мертвыми были стены, мертвыми были сожженные деревья, мертвыми были лица людей, еще не пришедших в себя после оккупации. Еще кое-где можно было прочитать намертво приклеенные к стенам приказы немецкого коменданта. Это был лист бумаги, разделенный на две половины, слева текст был напечатан на немецком языке, справа на русском.

К НАСЕЛЕНИЮ г. СЕВАСТОПОЛЯ!

Благодаря бдительности Германской Армии обнаружено уже немало шпионов, агентов и диверсантов, оставленных большевиками при их отходе из Севастополя только лишь для Вашего личного вреда. Те из них, которые поняли, что их задачи бесполезны и наносят только лишь ущерб гражданскому населению, добровольно явились к Германским частям и признались в своей виновности. Проверив их показания, мы направили их в другие населенные пункты Крыма на работу, чтобы сберечь их от мести фанатиков.

Тех же, которых мы задержали при исполнении их преступной деятельности, карали смертью.

Нам известно, что среди гражданского населения находится еще много шпионов, агентов и диверсантов, а также сотрудников таковых, которые остались в городе по приказу бывших советских руководителей, успевших спасти свою собственную жизнь, сбежав на Большую землю. Нам еще известно, что среди этих агентов находится много мужчин, девушек и женщин, которые раньше принимали такие поручения под нажимом большевистских властей, а теперь не поставили еще в известность Германское Командование о своей деятельности только лишь под страхом мести большевистских сыщиков и палачей.

Всем этим представлена еще возможность добиться прощения за их преступления.

Мы призываем их явиться немедленно в одно из подразделений Германской Армии и сдать свои рации, оружие и другие вспомогательные принадлежности. Мы гарантируем им жизнь и предоставление по собственному желанию места работы в другом населенном пункте Крыма. Тот, кто не явится добровольно и будет продолжать свою преступную работу или же будет иметь преступные намерения, будет беспощадно приговорен к смертной казни.

Вышеуказанное касается и всех тех, которые знают таких шпионов, агентов и диверсантов или которым известно их местонахождение, планы и задачи.

Мы делаем каждого гражданина города Севастополя ответственным за жизнь и здоровье Германской Армии, за устранение всех диверсионных актов, как пожары, взрывы и т. д.

НАСТОЯЩИМ ПРИКАЗЫВАЮ:

Если в одном из домов или их предместье днем или ночью с кем-либо из Германской Армии случится что-либо вредное, безразлично каким образом, то жители данного дома будут расстреляны.

Если произойдут диверсионные акты (пожары, взрывы мин и т. д.), нападения или выстрелы на улицах или площадях одного участка города, то я эвакуирую этот участок города, а жители будут привлечены к принудительной работе. В особо тяжелых случаях будут приняты строжайшие меры.

Мы имеем только лишь одну цель: восстановление города, защиту, спокойствие, подходящую работу для каждого и, наконец, обеспечение беззаботной, человеческой жизни.

Комендант крепости Севастополь.

Бумага этих воззваний стала коричневожелтой от солнца и времени, но текст был еще хорошо виден. Со слов бабушки я знал, что вытворял этот комендант. В инкерманских штольнях, где поселились оставшиеся без крова люди, огнеметчики сожгли всех. «Ироды проклятые, — говорила бабушка. — Там, знаешь, были женщины, маленькие дети, и старые были люди, а они их сожгли как партизан. А раненых военнопленных они погрузили на баржу и в море эту баржу подожгли. Что они только не творили...»

Число жертв я узнал после — 27 306 повешенных, расстрелянных, сожженных... Сколько севастопольцев было вывезено в Германию в качестве «sklave», мне не удалось узнать, но когда я узнал, сколько моих земляков дождались освобождения в мае сорок четвертого года, я был потрясен: всего 2 тысячи человек!

До войны в Севастополе проживало более ста тысяч горожан...

Среди расстрелянных была Милочка Осипова, родная племянница деда Луки. Она окончила девятый класс, когда началась война. Невысокого роста хрупкая девочка с большими, добрыми, мечтательными глазами. Они жили с матерью на Сапунской — улочке над Южной бухтой, где у нашего общего прадеда Степана Осипова был свой дом. Она устроилась работать табельщицей в железнодорожное депо. Матери она не призналась, что вступила в подпольную организацию Ревякина.

— ...Проснулись мы однажды, — рассказывала тетя Зина в маленьком домике на Сапунской, — все вокруг грохочет, будто опять война началась. Я подскочила на постели, кричу: «Мила, прятаться надо!» — а

она мне спокойно-спокойно говорит: «Лежи, мамочка, это поезд со снарядами взлетел на воздух. Их на пароходе из Румынии привезли, чтобы поездом в Керчь переправить. Не пришли эти снаряды в Керчь». А я еще ничего не понимаю, говорю: «Они же на путях рвутся, люди же пострадают!» А она: «Ты представляешь, мама, сколько бы от этих снарядов людей погибло на фронте, если бы они туда попали!» Это я теперь понимаю, что она не спала в ту ночь, лежала и ждала, когда это случится. Они какие-то мины с часами прикрепили к вагонам. Начальник вокзала Филль, молодой красивый немец, после этого случая запил так, что водкой отравился... Нет, тогда им все сошло с рук, никто их не предал. А потом, когда Милочку забрали, я еще на что-то надеялась. Сама не знаю на что. Думала по ошибке, разберутся — отпустят. Держали в подвалах на Пушкинской, рядом со школой, где она училась. Вдруг прибегает ко мне один человек, говорит: «Зинаида Харлампиевна, их вчера — в субботу — вывезли на расстрел. В три часа дня посадили на машину...» — «Кого?» — спрашиваю. Отвечает: «Милочку вашу да Мишу Шанько». Миша Шанько, я его знала, приходил к Миле, мальчик в школе с ней учился, в депо электриком работал. Я похолодела, говорю: «Откуда ты знаешь, что на расстрел отправили?» А он и говорит: «Когда, Зинаида Харлампиевна, в машину садят автоматчиков и врача — это значит на расстрел повезли, так верный человек сказал». А наши ведь уже в Крыму были, готовились Севастополь освобождать... Помню, поехали искать их на Балаклавское шоссе, где людей расстреливали. Комиссия поехала по злодеяниям фашистов. Стали копать. Дождь пошел. Ревякина нашли. Лежал под камнями, скорченный. Наверное, дрался напоследок. Его камнями забили и сверху камнями завалили. А Милочку так и не нашли... Думала — никогда уже не буду смеяться, даже говорить не буду. А вон что значит человек. Знаешь, зима, лето, осень — все кружится в карусели, год за годом — и боль притупляется. Только иногда проснусь, возьму ее книжечку, вот эту, и читаю единственную еще не утраченную запись, которую она сделала. Видишь — стихи по памяти записала. «Письмо в Москву» называются. На-ка, почитай, а то мне за очками надо идти...

Я беру из ее маленьких, словно ссохшихся рук довоенную записную книжку и нахожу запись, сделанную еще не утратившей ученической старательности рукой. Стихотворение знакомое, но автора я не помню. Оно начинается словами:

Присядь-ка рядом, что-то мне не спится,
Письмо в Москву я другу написал,
Письмо в Москву, далекую столицу,
Которой я ни разу не видал...

Я дочитываю стихотворение до конца и думаю, почему Милочка вспомнила именно это стихотворение... Потому ли, что подпольщики решили назвать свою газету «Голос Москвы», или весь смысл в двух последних строках:

Но я не сплю в дозоре на границе,
Чтоб мирным сном спала моя Москва!

Под стихотворением стоит число: 16.10.43 г.

И сделана приписка:

«Сегодня мы перебираемся в новое Депо. Моя судьба еще не известна.

Мила».

А может быть, этот день и был днем вступления ее в подпольную организацию? Отсюда и тайное признание — «я не сплю в дозоре... чтоб мирным сном спала моя Москва»...

Ясно одно — эта запись была сделана в каком-то порыве, наверное, ночью.

Вспоминая, тетя Зина оговаривается. Снаряды доставляли из Румынии в Севастополь не на пароходах, а на мелко сидящих деревянных шху-

нах. Это были самые мирные шхуны, предназначенные для каботажного плавания, для перевозки арбузов, дынь, их строили так, чтобы они могли заходить в мелководные лиманы, ерики, как можно ближе подходить к берегу для погрузки. Немцы быстро догадались, что их можно приспособить для перевозки боеприпасов, — эти шхуны из-за малой осадки могли ходить по минным полям, которые были поставлены в море на подходах к Севастопольской гавани и расположение которых гитлеровцам не было известно. А чтобы обезопасить себя от нападения с воздуха, они на палубах держали севастопольских детей.

Нонка — единственная девчонка, которую мы приняли в нашу мальчишескую компанию, которая, качая свои права, передралась с каждым из нас, после чего мы все поголовно в нее влюбились, наша маленькая комиссарша, которая не позволяла нам вешать носы в дни обороны, когда нам пришлось наравне со взрослыми вытаскивать после бомбежек из руин убитых, раздавленных знакомых и незнакомых людей и хоронить их, — отчаянная Нонка не избежала этой участи. Ее поместили на «Лолу». Когда шхуны заходили в Севастополь, детей запирали в трюме, в носовой части, где хранились запасные паруса. Немцев-охранников было немного: команда румынская, мобилизованная по принуждению. «Лолу» в апреле сорок четвертого взяли на абордаж катерники. Шхуну обнаружили летчики. «Лола» направлялась в Румынию, но вышедшие из Ялты торпедные катера успели ее перехватить.

Решиться на то, чтобы пойти за гильзами к мысу Феолент, протопав двенадцать — шестнадцать километров в одну только сторону по напичканной минами степи, конечно, было непросто. И мы, как все, поначалу таскали в школьный двор всякую ерунду, которую находили в развалках. Гора кроватных спинок, сеток, велосипедных рам, автомобильных колес, всякого оружия в школьном дворе росла, но ничего стоящего в ней не было. Вот тогда Гешка, который был постарше и посамостоятельнее нас, сказал: «Айда, пацаны, на Феолент. Я там шастал недавно, все, как побросали немцы, так и валяется. Медных гильз видимо-невидимо. Снаряды, мины, гранаты — всего навалом. Винтовки, патроны. Заодно постреляем по каскам». Уговаривать нас не пришлось.

Так оно и было. Сначала мы шли по шоссе, вдоль которого с обеих сторон торчали воткнутые в землю жестяные желтые дощечки: «Осторожно, мины!» Кое-где еще были намалеваны череп и перекрещенные кости.

— Ну вот, — сказал Гешка, — здесь мы свернем.

Мы перешли горбатый мостик и свернули налево. Здесь на юг уходила ложбина, мы пошли вдоль нее по склону, с любопытством глядя на немецкие танки, самоходки и всевозможные пушки. «Фердинанды», «пантеры», «тигры»... Они поражали своими невероятными размерами, могучими башнями, орудийными стволами, распятием распавшихся гусениц. Было жутко, и в то же самое время ощущение близкой опасности пьянило кровь. Хотелось забраться внутрь, зарядить пушку и выстрелить.

— Смотрите! — крикнул Шурка Цубан, спрыгивая в окоп. — Кто-то для нас гранаты приготовил. Здесь целый ящик!

Мы попрыгали следом. Гранаты стояли торчмя, немецкие гранаты с длинными деревянными ручками.

— Покидаем! — радостно завопил Шурка, хватаясь за гранату.

— Кидать по очереди, — приказал Гешка. — Кинули — и сразу же присесть.

— Знаем, — сказал Шурка и выдернул кольцо. — Ложись, братва, кидаю!

И он кинул. Мы присели. Грохнуло будь здоров.

Я кидал следом. Кувыркаясь, граната улетела метров на пятнадцать. Сразу же за мной кинул Котька. Там, где гранаты взрывались, оголялись рыжие пятна земли.

— Даешь Берлин! — кричал Шурка.

И мы орали: «Ура!»

Мы словно помешались...

Гешка остудил наш пыл. Он показал на неприметную плоскую коробку, похожую на раковину с сомкнутыми створками.

— Вот она, — сказал он. — Если ее кто-нибудь заденет, нам всем каюк. Изрешетит. Так что, пацаны, под ноги смотреть, а не ловить ворон. И вообще, будет нормально, если вы не будете разбредаться, а будете топать по моим следам, как принято в разведке.

О разведчиках он сказал в самый раз, это нам очень понравилось. Мы пошли за Гешкой. Замыкал строй горбатый Вася, который зачем-то нацепил на голову немецкую каску.

Так и шли, обходя воронки и перепрыгивая через окопы, пока не наткнулись на батарею, где было навалом стреляных гильз...

Когда мы утром принесли эти гильзы в школу и свалили их на землю отдельно от груды металлолома, директор, было похоже, потерял дар речи. Уж этого мы от него не ожидали. Он ходил в кителе без погон, к которому был привинчен орден Красной Звезды. Красная и две желтых нашивки за ранения объясняли, почему он возится с нами, а не воюет на фронте. Он преподавал нам географию и военное дело. И притом он не умел повышать голоса.

— Послушайте, ребята, — сказал он, когда очнулся. — Это следует отнести ко мне в кабинет, а то, знаете, еще найдутся охотники отнести эти гильзы в утильсырье.

В будке на базаре, где принималось утильсырье, за эту медяшку дали бы приличные деньги — это мы понимали. И мы перенесли гильзы к нему в кабинет. Где мы их взяли, никто из нас не сказал, таким был уговор.

— На «поле чудес», — только и сказал находчивый Шурка Цубан, который накануне прочитал книгу о Буратино.

Так мы и ходили на наше «поле чудес», и наша популярность среди учителей росла со сказочной быстротой, что нас и радовало и пугало, мы отдавали себе отчет, что будет, если отзвуки нашей славы достигнут родительских ушей. Мы уже договорились между собой, что будем врать напропалую, но каждый из нас отлично знал и способности наших матерей выуживать из нас правду.

Пока что все сходило благополучно.

Но в тот раз мы увлеклись стрельбой из автомата. Автомат был совсем новенький, мы нашли его в танке. Патронов мы не жалели — автоматные диски можно было найти чуть ли не в каждом окопе. Автомат был с откидным предплечьем, из него можно было строчить напропалую, а можно было вести и прицельную стрельбу.

Наверное, прошло немало времени, пока азарт прошел.

Часов ни у кого не было, часы даже у взрослых считались предметом роскоши, на их приобретение откладывали деньги.

Когда мы нагрузили наши мешки на выуженную из кучи металлолома детскую коляску, солнце уже клонилось к горизонту, а обратный путь был неблизким. К тому же жутко хотелось есть. В этот день не выдали тех крошечных пеклеванных булочек, которые полагались нам в школе. Отправляясь за гильзами, мы всегда брали булочки с собой, а тут даже кусочка хлеба ни у кого не нашлось.

Плохо было и то, что за мной увязался младший брат, он еле волочил ноги, и поэтому мы шли медленнее, чем обычно, и чаще отдыхали.

— Кажется, влипли, — сумрачно произнес Котька, когда мы заметили, что каски сливаются с травой, а до шоссе еще было топать и топать. С каждой минутой горизонт слева от нас серел, справа над Севастополем зажигались первые звезды.

— Не хныкать! — прикрикнул Гешка. — Иду первым, остальным следовать строго в кильватер.

Сгибаясь под тяжестью гильз, я с тревогой следил за братом, который шагал впереди меня и тоже тащил в котомке гильзу. Я думал о том, что если с ним сейчас что-нибудь случится, то мне тоже не жить. Впервые до меня дошло, что ни у бабушки, ни у мамы никого больше нет, кроме нас. Наш девятнадцатилетний дядя, как нам теперь стало известно, сложил свою голову 23 декабря 1941 года на Мекензиевых горах. Во время второго штурма.

Я помнил, как в тот декабрьский день среди белого дня, стреляя из пушек, в бухту ворвались корабли: два крейсера — «Красный Крым» и «Красный Кавказ», два эсминца — «Бодрый» и «Незаможник» — и лидер «Харьков». Я услышал эту канонаду и, выскочив на улицу, помчался на угол. Зрелище было захватывающим.

В этот день фашистские автоматчики уже просочились на Братское кладбище и с Северной стороны тоже наблюдали, как входят в бухту наши корабли. Все эти подробности я узнал, уже став взрослым. Не подоспей в тот день корабли с 79-й бригадой морской пехоты полковника А. С. Потапова, и фашисты ворвались бы в Севастополь. Потаповцы чуть ли не прямо с борта кораблей вступили в бой. Несмотря на сильные морозы, солдаты Манштейна шли в атаку в одних мундирах, поклявшись шинели надеть только в Севастополе. И вот одна лавина сшиблась с другой в рукопашном бою, и севастопольцам удалось оттеснить саксонцев за железнодорожную станцию. Девятнадцатилетний командир взвода погиб на следующий день, когда гитлеровцы снова бросились в атаку, покатились лавиной и опять были остановлены моряками.

А я и не знал, глядя на входившие корабли, что мой юный дядя находится на палубе крейсера. Если у него был бинокль, то он вполне мог разглядеть нас с братом, а в том, что все эти минуты, пока корабли шли к берегу, наш Георгий смотрел в сторону материнского дома, я не сомневаюсь. Он погиб, защищая и свой город, и свой дом, и всех нас.

И вот, шагая за братом, я думал о том, что нас осталось только четверо и что если сейчас с нами что-то случится, то ни мама, ни бабушка этого уже не переживут.

При каждом шаге в мешках позванивали гильзы, и этот звон был похож на колокольный. Мы молчали. И шли под колокольный звон, а по небу скользили синие звезды, скользили, и переливались, и плыли — я все это видел, но не мог остановить это скольжение сверкающих звезд. Я шел, потому что шли все, но будь я сейчас один, я бы бросился на колкую траву и так бы лежал до рассвета, когда снова станут заметны эти чертовы попрыгунчики. Нет, страха, того знобящего страха, от которого подкашиваются ноги, я не испытывал. Это был другой страх, я думал о брате, о маме, о бабушке. До меня впервые доходило, что и мама отвечает за нас перед памятью отца, что вся ее жизнь после его гибели была нацелена, чтобы спасти нас с братом.

Я вспомнил, как мы на эсминце в последних числах июня покидали горящий Севастополь, и как нас бомбили немецкие самолеты, и как мама легла, прикрыв своим телом брата, а руку положила мне на голову, пытаясь хотя бы так прикрыть ее от пуль. Я вспомнил, как наш продырявленный бомбами корабль стал набирать через пробоины воду и крениться, и как матросы стали требовать от нас, чтобы все мы переместились к другому борту, и как мать держала нас за руки...

Я вспомнил, как при переходе из Баку в Красноводск на барже меня сразила малярия, и температура подскочила за сорок, и я стал бредить, а люди вокруг испугались, что я болен тифом, и отхлынули от нас, а врача на барже не было. Мама положила мою голову на колени, а над головой

держала газету, чтобы не припекло ее солнцем. Потом я потерял сознание...

И когда я все это вспомнил, мне вдруг захотелось, чтобы на Берлин сбросили бомбу. Огромную бомбу величиной с эсминец.

Сначала я мысленно представил себе, какая это будет огромная бомба и сколько неслыханной взрывной силы будет таиться в ее металлическом корпусе. Тогда еще никто не знал, что вот-вот человечеству явится атомная бомба и что будет она небольшого размера. Бомба, которую я себе представлял, должна была обладать гораздо большей разрушительной силой, чем семитонные снаряды «Доры». Мне хотелось, чтобы в одной бомбе уложилось сто таких снарядов. И я хотел, чтобы ее сбросили на Берлин. На Бранденбургские ворота, под которыми, как я видел в кинохронике, любили маршировать гитлеровские солдаты. Главное было точно угодить в штаб-квартиру Гитлера. Только тогда, думал я, закончится наконец эта проклятая война.

И вот много лет спустя я стоял перед гитлеровской штаб-квартирой и неподалеку в тумане видел слоноподобную арку ворот. Выбор цели был точен. Но чтобы достать Гитлера в его бункере, моей «бомбы», наверное бы, не хватило.

В НОРЕ СКОРПИОНА

Все уже послевоенное утро Шурка вбежал в класс с округлившимися от нетерпения глазами. Еще бы — новость, которую он сообщил, была сногсшибательна: Гитлер жив, уже в самый последний момент его вывезла из Берлина на личном самолете немецкая летчица Ганна Рейч.

Шурка, известный трепач и сочинитель невероятных историй, на этот раз ничего не выдумал — в Доме Красной Армии и Флота на улице Ленина шел процесс над немецкими генералами. Я уже не помню, что это были за генералы, но предполагаю, что это были все те же, сдавшиеся в плен на мысе Херсонес. И весть, которую принес в класс Шурка, исходила из зала суда. В сорок пятом и сорок шестом году много говорили о том, куда подевался Гитлер. Большинство людей были убеждены, что он скрылся, ушел от расплаты за все свои преступления. В его личности виделось все мировое зло и думалось, что пока он жив, страшное зло, которое он носит в себе, может возродиться.

Его так не хватало на скамье подсудимых в Нюрнберге.

О том, что он покончил с собой, тоже говорилось, но почему-то меньше, и верилось в это хуже.

Но как раз это и было правдой...

В сорок девятом году на экраны вышел цветной фильм «Падение Берлина». Жизнь последней гитлеровской обители, как я теперь понимаю, в фильме показана была почти достоверно, создатели фильма, очевидно, имели под рукой документальный материал. Запомнилась сцена свадьбы фюрера и Евы Браун, в фильме она проходила под свадебный марш Мендельсона, эту красивую и торжественную музыку я слышал впервые.

В том, что у создателей фильма в руках оказалась хроника последних дней фюрера, ничего удивительного не было: попавшие в наш плен адъютант Гитлера штурмбанфюрер СС Отто Гюнше и начальник его личной охраны обер-группенфюрер СС Ганс Раттенхубер обо всем подробно изложили в своих устных и письменных показаниях.

Кроме того, при штабе 3-й ударной армии генерал-полковника В. И. Кузнецова, которая 20 апреля (как раз в день рождения Гитлера) начала штурм Берлина, была создана специальная группа, перед которой была поставлена задача захватить Гитлера. Возглавлял эту группу подполковник Иван Исаевич Клименко, заместителем у него был майор Борис Александрович Бы-

стров. Группе была придана военная переводчица Елена Ржевская, которая подробно рассказала о поисках Гитлера, написав книгу «Берлин, май 1945».

Утром 2 мая штурмовые отряды 5-й ударной армии прорвали эсэсовский заслон и ворвались в имперскую канцелярию. Группа захвата шла по пятам. В условиях боя нужно было мгновенно сориентироваться, отыскать все выходы из убежища, перекрыть их и тогда уже начать поиски. Плана подземного филиала рейхсканцелярии, этой разветвленной крысиной норы, естественно, не было. Как потом выяснилось, в подземелье имелось более пятидесяти комнат, мощный узел связи, склад продовольствия, кухня, какое-то подобие бара. Подземелье имело два наружных выхода — в здание и во двор. Отдельная нора вела в подземный гараж.

«Фюрербункер» находился отдельно. Вертикальная нора уходила на гораздо большую глубину, чем основное бомбоубежище, бункер был двухэтажным, над головой, прикрывая бункер от бомб и снарядов, лежала восьмиметровая железобетонная плита. Бункер с убежищем соединял путаный переход, но был еще и отдельный выход в сад. Когда группа захвата по темным коридорам и переходам достигла «фюрербункера», она никого не нашла здесь. В кабинете Гитлера на стене висел портрет Фридриха Великого, один френч висел в шкафу, другой — темно-серый — на спинке стула. Истопник — маленький невзрачный человек, беспрекословно согласившийся быть проводником, — сказал, что, находясь в коридоре, он видел, как из комнаты вынесли два трупа, завернутые в серые одеяла, и понесли их к выходу из убежища. Истопник не утверждал, что это были трупы Гитлера и Евы Браун, но, если бы он даже и сказал такое, ему бы все равно не поверили. Любой из схваченных в имперской канцелярии «свидетелей» и «очевидцев» мог нарочно пустить поиски по ложному следу. Никому нельзя было полностью довериться в гнезде фанатика, сумевшего заразить манией величия почти всю нацию.

В двух метрах от выхода из «фюрербункера» группа Клименко обнаружила полуобгоревшие трупы Геббельса и его жены Магды. Рядом лежал отвалившийся от платья золотой значок ветерана нацистской партии и золотой портсигар с факсимиле Гитлера.

В одной из комнат лейтенант Ильин увидел детей. Они лежали под одеялами на трех двухъярусных кроватях — пять девочек и один мальчик, дети казались спящими.

— Вы знали этих детей? — спросил майор Быстров у вице-адмирала Фосса.

Фосс кивнул.

— Я их видел еще вчера, — ответил он и, указав на самую младшую девочку, сказал: — Это Гайди...

Вызванный на допрос врач Гельмут Кунц показал, что детей отравила цианистым калием Магда Геббельс, их собственная мать. Врач ассистировал ей, усыплял детей морфием.

На вопросы: «Где Гитлер?», «Что вам известно о его пребывании?», «Когда и где вы его видели в последний раз?» — чаще всего следовали ответы: «Не знаю», «Мне это достоверно не известно» или называлась какая-нибудь дата. Кто-то видел, как он гулял в саду с Блонди. Но некоторые отвечали, что прошел слух, что фюрер с супругой после свадьбы покончили с собой, а тела их были преданы огню. Фигурировала и такая версия, что пепел Гитлера унес с собой как реликвию рейхсфюрер молодежи Аксман, которому удалось уйти в группе прорыва бригаденфюрера СС Монке, возглавлявшего остатки лейб-штандарта «Адольф Гитлер». Сам факт, что эсэсовцы лейб-штандарта — этого любимого детища фюрера, самые преданные ему люди — покинули 1 мая рейхсканцелярию, свидетельствовал о том, что Гитлер к этому времени или действительно уже был мертв,

или покинул свое убежище. Симптоматично было и то, что среди задержанных не оказалось ни личного слуги фюрера Линге, ни его адъютанта Отто Гюнше — штурмбанфюреров СС, ушедших в группе прорыва Монке.

В своей книге Георгий Константинович Жуков тоже уделил внимание группе Монке:

«Не помню точно времени, но как только стемнело, позвонил командующий 3-й ударной армией генерал В. И. Кузнецов и взволнованным голосом доложил:

— Только что на участке 52-й гвардейской дивизии прорвалась группа немецких танков, около 20 машин, которые на большой скорости прошли на северо-западную окраину города.

Было ясно, что кто-то удирает из Берлина.

Возникли самые неприятные предположения. Кто-то даже сказал, что, возможно, прорвавшаяся танковая группа вывозит Гитлера, Геббельса и Бормана.

Тотчас же были подняты войска по боевой тревоге, с тем чтобы не выпустить ни одной живой души из района Берлина. Немедленно было дано указание командарму 47-й Ф. И. Перхоровичу, командарму 61-й П. А. Белову, командарму 1-й армии Войска Польского С. Г. Поплавскому плотно закрыть все пути и проходы на запад и северо-запад. Командующему 2-й гвардейской танковой армией генералу С. И. Богданову и командарму генералу В. И. Кузнецову было приказано немедля организовать преследование по всем направлениям, найти и уничтожить прорвавшиеся танки.

На рассвете 2 мая группа танков была обнаружена в 15 километрах северо-западнее Берлина и быстро уничтожена нашими танкистами. Часть машин сгорела, часть была разбита. Среди погибших экипажей никто из главарей гитлеровцев обнаружен не был. То, что осталось в сгоревших танках, опознать было невозможно».

Оставалось только одно — не прекращать поиски в бункере.

Истопник, в первый же час рассказавший, как из приемной Гитлера вынесли два завернутых в серые одеяла трупа, припомнил, что Ева Браун была в черном платье. «Он ни на чем не настаивал, он просто видел. В хоре голосов более громких, уверенных голос истины расслышан не был. Сам же истопник был так непритязателен, скромен, что его трудно было соотнести с масштабами этих событий... Истопник был первым немцем, от которого я услышала о свадьбе Гитлера. Тогда, в едва отпылавшем боями и пожарами Берлине, это показалось мне фантасмагорией. Я взглянула на скромного, неказистого человека, буднично перебирающего в памяти причудливые картины трех-, четырехдневной давности, словно речь шла о чем-то бесконечно далеком. В самом деле, сейчас происходила не смена суток, а смена эпох», — прочитал я в книге Елены Ржевской.

В душном, сыром и мрачном подземелье, где больше не работала вентиляция, Елена Ржевская вместе с Клименко, Быстровым и другими пыталась докопаться до истины, не предполагая, что не кому-нибудь иному, а ей история доверит поставить последнюю точку в судьбе Гитлера.

Полуобгоревшие трупы Гитлера и Евы Браун обнаружил рядовой Иван Дмитриевич Чураков. 4 мая Чураков обратил внимание, что буквально в трех метрах от выхода из бункера в одной из воронок из земли торчит край серого одеяла. Рядом валялся невыстреленный фаустпатрон. Солдат спрыгнул в воронку и наступил на труп фюрера.

В той же воронке рядом с хозяином лежали две мертвые собаки — немецкая овчарка Блонди и ее щенок, на которых Гитлером было опробовано действие яда.

Эта находка, как показал дальнейший ход событий, сделала бессмысленной всю затею Гитлера тайно покинуть этот мир, стать пеплом мифической птицы Феникс,

за которой водилась привычка возрождаться после смерти. Священный для «истинных немцев» пепел — это было романтично.

Но на этот раз сказки в сторону. Была фраза, которую Гитлер произнес 29 апреля в присутствии свидетелей Гюнше, Линге и Раттенхубера. «Я не хочу, чтобы враги выставили мой труп в паноптикум», — сказал Гитлер. И отдал распоряжение после смерти тела предать огню. Даже мертвым он боялся расплаты.

Конечно, он не забыл, не мог этого забыть, как 14 декабря 1942 года ему на стол положили перевод Заявления Советского правительства, накануне переданного по радио. «...Всему человечеству, — читал он, — уже известны имена и кровавые злодеяния главарей преступной гитлеровской клики — Гитлера, Геринга, Гесса, Геббельса, Гиммлера, Риббентропа и других... Советское правительство считает, что оно, так же как и правительства всех государств, отстаивающих свою независимость от гитлеровских орд, обязано рассматривать суровое наказание этих уже изобличенных главарей преступной гитлеровской шайки как неотложный долг перед бесчисленными вдовами и сиротами, родными и близкими тех невинных людей, которые зверски замучены и убиты по указаниям названных преступников. Советское правительство считает необходимым безотлагательное предание суду специального международного трибунала и наказание по всей строгости уголовного закона любого из главарей фашистской Германии».

Прочитав Заявление, Гитлер истерично расхохотался: Москва смеет ему угрожать, когда его солдаты вышли на берега Волги, на высочайшей вершине Кавказа полощется флаг со свастикой, окружен Ленинград. Тогда он решил, что эти угрозы русским дорого обойдутся. Но страх уже закрался в душу.

Из Берлина бежать он мог — у Бранденбургских ворот в секретном подземном ангаре наготове стоял «арадо» — небольшой скоростной самолет. Фанатично преданная ему летчица Ганна Рейч находилась в бункере, ждала распоряжений. Гитлер распорядился на этом самолете вылететь генералу люфтваффе Грейму с заданием найти и арестовать предателя Гиммлера, посмевшего без разрешения фюрера начать переговоры с Западом о сепаратном мире. Геринга фюрер уже отстранил приказом от всех государственных дел. Из соратников до конца преданными ему оставались лишь Борман и Геббельс, они были рядом, это его утешало.

Накануне Геббельс в последний раз посетил свое министерство. Собрав ведущих сотрудников, он сказал:

— Немецкий народ оказался нежизнеспособным. На Востоке он обратился в постыдное бегство, на Западе встречает врага белыми флагами. Что я могу поделать с народом, чьи мужчины не желают сражаться за честь своих жен?! — взвизгнув, выкрикнул он. И уже шепотом закончил: — Немецкий народ сам выбрал свою судьбу... Мы никого не принуждали.

Геббельс был все тот же, правда, на этот раз он винил уже не славян, а свой собственный народ. Произнеся прощальную речь, он вернулся в нору Скорпиона № 1.

Известно: когда нет выхода, скорпион смертельно жалит самого себя. Гитлер и Ева Браун приняли ампулы с цианистым калием, когда стрелки часов в имперской канцелярии показывали «время Ч» — 3 часа 30 минут.

История иногда позволяет себе такие вещи — в 3 часа 30 минут того же дня 30 апреля над рейхстагом заалело Знамя Победы.

Колокола истории пробили, возмездие свершилось.

Глазастый рядовой Чураков, углядевший на дне воронки кончик одеяла, казалось бы, и поставил последнюю точку над

«i» — труп фюрера был найден, можно было дело закрывать. Посмеиваясь, бойцы группы Клименко шутили, что отлетевшая душа Гитлера по пути в ад на чем свет стоит клянет своих нерадивых слуг, не сумевших не только сжечь его как следует, но даже по-человечески зарыть в могилу.

Но и подполковник Клименко, и командарм Кузнецов, и все посвященные в данную ситуацию люди понимали: нужны неопровержимые доказательства, что найден Адольф Гитлер — фюрер партии НСДАП, рейхсканцлер Германии, верховный главнокомандующий вермахта, главнокомандующий сухопутными силами вермахта, величайший преступник всех времен и народов, а не кто-нибудь иной.

Врачи, делавшие медицинское освидетельствование, подсказали, что кроме отпечатков пальцев неповторимую информацию о человеке несут его зубы. Зубы были извлечены, помещены в коробку и вместе с актом вверены подполковнику Клименко, который, в свою очередь, перепоручил их своей переводчице.

Елена Ржевская описывает, как они искали зубного врача Гитлера профессора Блашке. И как им повезло найти ассистентку профессора Блашке Кете Хойзерман. Как в клинике Блашке Хойзерман нашла историю болезни Гитлера, но этого еще было мало — для доказательства необходимы были рентгеновские снимки. И как с Кете Хойзерман они поехали в имперскую канцелярию со слабой надеждой, что эти снимки каким-то образом уцелели. Ассистентка профессора, покинувшая подземное убежище канцелярии за три дня до падения Берлина, знала, где хранились рентгеновские снимки. Часовой, которому было приказано никого не пропускать в имперскую канцелярию, чуть все не испортил, но полковник Горбушин,* который руководил поиском доказательств, уговорил часового, и Елена Ржевская вновь оказалась в уже знакомом подземелье, где теперь было совсем сыро и темно. Они шли, освещая себе путь карманным фонариком, и слышали голос нашего солдата, который громко пел: «Есть на Волге утес...» Указывая дорогу, Кете Хойзерман привела в зубоврачебный кабинет. И здесь при свете карманного фонаря удалось найти и рентгеновские снимки, и новенькие золотые коронки, которые не успели надеть фюреру.

У Бранденбургских ворот забарахлил мотор. Когда машина снова тронулась, воздух содрогнулся от залпов — это был салют Победы...

Так проходили и были завершены поиски Гитлера в мае сорок пятого года. По каким-то причинам эта история не получила широкой огласки. Прошло тридцать лет, прежде чем вышла книга Елены Ржевской, где впервые была опубликована целая подборка документов из дневников и показаний гитлеровских сподвижников. И будь эта книга в руках английского историка Тревор-Ропера, он не стал бы утверждать подобной чепухи: «Так или иначе, но Гитлеру удалось достичь своей последней цели. Подобно Алариху Готскому, разрушившему Рим в 410 году и секретно похороненному своими сторонниками близ реки Бузенто в Италии, современный разрушитель человечества навсегда скрыт от людских глаз».

ПОЕЗДКА В ЦЕЦИЛИЕНХОФ

Мы мчались по шоссе, на этот раз залитому солнцем. По обе стороны дороги проносились красивые осенние вязы, красивые коттеджи под высокими черепичными крышами, на зеленых лугах паслись ко-

* Полковник Василий Иванович Горбушин живет в Ленинграде.

ровы. Справа, приближаясь к автобану, появилось озеро с зелеными берегами и голубой водой. Это был Хафель — приток Эльбы, но юго-западнее Берлина река разливалась в виде продолговатых озер, и здесь проводили свои выходные дни берлинцы. В узком месте мы по мосту пересекли уходящий вдаль озерный залив, и я увидел пристань, а у пристани стоял белый пароходик. Не катер, не прогулочный трамвай, а допотопный уютный пароходик с трубой и лавками для пассажиров на юте. Наверное, он плавал здесь еще до войны и берлинцы охотно совершали на нем прогулки. В плетеных корзинках везли свертки с бутербродами, бутылки красного рейнского вина...

Красота окружающего ландшафта настраивала на идиллический лад, вчерашние руины, размазанные туманом, слоноподобная в ночном, дымящемся свете арка Бранденбургских ворот, пустырь вдоль Вильгельмштрассе и наш разговор с Манфредом казались вымыслом, наваждением, порожденным сгустившимися озерными парами.

Но это было — и моя исповедь, мой рассказ о супербомбе, которую я в мечтах бросал на Бранденбургские ворота, и его фраза, сказанная на Вильгельмштрассе: «А я ведь тоже потерял отца... В декабре сорок первого... Под Севастополем... А мы вот встретились — дети смертельных врагов».

А потом была бессонная ночь, ночь еще одного возвращения в детство.

...Маленький черный буксирчик, отчаянно сопя, пересек бухту и скрылся за выступом Приморского бульвара. И снова ни шлюпки, ни катера. Бухта казалась вымершей, а сидящие на рейде чайки были похожи на плавающие комочки ваты. Иногда чайки взлетали и, лениво помахивая крыльями, плавно парили над бухтой. Оттого, что в бухте уже давно не было кораблей, вода стала на редкость прозрачной и чистой, в ней хорошо была видна рыба. Ее было легко поймать, чайки толстели и становились медлительными. Особенно мартыны. Огромные, с черно-белыми крыльями, они презрительно оглядывали нас круглыми поблескивающими глазами. Но сбить их из рогатки никому не удавалось.

Уже второй час я сидел на причале в Артиллерийской бухте, но все еще не знал, что мне делать. Я уже стал злиться на себя, злиться оттого, что согласился прийти к Борьке на день рождения. «Дурак! Как пить дать дурак, — ругал я себя, глядя, как по дну ползают крабы. — Не мог соврать, что ли? Иду, мол, на рыбалку, и лады. А теперь... ну что ему подарить? Что?»

С Борькой я познакомился совсем недавно. Недели две назад. На Приморском. Какой-то шкет с Корабельной сбил у него с головы тюбетейку, сам же поднял и пошел дальше как ни в чем не бывало. «Чего ты, — закричал он, когда я дал ему по шее для начала. — Пошутить нельзя, что ли? Очень мне нужна его тюбетейка...» Вернув тюбетейку Борьке, он отошел подальше, показал мне кулак и крикнул:

— Вот только появись на Малаховом, я тебе припомню! Я тебе...

— Пошли, — сказал я Борьке. — Пусть хоть сто лет орет.

— Спасибо... — сказал он и протянул мне руку. — Мы только недавно из Поти, я здесь не знаю еще никого. Мама будет очень рада, если ты придешь к нам в гости.

«Чудак какой-то... „мама будет очень рада“. Надо же такое сказать», — подумал я и позвал его на нашу улицу, и он пришел уже на следующий день. Мы научили его играть в «швайку» и крутить монету. Он даже продул Котьке рубль двадцать, но ничего, не заплакал. А вчера он пригласил меня на день рождения.

Со стройки, где работали пленные немцы, донеслись звуки губной гармошки. Потом гармошка смолкла и заработала пила.

К пленным в городе привыкли. Каждый

вечер длиннющая серо-зеленая змея уползала по шоссе за кладбище, и каждое утро она возвращалась в город, расчленялась на куски и располазалась по стройкам. Привычно было видеть пленных, привычно было видеть очереди за хлебом, развалины вместо домов, привычно было видеть море, переходящее на горизонте в небо, а где-то там, за горизонтом, лежала жаркая и загадочная Турция. «Ветер с Турции», — говорили старики. Однажды этот ветер занес турецких рыбаков. Их фелюгу взяли в шторм ночью под Балаклавой. По городу разнесся слух, что поймали шпионов.

— А черт его знает, — сказал тогда дед Семен. — Может, конечно, и шпивоны они. А может, и не шпивоны. Завсегда так было, и до революции тоже, что наши баркасы норд-остом заносило до Турции. У Трапезунда аж вылавливали.

Дед Семен вечно торчал на причале. И трезвый, и пьяный. Когда пьяный был, то спал часто на берегу, а рядом на песке валялась рыжая дворняга с черной злой пастью по кличке Боцман. К спящему деду Боцман никого не подпускал, а когда дед Семен был трезвый, то Боцмана никто не видел и не слышал, лежал он где-нибудь на солнце, прикрыв глаза и высунув язык.

Дед Семен был добрый старик, и я пришел сюда, чтобы посоветоваться с ним, но мне не повезло, и на причале я его не застал. Свесив над водой ноги, я кидал в воду плоскую гальку, и камешки по пять-шесть раз прыгали на волнах.

«Подарю ракетницу», — наконец решил я, приподнимаясь и отряхивая штаны. Ракетница лежала в сарае, завернутая в тряпку. Правда, у ракетницы был сломан курок, но его можно было починить.

Я уже пошел к дому, но тут вспомнил, как Борька испугался простого «самоварчика», который я запустил при нем. «Самоварчик» было сделать раз плюнуть: вытащить пулю из патрона, отсыпать половину пороха, забить пулю обратно и снова засыпать порох. Потом порох поджечь и трясти до тех пор, пока пуля не вылетит из патрона. В руках оставалась теплая гильза, с канавкой, если патрон был немецким.

— Ты же мог в... взор... ваться, — сказал Борька. У него были испуганные глаза и тряслись губы.

Эх, жаль, ракетница отпадала.

Я медленно брел вдоль стройки, где двое немцев пилили бревно. Они пилили бревно вдоль — делали доски. Стучали молотки. «Ззз-зу-ук... ззз-зу-ук» — пел фуганок. Из-под фуганка вылетали белые шелковистые стружки. Они упруго завивались и казались продолжением звука. Я засмотрелся. Вдруг фуганок умолк.

— Эй... киндер, — немец-столяр делал мне какие-то знаки рукой.

Я поискал глазами солдата конвойного. Он дремал в тени акации, облокотившись на штык. Я подошел, потому что мне сразу стало любопытно. Рядом с верстаком стоял ящик, и немец присел на корточки перед ним. Я сделал то же самое. Он приподнял ящик, и я чуть не ахнул. Под ящиком, между двумя кирпичами, как на стапелях, стоял голубой двухмачтовый парусник, с вантами, реями, бушпритом и килем.

— Клипер, — прошептал немец.

От немца пахло деревом и потом. Он с улыбкой смотрел на клипер, и на мгновение мы забыли, что нас может заметить конвоир. Немец опомнился первым.

— Брод... хлеб, — сказал он. — Так...

Его толстые мозолистые пальцы с желтыми ногтями разошлись, отмеряя кусок хлеба, который надо было ему принести за клипер. Я смотрел на два желтых дрожащих ногтя и думал, где мне достать полбуханки. Я молчал, и тогда пальцы стали сближаться. Они сблизились сантиметра на три, но мне показалось, что они сделали огромную работу. Я кивнул и побежал домой за хлебом. Под ящиком остался подарок для Борьки.

В столе лежала начатая буханка — наша суточная норма. Черный кирпич, который

на базаре стоил сто рублей. Обычно хлеб продавали разрезанным на десять частей, каждая часть стоила десять рублей. Если бы мы потеряли хлебные карточки, то... Об этом лучше не стоило думать. Думать об этом было страшно.

Я положил хлеб на стол и разрезал его. Хлеб был мягкий и липкий, он прилипал к пальцам. Меньший кусок я положил в стол и сразу же представил себе бабушкино лицо, когда она откроет дверцу. Я брал без спроса, зная, что мне столько не дадут. Спрятав хлеб за пазуху, я побежал обратно.

Солдат конвоир, закинув винтовку за плечо, медленно ходил взад и вперед вдоль стройки. Наконец он снова примостился под акацией, и над его пилоткой заклубился густой махорочный дым.

Не теряя времени, я прошмыгнул под верстак.

Я сидел под верстаком, смотрел на короткие кованые сапоги и на алюминиевую пряжку с орлом и свастикой и ждал, когда появится рука с желтыми ногтями. Когда она появилась, я положил на нее хлеб и услышал, как немец сказал: «Гут».

Он снова присел перед ящиком и протянул мне клипер.

Его светлые волосы взмокли и прилипли ко лбу. Через расстегнутый ворот мундира виднелась серебряная цепочка на загорелой шее.

— Битте, — сказал он и улыбнулся. Улыбка получилась у него какая-то виноватая, так что я невольно улыбнулся ему в ответ.

— Я имею такой сын Хайнц, — сказал он.

Я взял клипер.

— Ауфвидерзеен, — сказал немец.

Солдат по-прежнему сидел на камне и курил козью ножку. Я решил пройти за его спиной, а потом дуть во все лопатки.

— Погоди, — сказал солдат.

«Отнимет», — подумал я.

Он протянул руку:

— Дай-ка.

Я послушно отдал ему клипер.

— Сколько дал?

Я смотрел на его усы. Усы были рыжие, от махорки, что ли. Я показал руками кусок хлеба, который отдал немцу.

Солдат покрутил клипер в руках. По его загорелому морщинистому лицу от глянцевых бортов забегали солнечные блики.

Солдат вздохнул:

— Недорого. Считай, он этого стоит. Золотые руки у фрица. Я б так не сумел.

Он протянул мне клипер:

— Чтобы я тебя здесь больше не видел, понял?!

Я вздрогнул от неожиданности.

— Оглох, что ли? — крикнул солдат. — Здесь военный объект. Давай... давай отсюда...

Уговаривать меня не пришлось. Я примчался домой и сразу же бросился в огород, куда мы собирали воду. Водопровод работал два часа в день. Остальное время кран только шипел или вовсе молчал.

— Ты что делаешь у кадушки? — крикнула бабушка. Сердце мое сжалось, я вспомнил, что мне еще предстоит. Бабушка подошла и посмотрела на клипер.

— Где ты его взял?

Я рассказал.

— Хлеб?! За эту ерунду, — удивилась бабушка. — Горе ты наше... Просто не знаю, что с тобой делать...

Она смотрела на меня своими карими, очень усталыми глазами.

— Подарок ведь, — сказал я.

— Что ж теперь сделаешь, — сказала бабушка и вздохнула, — дари.

Времени оставалось еще больше часа, и я пошел на угол, где ребята играли в «пожарчика». Здесь были и Вовка Жереб, и Котька Грек, и Цубан, и даже горбатый Вася. Вася был младше меня на год. Ни матери, ни отца у него не было, только старая бабка. Беднее Васи жил лишь один Киндер.

— Будешь ставить? — спросил Жереб.

Я порылся в кармане и нащупал десять копеек. Биту я всегда носил с собой — медный царский пятак. Отличная у меня была бита.

Я кидал биту последним. Она легла у самого круга, в котором лежали деньги, но попался какой-то дурацкий камень, она звякнула об этот камень и укатилась метра на два от кона...

— Я бью! — крикнул Вася и плюхнулся на колени. Я увидел, как над горбом поднялась рука с битой, и услышал, как зазвенели деньги.

— Две есть, — сказал Вася и ударил третью. Монета взлетела и снова упала «решкой».

— У, черт!

— Спокойнее, — сказал Жереб и тоже смазал.

— Моя будет, — сказал Котька и ударил по самому краю монеты. Монетка перевернулась и легла на «орла». Котька взял две. Последнюю забрал Шурка Цубан.

Я сел на крыльцо. Единственное розовое крыльцо, которое сохранилось от двухэтажного дома. Крыльцо и одна стена, которая грозила рухнуть.

С Перелешенской улицы к нам подошел старик в соломенной шляпе, галстуке и в черном пиджаке. В руках он держал старый портфель. Он смотрел, как мы играем в «пожарчика», и качал головой.

— Ай-ай-ай. Азартные игры!

Но на него никто не обратил внимания.

— Послушайте, дети, — его тень упала на кон, и я увидел, что Жереб злится. — Я хочу вам предложить, — продолжал старик, — киноленту. Это великолепная кинолента. За хлеб вы можете получить уникальные кадры. Вы только посмотрите, — он полез в портфель и достал рулон пленки. — Вы только посмотрите сюда — видите, Гитлер в клетке? Этот изверг в клетке.

— Что ты к нам пристал со своим Гитлером! — крикнул Вовка Жереб. — Нету у нас хлеба.

— Зачем ты так кричишь, мальчик? — сказал старик в галстуке и укоризненно покачал головой. — И что ты такое говоришь!... Как тебе только могло прийти в голову такое... Мой Гитлер! Нельзя так, мальчик, нельзя. Вы только подумайте: за один маленький кусочек хлеба я вам могу отдать исторические кадры. Это уникальные кадры. Берите эту ленту у старика — и через двадцать лет вы вспомните старого Либерзона, который за маленький кусочек хлеба подарил вам исторический документ. И вы будете тогда смеяться, потому что через двадцать лет никто не будет есть черный хлеб, а будет есть белый с маслом и чем хотите. Вы можете отдать мне деньги, и я вам дам немного кадров. Вы только посмотрите. Эта свинья — Гитлер.

— Нам самим нужны деньги, — сказал Жереб.

— И то верно, — сказал старый Либерзон и посмотрел на меня: — Вот ты, мальчик, посмотри на этого злодея. Ты мне кажешься умным и интеллигентным мальчиком, ты должен понимать, что такое непреходящие ценности истории.

Я взял пленку и посмотрел на просвет. Там, действительно, сидел в клетке Гитлер, а рядом улыбался Швейк. Кто из нас не видел этого фильма? Я видел его три раза и, конечно, очень хотел иметь эту пленку.

— Ну как? — спросил старый Либерзон.

Я покачал головой:

— Не могу... Деньги я уже проиграл.

Старик улыбнулся. У него было всего четыре зуба, от силы — пять.

— Я понимаю... Сам был мальчиком... Но может, ты принесешь мне хлеба? Пару маленьких кусочков.

Я вспомнил то, что осталось в буфете, и вздохнул.

— Я уже променял кусок хлеба на парусный клипер. Немец один сделал...

Старик перестал улыбаться.

— Странные мы люди, — сказал он. — Когда здесь были они, они забирали все, что им нужно. Не спрашивали у нас. Для нас им было не жаль только пуль, а нам не жалко для них хлеба. Странные мы люди... Странный народ.

Он повернулся и, сгорбившись, побрел дальше. Его черный пиджак от старости и солнца был совсем серым, и только между лопатками оставался маленький кусок невыгоревшей материи — черная шестиконечная звезда.

— Тебе занять? — спросил Котька.

— Мне пора идти, — сказал я, — к Борьке.

— Кормить там будут? — спросил Вася.

Я кивнул головой.

— Везет тебе, — сказал Вася, — никогда не был на дне рождения. Не приглашают.

— Пошли вместе, — сказал я.

— Меня не пустят, — сказал Вася.

— Брось, — храбро сказал я, — скажу, что ты мой друг. А подарка хватит на двоих — полбуханки, считай, отдал. Не подарок, а роскошь. Иди одевайся.

Вася засмеялся.

— Я мигом! — крикнул он.

Я посмотрел на свои ботинки. Они были в пыли, и я помыл ботинки под краном. Потом причесался. В большом зеркале отражался клипер.

«А вдруг и правда Васю не пустят, — подумал я, — скажут, привел без спроса. Да еще на день рождения... Кто меня только за язык дернул».

Я вышел на улицу. Вася уже стоял на углу и ждал меня. На нем был песочного цвета немецкий мундир африканского экспедиционного корпуса. Мундир был по колено. И рукава тоже были закатаны чуть ли не до локтя. Над карманом красовались две планки орденских колодок.

— Ну как? — спросил Вася. Он был так занят самим собой, что не обратил внимания на клипер — наш подарок.

— Да ничего, — сказал я, оглядывая его с ног до головы, — подходяще одет. Помой только ботинки.

— Боюсь, что Борькина мать меня выгонит, — сказал Вася, когда у колонки помыл ботинки. — И штанов у меня новых нема, эти вон все в латках.

— В заплатках, — поправил его я.

— А, один черт! — махнул он рукой.

— Ладно, пошли, — сказал я.

Вечерело. Под ногами едва шевелились длинные узорчатые тени от акаций. Весной запах цветущих акаций смешивался с горьковатым запахом ромашки, желтые глазки которой выглядывали чуть ли не из-под каждого камня в развалинах. Буйно зарастали дикой ромашкой развалины, а цветущие кроны акаций над серыми осыпающимися стенами казались белыми тугими парусами. Неслись в весенней голубизне наши парусники, а мы сидели на ветках, словно марсовые на вантах, и поедали сочные ароматные цветы, а редкие прохожие кричали нам снизу:

— Изверги! Зачем последнюю красоту губите?!

Уже давно отцвели акации и пожухли ромашки. Знойное выдалось это лето. Весь июль и август палило насмерть. Даже выносливый кустарник волчьих ягод, которым заросли стены Пятого бастиона, побурел, не дожидаясь холодных дней осени.

В Борькином доме на Пироговке мы поднялись на третий этаж, и я громко постучал в крашеную дверь. Послышались шаги, и сердце мое сжалось. Я протянул Васе клипер:

— Держи.

Открыла нам Борькина мать. Отступать было поздно. Я подтолкнул Васю вперед.

— Это мой друг Вася, — сказал я. — Он круглый сирота.

Вася стоял красный и смотрел в пол.

— Заходи, Вася, — сказала Борькина мать.

Из комнаты слышались звуки «Розамунды». Дверь отворилась, и показался Борька. Он был в белой рубашке и в пионерском

галстуке. Увидев клипер, он свистнул от удивления:

— Ого! Вот это фрегат.

— Боря! — мать укоризненно посмотрела на сына. — Кто это свистит в комнате?

Борька вертел подарок в руках.

— Ну фрегат!

— Клипер, — сказал я.

— Ну, клипер! Жаль только, что пушек нет.

— Сделаем, — сказал я шепотом, — как самопалы. Медная трубка, дырочку напильником, набьем порохом, дробинку, запал, такой морской бой будет — ахнешь!

— А если взорвется? — сказал Борька и побледнел. — Знаешь, он и без пушек хорош.

— Твое дело, — я пожал плечами.

Мы вошли в комнату. С одной стороны дивана сидели две девочки, с другой — толстощекий мальчик. Какой-то мясокомбинат в курточке.

— Здравствуйте, — сказал Вася и поклонился.

Девочки захихикали.

— Вы такой заслуженный, — сказала одна с розовым бантом, — у вас столько орденов.

— Чего ты кланяешься этим дурам? — шепнул я ему на ухо.

Вася стоял красный и улыбался. Нашел, кому улыбаться. Воображулям каким-то.

— Вот это корвет! — сказал «мясокомбинат». — Дай подержать.

— Сломаешь, — сказал Борька.

— Витя, — сказал «мясокомбинат» и протянул мне руку.

— А на каком фронте вы воевали? — не унималась зануда.

— У нас у всех есть, — сказал Вася, — скажи им.

— Да, — сказал я, — у всех.

Мы и правда все носили орденские колодки.

— Ах-ах-ах, — сказала зануда.

Витя прыснул. Я посмотрел на него. Витя перестал ухмыляться. Вторая девочка тоже не смеялась. У нее были большие серые глаза и косы. Я посмотрел на свои старые брюки и на ботинки, добела сбитые каучуковым мячом, и разозлился на себя. И у Вити, и у Борьки были черные блестящие ботинки и брючки из черного офицерского сукна. Засунув руки в карманы, я отошел к книжному шкафу и стал рассматривать корешки книг.

Я любил книги. Раз в неделю я приходил в детскую городскую библиотеку на Приморском бульваре и клеил там старые книги. Книг было очень мало, так мало, что вся библиотека помещалась в будке киномеханика. Старая сгорбленная библиотекарша ставила передо мной стопку потрепанных книг, которые приходилось собирать по страничкам, клей, ножницы, бумагу, и часа два я клеил их внимательно и осторожно.

Зато после я мог брать на полке любую книгу: «Графа Монте-Кристо», «Королеву Марго» и «Всадника без головы» — как раз те, которые выдавали далеко не каждому.

У Бориса на полке стояли книги, которые я никогда не читал, и я подумал, что обязательно попрошу у него что-либо, когда скрипнула дверь и в комнату вошел высокий моряк с одной широкой желтой полоской на рукаве.

Слегка прихрамывая, он подошел к Васе и, протянув руку, стал знакомиться. Звали его Сергей Алексеевич.

— А это Гена, — сказал Борька, указывая ему на меня и называя ему мою фамилию.

— Постой, постой, — сказал Сергей Алексеевич, поворачивая меня к свету. — Ну, конечно, дохож... И нос и глаза, как у Георгия. Та же порода, я ведь не ошибся, Георгий Осипов — твой дядя?

— Верно, — сказал я и улыбнулся, — это мой дядя. Но мы ничего о нем не знаем.

— Как ничего?! Совсем ничего? — спросил он и нахмурился.

— Совершенно ничего, — сказал я. — Дали запрос в военкомат, но нам пока ничего не ответили.

— Я сам писал рапорт, — глухо сказал он, — Георгий был моим другом, я сам писал рапорт начальнику штаба бригады.

«Ну конечно, — подумал я. — Конечно, был... это обязательное был...» Я почувствовал, как судорога сводит мои скулы.

— Дети! Мыть руки — и к столу! — крикнула Борькина мать. — Давайте дружно в ванную!..

— ...его смерть...

Я слышал его слухой голос и представлял себе бабушкино лицо... Ведь она еще верила, еще надеялась, еще ждала... «Это ошибка, — подумал я, — ведь мы не получили извещения... Сергей Алексеевич ошибся?»

— Вы... вы ошиблись, — сказал я, — мы не получили извещения.

— Нет, я не ошибся. Это произошло здесь, под Севастополем, двадцать третьего декабря сорок первого года. Семнадцатого декабря немцы пошли на второй штурм в районе Мекензи. Эсэсовцы скинули шинели, чтобы надеть их после штурма в Севастополе. Они даже объявили на весь мир, что встретят в Севастополе Новый год. Ты знаешь, что этого не случилось. Те, кто погиб в декабрьские дни, своими телами заслонили от врага Севастополь.

— О чем вы здесь, такие серьезные? Сегодня все должны быть веселыми, — подходя к нам, сказала Борькина мать.

— Да вот, в семье Георгия никто не знал о его смерти. Извещение не дошло.

Она погладила меня по голове, как маленького. В комнату с шумом возвращались ребята.

— Я пойду, — сказал я тихо и встал.

Сергей Алексеевич кивнул:

— Завтра я буду у вас.

— Да, — сказал я, — приходите.

В коридоре меня ждал Вася.

— Может, мне снять колодки? — краснея, спросил он.

— Брось, — сказал я, — у зануды банты, у тебя колодки.

— Точно, — сказал Вася, — у меня колодки.

Я подождал, когда он войдет в комнату, и открыл дверь на лестницу. По-прежнему за моей спиной играла трофейная пластинка на немецком языке — «Розамунда»...

И вот, сидя в машине Манфреда, я будто вновь услышал ту пластинку — бодрящие звуки чешской польки, которую Третий рейх присвоил себе вместе с Чехословакией и которую так любили распевать немецкие солдаты, скорее всего, даже не предполагая, что мелодия «Розамунды» сочинена славянином. В голове звучала эта мелодия, а я думал, кто знает, может быть, да вполне это может быть, что и отец Манфреда, и девятнадцатилетний главстаршина Георгий Осипов из 79-й бригады морской пехоты погибли в одном бою, может быть, один из них застрелил другого.

Наверное, и Манфред думал о том же. Он хмуро вел свой «фольксваген» и молчал. Кого-то мне он чертовски напоминал — белокурые, чуть вьющиеся волосы, впалые щеки, крепкий подбородок и с небольшой горбинкой нос... Кого?.. И вдруг до меня дошло, на кого же он так похож. На Леку он был похож, на одноногого Леку... Я покосился на Манфреда — да, сходство было поразительным. «Вот же как бывает», — подумал я, вспоминая день, когда мне довелось побывать у Леки дома. «Какой же это был год: сорок четвертый или сорок пятый?.. Неважно, — подумал я, — главное, что еще шла война».

Да, еще шла война, но кто-то уже додумался снять фильм, в котором был показан салют Победы в Москве. Фильм так и назывался: «В шесть часов вечера после войны». Теперь уже трудно себе представить, как вовремя это было сделано. Такой фильм был нужен как кислород ослабленному непосильными нагрузками организму. Теперь, возможно, фильм мог бы ка-

заться наивным, но тогда воздействие на зрителей было таким же сильным, как воздействие песен той военной поры, как воздействие стихотворения Константина Симонова «Жди меня».

Помню, как после фильма мы стояли на улице Ленина и, перегнувшись через решетку, смотрели, как по узкой чугунной лестнице из глубокого подземелья — бомбоубежища, превращенного в городской кинотеатр «Красный Луч», — поднимались люди, которые только что смогли увидеть то, чего еще не было,— Победу. Они словно уже побывали в будущем, среди ликующей толпы. Надо было видеть эти лица, эти затуманенные счастьем глаза, эти улыбки на изможденных лицах! Даже после знаменитых кинокомедий с участием Михаила Жарова, Игоря Ильинского и Петра Алейникова лица людей были иными, не было в них такого внутреннего света, такой тихой радости.

Но мы стояли не потому, что изучали лица людей, посмотревших фильм «В шесть часов вечера после войны», мы просто ждали Котьку.

Котька вышел из кинотеатра последним. Он шмыгал носом.

— Чего это ты? — спросил Гешка и пожал плечами. — Смотри как растрогался.

На кончике Котькиного греческого носа висела мутная капля. Он снова шмыгнул носом, стараясь ее загнать внутрь, но из этого ничего не вышло.

— Ничего не растрогался. Просто у меня в кино стащили кепку.

— Кто стащил?

— Не знаю, — сказал Котька. — Я смотрел кино. Я только сейчас увидел, что ее нет.

Котька боялся своей бабки Яки. Она ему подарила кепку, а теперь ее украли. Котьку можно было не утешать — все ребята знали, что такое Яка. Она сожгла наш кирзовый мяч, который случайно перелетел через стенку к ней во двор. Она сожгла мяч Шурки Цубана да еще дала по шее Котьке. Лучшему нападающему нашей команды!

— Ясно! — сказал Гешка. — Подались за мной.

И он вдруг пошел в другую сторону от дома. Мы с Котькой пошли за ним.

— Может быть, придется драться, — сказал Гешка. Я вздохнул. У меня болела голова. Мне хотелось домой. Но делать было нечего. Я нагнулся и поднял с земли камень.

— Выбрось, — сказал Гешка, — а то нам не уйти.

Я нехотя выбросил.

— Будете оборонять меня с тыла, — говорил он, не останавливаясь. — Бейте, если что, ногами и не забывайте, что длинных хорошо брать на головку. Или в живот, или в зубы.

Он вел нас к Владимирскому собору, в склепах которого были похоронены адмиралы Лазарев, Нахимов, Корнилов и Истомин.

Мы обошли собор и у стенки увидели всю банду хромого Леки, и сам он стоял у стенки, прислонившись к ней спиной, а его костыль стоял рядом.

У меня похолодело внутри. С кем, с кем, а с ним драться не стоило. По вечерам вся эта банда с криком проходила по нашей улице, провожая домой Леку. В небо летели ракеты, пущенные из рогаток, а под стены домов — дымовые шашки. Ракеты сыпались на дорогу, как падающие звездочки, и улица заволакивалась пахучим дымом. Они вообще любили пошуметь, нагнать страха. Они не боялись таскать в карманах запалы, мешочки с порохом, тол. Заналят в развалке костер, а потом все это бросят в огонь и спрячутся за камни. Ни черта они не боялись. Ничего и никого. Только Леку, своего одноногого атамана, слушались беспрекословно.

И вот теперь мы подходили к ним. Мне было страшно, но отступать было поздно.

Впереди шел Гешка, засунув руки в карманы. Лека безразлично смотрел на нас.

Ему и в голову не приходило, что кто-то осмелится с ними драться. Это было смешно.

Гешка подошел к нему вплотную. Он стал так близко, что все остальные оказались дальше. Их было шестеро, кроме Леки, и все старше нас с Котькой. Белобрысый Кугут сидел под стенкой и курил папиросу «Казбек». На прошлой неделе он отнял у нас обрез, и хотя он был один, а нас пятеро, мы не посмели и пикнуть. Если бы с нами был Гешка! Кугут боялся Гешки.

Гешка посмотрел на Леку. Лека задумчиво смотрел на него.

— Ему надо отдать кепку, — спокойно сказал Гешка и кивнул в сторону Котьки.

— Какую кепку? — сказал Лека. — Что ты выдумал?

— Кепку, — сказал Гешка.

Кугут поднял голову.

— Двигай отсюда, — сказал он, — пока у нас хорошее настроение.

Похоже, что он говорил правду. Пора было двигать.

— Ну ладно, — сказал Гешка, — я предупредил по-хорошему.

И вдруг он, быстро схватив Леку за грудь, поменялся с ним местами.

Теперь он стоял спиной к стене, и перед ним на единственной ноге стоял Лека. Он не падал только потому, что Гешка держал его одной рукой, а другая была занесена для удара.

— Я сейчас двину тебе. Потом я тебе не завидую, — сказал Гешка.

Кугут вскочил на ноги.

— Стоять! — крикнул Гешка. — Раз... — И он вывел Леку из состояния равновесия.

Кугут застыл на месте.

— Я уложу его, а потом его костылем уложу вас, — сказал Гешка. Мы встали с ним рядом.

— Кугут, отдай ему кепку, — процедил Лека.

— Иди возьми, — сказал Гешка.

— Выбирай, — сказал Кугут, вытаскивая из-за пазухи кучу кепок. Котька взял свою.

— Пока, — сказал Гешка и поставил Леку на место. Лека улыбнулся:

— А у тебя это неплохо получилось.

Гешка тоже улыбнулся.

— Пошли, — сказал он.

— Ну, попадись нам! — крикнул Кугут.

— Заткнись, — сказал Лека.

Мы спустились с Владимирской горки. Я задыхался от незнакомого мне чувства гордости. Мы их победили, думал я, победили! Жаль, что никто не видел нашей победы.

— Здорово ты этого вора разделал, — сказал я, глядя на Гешку. Гешка остановился.

— Вора, — повторил он и посмотрел на меня. Он смотрел на меня, и я понял, что сказал что-то не то.

— Вора, — сказал он еще раз и вздохнул. — Ты видел, как он живет?

Я отрицательно мотнул головой.

— Сегодня вечером пойдем, посмотришь, — сказал он.

...Лека жил недалеко от стадиона. Мы прошли через отверстие в стене, над которым красной краской было написано:

Мин нет.
Проверил сержант Еремеев. 15.05.44.

Гешка шел впереди, я за ним. Стены дома сохранились, и на них еще держалась побеленная штукатурка.

— Вот здесь их и накрыло, — шепотом сказал мне Гешка, — его мать, отца, бабку. А ему оторвало ногу. Еще в сорок первом.

У одной стены стояли ржавые остатки кровати. В углу торчала ручка самоката. Лекиного самоката. Она торчала из-под земли и камней, и, наверное, самокат можно было откопать.

— Это была небольшая бомба, — сказал Гешка, — просто прямое попадание.

Мы вошли во двор. За кустами стояло что-то вроде сарая. Какая-то халабуда, сложенная без глины. Дверь была открыта, но вход был завешен немецким мешком.

— Можно? — крикнул Гешка.

— Заходи, — донеслось изнутри, и мы вошли.

Лека лежал на кровати, подложив руку под голову, и курил. На днище перевернутой бочки лежал кусок хлеба и в бумаге хамса. На земле стояло ведро с водой.

Гешка подошел и сел на кровать, я — на табуретку возле бочки.

Лека покосился в нашу сторону, но продолжал пускать дым. Потом спросил:

— Шамать хотите?

Гешка качнул головой.

— Ну как хотите, — сказал Лека, — а я еще не обедал.

Он тяжело поднялся и сел, облокотившись на бочку. Отломил по куску хлеба и подвинул нам.

— Давай, пацан, — сказал он, глядя на меня, — хамсу ешь. А то страху натерпелся, до сих пор бледный.

— Я-то... — протянул я растерянно, немного хорохорясь.

Он улыбнулся. У него было худое и, наверное, красивое лицо. Белые ровные зубы и печальная улыбка.

— Все равно молодец, — сказал он, — стоял трясся, а не бросил его.

— Пропадешь ведь, — сказал Гешка.

Лека перестал жевать и снова откинулся на кровать. Он смотрел в потолок остановившимися глазами и молчал.

Мы тоже молчали.

— Я до войны мечтал быть моряком... Как отец... А теперь у меня нога чешется! Та, которой нет... — Было слышно, как тяжело и судорожно он дышит. Наконец ему удалось перевести дыхание. — Сегодня пацаны кепок понатаскали. Ты думаешь, это много? Три кепки мне досталось. Надо бы теперь их загнать, а загонять неохота. Разве только что жрать... Это мне всегда охота.

Он чиркнул зажигалкой и прикурил потухший «бычок».

— Заберут, хуже не будет, — сказал он, затягиваясь.

— Говорят, что протезы... — начал Гешка.

— Говорят, что в Москве кур доят, — отрезал Лека. — Вон сколько инвалидов без протез, на костылях скачут да на тележках гоняют... Думать надо, думать — кто сейчас протезы будет делать, сейчас снаряды надо делать, танки, самолеты... Скажешь тоже — протезы...

Гешка растерянно молчал. Потом поднялся и, ткнув меня в затылок, сказал:

— Ладно, Лека, мы пошли.

Лека усмехнулся и подмигнул.

— Учти, на тебя теперь Кугут зуб имеет. Один-то он сдрейфит, но втроем-вчетвером они тебя подловят.

— Как-нибудь, — проговорил Гешка.— А этому фраеру лучше скажи, чтобы не рыпался. Я ведь, если он это сделает, буду лупить его каждый божий день, с утра до вечера, ты меня, Лека, знаешь.

— Знаю, — сказал Лека, — потому Кугуту не завидую. Ну будь.

— Будь, — сказал Гешка.

Я тоже попрощался. А потом мы шли домой и молчали. И так нам было жаль Леку, что горло перехватывало. Без матери, без отца, без бабушки — один, совершенно один в своей халабуде...

Потом его арестовали, и он исчез. Как сложилась его дальнейшая судьба, что с ним стало, — этого я не знал. О Манфреде, о его немецком двойнике, я теперь знал гораздо больше. Человек, который нас познакомил, сказал: «Вам будет о чем поговорить». «Наверное», — подумал я, зная, что Манфред — автор популярных политических песен и нескольких политических фильмов, один из которых был награжден главным призом на каком-то международном фестивале документального кино. В день нашего знакомства Манфред спросил, что бы я хотел увидеть в Берлине. Я ответил. Он кивнул, мы сели в его машину и очутились перед пустырем. Теперь он вез меня в Цецилиенхоф, где было подписано Потсдамское соглашение.

— Когда ваши брали Берлин, мы спрятались в подвале, — вдруг проговорил он, не отрывая взгляда от серой ленты бетона. — Мать, я и младшая сестренка. На мне были короткие штанишки, которые застегивались под коленками, и гольфы. У сестренки в руках была кукла. Нам сказали, когда русские войдут, вас всех погрузят в вагоны для скота и отправят в Сибирь. Солдаты сражаются, чтобы этого не случилось. Когда мы вышли из подвала, чтобы идти домой, то увидели: на месте нашей квартиры зияет дыра — туда угодил снаряд. Когда мы уходили, там была еда, а теперь у нас ничего не было. Мать решила отвести нас к своей сестре, которая жила в двух кварталах от нас, а потом уже вместе с ней вернуться и посмотреть, что там — в квартире. Мы шли по улице среди обгорелых руин и груд кирпича. Я шел и думал, что первые же русские солдаты нас схватят и отправят в жуткую Сибирь. Мы дошли до площади и увидели русские танки. Они стояли с заглушенными моторами. Бой гремел уже в центре, наверное, у Александерплац или у рейхстага. Когда мы сидели в подвале, на улице работал громкоговоритель и мы слышали голос Геббельса. Он говорил, чтобы солдаты держались, на подмогу уже идет армия Венка. Он требовал не отчаиваться, а мужественно бить врага. Он уверял, что Берлин был, есть и будет немецким. А русские танки уже стояли на площади, и на противоположном углу мы увидели группу женщин, детей и стариков. Наверное, подумал я, это те, кого уже схватили, чтобы отправить в Сибирь. Я понял, что мы влипли, и испугался. Сам бы я еще успел убежать, шмыгнул бы в первую руину, и никто бы меня не поймал. Но тогда бы я предал мать и сестренку. И я решил: будь что будет. «Смотрите, — сказала мама, — там кормят людей». И правда, люди тянулись к солдатской полевой кухне. У нас в сумке лежала небольшая кастрюля и ложки, потому что мама брала в подвал для нас еду из горохового концентрата. Мы подошли и стали в очередь, очень хотелось есть. Мама держала кастрюлю. Солдат наложил в нее три черпака какой-то каши. Потом взглянул на нас и добавил еще две. Мы отошли в сторонку, сели на камни и стали есть. Это была гречневая каша с мясной тушенкой. Сестренка Лизхен сразу же набила полный рот и теперь не знала, как проглотить. Мама рассмеялась. Я давно не видел, чтобы она смеялась. А тут она рассмеялась и сказала: «Лизхен, разве так едят воспитанные дети. Что подумают о немецких девочках русские, когда увидят, как ты ешь?!»

Я приготовился слушать дальше, но Манфред так же внезапно замолк, как и начал свой рассказ. И мы опять некоторое время ехали молча. Был уже конец октября, но казалось, что наступило бабье лето. А может быть, у них здесь вообще так было заведено в природе: бабье лето выпадало на октябрь.

«Этот парень тоже хлебнул горя», — подумал я. И тут же вспомнил, что было сказано в приказе немецкого коменданта в Севастополе, и строки из приказа № 1 советского коменданта в Берлине, где говорилось: «Комендантам всех районов города Берлина обеспечить нужды лечебных учреждений, в том числе продовольствием, водой и топливом для роддомов, больниц и клиник, выделить из состава гуртовых дойных коров для обеспечения свежим молоком. Обеспечить квартирами престарелых и неработоспособных, выдать паек населению на пять суток вперед».

Разве можно было сравнить то, что творилось в Севастополе, с тем, что происходило в Берлине?! Берлинцев не только стали бесплатно кормить с первых же часов, но уже в мае через две недели после штурма рейхстага, всего через две недели, в Берлине открыли театры, кинотеатры, заработало радио, стали выпускать газету на немецком языке. А главное — на берлинцев не

устраивали облавы, не загоняли в душегубки, не сжигали огнеметами, не топили в море и не отправляли восстанавливать наши разрушенные города. Им не стали мстить, хотя, когда армия освобождала наши порушенные и изгаженные города, каждый раз бойцы давали клятву отомстить за поруганную Родину. А вот пришли в Германию и стали кормить немцев, в то время как на Родине каждый второй ребенок страдал той или иной степенью дистрофии.

Я вспомнил, как в сорок шестом — в год страшной засухи — люди стали умирать. Я никогда не забуду этого парня. Когда он постучался в калитку и я открыл ее, я подумал, что он пьян — он шатался. «Мамаша, — сказал он, обращаясь к бабушке. — Поверьте, мне стыдно у вас просить, но хотя бы чего-нибудь. Хотя бы картофельных очисток». Бабушка сразу все поняла. «Иди, я покормлю тебя», — сказала бабушка. «Нет, — сказал он, — вы дайте мне чего-нибудь в баночку, мне еще нужно покормить братишку. Мы погорельцы, родители уже умерли». Я тогда не знал, что деревне пришлось хуже, чем нам, горожанам. Мы хоть что-то получали по карточкам, они же кормились тем, что давала земля. Бабушка вылила в банку весь борщ из кастрюли. Он взял эту банку дрожащими руками. Два ломтика хлеба он положил в карман. И заплакал. «Мне стыдно», — сказал он. «Это голод», — сказала бабушка, на глазах у нее тоже стояли слезы.

Этот парень ушел, но я его увидел снова. Увидел, когда через полчаса вышел на улицу. Я увидел, что он сидит под стеной. Я подошел к нему. Между ног у него стояла наполовину опорожненная банка, он как бы лежал на стене, глаза были закрыты. Я сразу понял, что здесь что-то не так. И побежал за бабушкой. Бабушка подбежала к парню. «Сынок, — позвала она и положила руку ему на голову. — Сынок, очнись...» Она думала, что у него голодный обморок, но он уже был мертв. И когда это дошло до бабушки, она сказала: «Сбегай в больницу, скажи, умер на улице человек, пусть катафалку пришлют». И я пошел в больницу, пораженный этой мгновенной смертью от голода. Я привык, что люди умирали от бомб, от снарядов, от пуль, но как умирают от голода, я видел впервые.

А потом покончила с собой мать Киндера...

У нее их было двое — Юрка, шестилетний пацан, и Леня, к которому напрочь прилипла кличка Киндер. Эта кличка так к нему прилипла, что мы даже никогда не называли его по имени, мы просто забыли, как его зовут, и о том, что немецкое «киндер» в переводе означает «ребенок», мы тоже забыли. Его отец в войну пропал без вести. Не помню, получала ли мать на них пенсию. На нас с братом мама получала двести семьдесят рублей, в сорок шестом буханка хлеба на базаре стоила двести. Мать у Киндера постоянно болела. Она не могла работать, она была лежачей больной. Юрка стоял с котомкой у магазина, просил подаяние. Киндер слонялся по базару, пытался подработать — где ялики помоет и получит от владельца рыбы, где что поднесет, где украдет. У нас был уговор — все довески отдавать Юрке. Кое-что ему перепадало и от других. Этот хлеб Киндер потом продавал на базаре, вернее, то, что они получали по карточкам, а довесками они питались сами. На все, что ему удавалось заработать, он и кормил семью.

И вот разнесся слух, что когда он был на базаре, а Юрка, как всегда, стоял у магазина, их мать ушла из жизни. Она оставила записку, что больше не в силах видеть, как живут ее дети. Она им только обуза. Ей стыдно, что она обрекла их на нищенство. «Когда меня не будет, — писала она, — детей заберут в детдом и тогда государство о них позаботится, они закончат школу, пойдут учиться дальше».

Я это запомнил. Запомнил, что она не пожелала быть им обузой, она освобождала их от унижений, она не хотела, чтобы они так росли. Она любила их и видела, как они любят ее. В своей судьбе она винила только войну.

Я запомнил это и запомнил, как мы ее хоронили.

Гроб стоял на столе, когда я вошел к ним, они сидели на табуретках и молча смотрели на мертвую мать. Рядом стояла кровать с немецкими мешками вместо простыней. Мешки были желтыми, их украшали черные орлы со свастиками. Такие мешки многих тогда выручали.

Я сел на кровать и тоже стал смотреть на гроб, в котором лежала женщина с очень худым лицом, которое после смерти еще более заострилось. Мне было жутко. Юрка ковырял в носу и следил за мухой, которая летала над гробом. Киндер не шевелился. Его губы были плотно сомкнуты, а грязные, в цыпках и царапинах руки неподвижно лежали на заплатанных штанах.

Постепенно собрались все наши и сели на кровать рядом со мной. Стали заходить женщины, соседки.

Вошел одноногий дед Тарас — утильщик. У него был маленький ослик и маленькая тележка, и он ездил по развалинам и собирал утиль. Он накрыл гроб крышкой.

— А ну, пацаны, — сказал он, обращаясь к нам, — берите гроб и ставьте на мою тележку.

Мы все сделали, как он велел. Он взял ослика под уздцы и, ковыляя, пошел рядом. Мы выстроились сзади.

По дороге к нам присоединились несколько старушек и пацанов с Шестой Бастионной.

Когда мы вышли на шоссе и стали спускаться под уклон, мы увидели, что навстречу поднимается колонна пленных. Когда мы поравнялись с головой колонны, конвоиры остановили немцев и развернули их лицом к дороге. Теперь мы шли вдоль серо-зеленой стены, но кое-где черными пятнами выделялись бывшие эсэсовцы. Пленные стояли и смотрели на нашу жалкую процессию, которую возглавлял одноногий дед Тарас на деревянной, сужающейся книзу, как бутылочное горло, колобашке. Маленький ослик не торопился, да и дед Тарас быстро ходить не умел. Ему и так было туговато — шоссе-то спускалось под гору. А за гробом шли мы — оборвыши, забывшие, когда сытно поели в последний раз. Так и шли, не глядя на немцев. О чем же они думали, глядя на нас?..

На кладбище Киндер поцеловал мать в лоб, Юрка тоже. Потом Юрка заплакал. Дед Тарас нагнулся пониже, вколачивая гвозди в неструганую крышку.

Киндер молчал. Молчал он и когда мы руками бросали в яму нашу каменистую землю, и комья дробно стучали по крышке гроба, и когда насыпали маленький холмик под кипарисами, и когда уходили с кладбища. Короткие неуклюжие тени у ног утюжили пыльную, выгоревшую траву. «Траве все безразлично, — думал я, глядя под ноги, — трава не умирает. Солнце ее палит, но стоит пойти дождю, как она снова зеленеет. Трава бессмертна, умирают люди».

Манфред словно очнулся.

— Русскому языку я научился от ваших солдат, — сказал он. — Я подружился с ними. Я очень быстро понял, что это очень добрые люди. Мы ютились у тетки рядом с вашим гарнизоном. Тетка была молодая, она даже ходила танцевать с вашими офицерами. В те годы я понял кое-что такое, из чего... как это по-русски... стало мое убеждение. Человек с его убеждениями формируется не на пустом месте. Память умирает вместе с теми, кому она принадлежит. Каждое новое поколение — это чистый, белый лист бумаги, на котором можно написать все, что угодно. Можно написать слова и ноты, например «Хорст Вессель» — залихватской песни, с которой

маршировали по улицам Баварской республики гитлеровские штурмовики. Тогда безумцев было мало, а здравомыслящих людей много. Прошло всего несколько лет, и то, что казалось безумием, стало нормой, а то, что казалось здравомыслием, стало преступлением. Преступный образ мыслей — так звучало обвинение. Я не знаю, что думал об этом мой отец, не знаю. Наци он не был, но, как и остальные, он их поддерживал. Не знаю, были ли у него угрызения совести, или их не было. В липкой патоке, которую обильно лили на Германию люди Геббельса, постепенно погрязли все, кто не оказался в тюрьмах и лагерях. Я понял, что человек — это всего лишь полая гильза, куда можно засыпать порох и вставить пулю. Человек с убеждениями уже заряжен. Мир всегда состоял и всегда будет состоять из гильз полых и гильз заряженных. Совесть, на которую уповали проповедники христианства, девальвирована. Убеждение и отсутствие убеждений — вот первый рубеж. Убеждения гуманные и убеждения негуманные — второй рубеж. На этих рубежах сегодня и сосредоточены все усилия. Идет война, а на войне как на войне... Тебя не удивляет, что я заговорил вдруг о политике?

— Нет, — сказал я, — меня это не удивляет.

— Я должен был многое понять, прежде чем взялся за съемки своего фильма. Пришлось заглянуть в предвоенное прошлое. Чемберлен и Деладье без возражений подписали в Мюнхене договор с Гитлером и Муссолини, по которому Судеты отторгались от Чехословакии и передавались Германии. Что лежало в подоплеке этой сделки? Все тот же негласный сговор против вашей страны. Ведь еще в тридцать седьмом году лорд Галифакс называл Германию бастионом Запада против большевизма. Если бы Гитлер пошел войной только против вас, как того хотел Запад, ему бы простили даже оккупацию Польши, оправдав акцию вынужденной мерой для создания непрерывной линии фронта. Вторая мировая война — это изделие западных недальновидных политиков. Не замышляй козни другому и сам в них не попадешь. Решившись воевать на два фронта, Гитлер тоже оказался недальновидным политиком. Но уже проглотив Францию и воюя с Англией, он в своем послании к солдатам попавшей в окружение шестой армии почему-то повторил слова лорда Галифакса о спасении Германией западного мира. Разве это не парадоксально?! А возьми Гиммлера. Рейхсфюрер СС не был душевнобольным человеком, когда по понтонному мосту в форме ефрейтора перешел через Эльбу, чтобы встретиться с английским фельдмаршалом Монтгомери. Он заявил, что сформировал свое правительство, что он всегда был противником войны с Англией, что он предлагает западным странам мир, чтобы продолжить войну с большевиками в интересах Запада. Не забывай, что вермахт тогда еще насчитывал более двух миллионов солдат. Гиммлер раскусил ампулу с цианистым калием, когда его подвергли обыску. К американцам явился Геринг, Гудериан, и каждый из них, заметь, тут же заявлял, что большую часть танков, самолетов они держали на Восточном фронте. Геринг даже признался, что в последние месяцы войны он не поднимал навстречу американским и английским бомбардировщикам свои истребители. Выходит, что он был соавтором этой варварской бомбардировки Дрездена — города, где не было военных целей. И опять все это делалось для того, чтобы попытаться столкнуть вас с западными союзниками... А возьми фюрера трудового фронта доктора Лея. В нюрнбергской тюрьме он писал трактат о национал-социализме, предсказывая в скором будущем союз с Америкой. «Запад всегда смотрел на Германию, как на дамбу против большевистского потока. Ныне эта дамба разрушена... Америка должна восстановить эту дамбу, если сама хочет жить», — ведь

это его слова. Я должен был все это понять, прежде чем приступить к съемкам. Фильм я снимал в Западной Германии, ходил по улицам, по кафе с микрофоном и задавал вопросы. Потом отснятый материал смонтировал с кинохроникой. После того как мне присудили за него премию, его показали на Западе.

Слушая Манфреда, я все больше проникался к нему уважением. Он не боролся за мир, он дрался за него. Дрался с риском для жизни. Однажды в зале, где он показывал свой фильм — это происходило в Западной Германии, — в него полетели пивные бутылки. Кидали парни в черных кожаных куртках. В зале завязалась драка. Он взял гитару и стал петь свои песни. Из зала неслось: «Красный ублюдок, что тебе нужно в свободном мире? Пока цел — убирайся к своим русским...» Подонков из местной неонацистской банды вышвырнули, а ему стали подпевать. Он спел песню об отце — солдате, который костлявую смерть сделал своей подружкой, бросив ради нее жену и двоих детей. Он спел песню о коварных троллях-вампирах, которые насылают на людей безумие, чтобы полакомиться горячей человеческой кровью. В этой песне были слова, что путь, которым идет немецкий народ, не был легким и не будет легким в будущем, потому что коварные тролли не дремлют. Так пусть люди, узнав о сговоре троллей, не прячутся в кусты, а бьют в набат. Пусть люди знают, что тролли не выносят пристальных взглядов, поэтому всегда, когда их встретишь, смотри им прямо в глаза.

Я слушал эти его песни, записанные на магнитофонную ленту в каком-то зале, — в ответ на его реплики слышался смех, ему подпевали и бурно аплодировали. У него был приятный баритон. И его песни были мелодичны, они были написаны в традициях «Песни о старом солдате» и «Лили Марлен». Наверное, такие песни больше всего соответствовали духу Германии с ее богатой и драматической историей, давшей миру великих мыслителей, ученых, поэтов, музыкантов и выродков, которые тянули страну на путь разбоя и грабежа.

Печально было то, что на Западе опять действовали силы, которые отнюдь не из-за ностальгии по прошлому воскрешали лики этих выродков, придавая им вполне респектабельный вид. В павильоне, который входил в ансамбль Бранденбургских ворот, седой майор пограничник показал нам кипу новеньких журналов, изъятых у западных туристов. Я перебирал журналы и не верил своим глазам: с глянцевых, сверкающих лаком обложек глядел на меня, улыбаясь, Адольф Гитлер! Набранная жирным шрифтом фраза гласила: «Он был не таким, каким его выставляют перед вами». Особенно трогательной была фотография Гитлера, окруженного детьми. На этом снимке у всех были такие счастливые лица, что никакой подписи уже не требовалось.

Красивое мужественное лицо майора выражало недоумение. Та робкая возня, которая началась по реабилитации Гитлера, постепенно переросла на Западе в настоящий бум. Ну хорошо, если бы фюрер являлся читателям только на страницах мемуаров Бальдура фон Шираха, Альберта Шпеера, гросс-адмирала Деница, Иоахима фон Риббентропа, Франца фон Папена — все эти авторы предстали перед международным судом в Нюрнберге, они были связаны с Гитлером одной ниточкой. Но ведь одна за другой стали выходить книги западногерманских, французских, американских авторов.

Книги, как и журналы, свободно продавались в магазинах, в киосках. В кинотеатрах шли фильмы, смонтированные на основе геббельсовской хроники. Такие же фильмы показывали по западногерманскому телевидению, их смотрели и взрослые и дети. Кому, спрашивается, десятилетия спустя снова стало необходимым воспевать «доблесть эсэсовцев», их танко-

вых дивизий «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», «Викинг», «Гитлерюгенд»?! Кому?.. И зачем?

Кому и зачем понадобилась эта реабилитация фашизма и фюрера? Не само же по себе все это началось, кто-то же за этим стоял. Какие-то силы, какие-то круги, какие-то идеологи, действующие по рецептам Геббельса. Казалось бы, как можно обелить Гитлера, когда существуют Освенцим, Майданек, Треблинка, Бухенвальд, Дахау с их миллионными жертвами?! А очень просто — достаточно заявить, что Гитлер, мол, не знал, что творится в концлагерях, от него это скрывали и рейхсфюрер СС Гиммлер, и Гейдрих, и Кальтенбруннер. Да это и не важно кто, главное — скрывали.

Конечно, авторы подобной неонацистской стряпни не смели публиковать подлинные документы, понимали, что вся их концепция разом рухнет, если читатель, например, познакомится с завещанием фюрера, в котором он призывал «до конца придерживаться расовых законов» и давал наказ: «Цель остается та же — завоевание земель на Востоке для германского народа».

Об этом наказе умалчивалось, но... все там же выходили журналы и книги, в которых давался портрет восточных славян до прихода германцев-норманнов: «Они не умеют ни читать, ни писать, не имеют ни малейшего представления об астрономии или математике, о медицине и инженерной технике, не знают ни философов, ни учителей морали или религии, ни каменных домов, ни храмов, ни дворцов, ни мореплавания, ни искусства литья — они приходят с пустыми руками...» Опять навязывалась немецкому обывателю мысль о неполноценности славян.

Тролли не дремали...

Люди, взгляните на небо —
Там тролли свастиками подменяют звезды!
Люди, прислушайтесь к песням —
Нет ли в них зова к реваншу?..

В зале Манфред пел по-немецки... и он же, сидя рядом в автомобиле, переводил на русский... мы мчались по шоссе в Потсдам...

Цецилиенхоф был из сказок Андерсена. Увитые зеленым плющом стены, уютные дворики, где окруженная фрейлинами принцесса целовала свинопаса, конюшни и сараи для карет... А может быть, это был дворец короля, куда однажды попала на бал Золушка...

Так выглядел Цецилиенхоф — дворец русской великой княгини, супруги германского кронпринца, которому принадлежал дворец и парк Сан-Суси.

Так выглядело место, где проходила Потсдамская, или Берлинская, конференция глав правительств СССР, США и Великобритании: И. В. Сталина, Т. Трумэна, У. Черчилля, которого 28 июля 1945 года заменил К. Эттли — лидер лейбористов, низложивших на парламентских выборах консерваторов.

День был невпускной, но Манфред еще из Берлина договорился с фрау Ильзе, стройной женщиной лет сорока в твидовом костюме. Она улыбнулась Манфреду, потом мне, и мы пожали друг другу руки.

Сначала мы вошли в маленькую угловую комнату, которая была отведена для отдыха советской делегации. Диванчики вдоль стен, стол, шкаф с книгами. Книги были из библиотеки русской княгини, я нагнулся к полке, бросился в глаза томик Некрасова.

Из этой угловой комнаты мы шагнули в исторический зал.

Я с детства видел этот зал в кино, на фотографиях. Он был такой и не такой, непропорционально или, напротив, пропорционально высокий зал воздушного замка, и посреди этого зала с дубовыми панелями стоял круглый стол.

17 июля 1945 года в 17 часов главы правительств вошли в этот зал и стали рассаживаться на свои места. Черчилль и Сталин были в военной форме, Трумэн — в строгом двубортном костюме, белая рубашка, традиционный галстук-бабочка, из нагрудного кармана выглядывал в тон галстуку платок. Маршальские погоны и Золотая Звезда Героя украшали ставший привычным китель Сталина. У Черчилля над левым карманом были приколоты две орденские планки, на воротничке слегка пожеванного френча, почти касаясь погона, красовался небольшой орденский крест.

В 17 часов 08 минут Черчилль произнес:

— Кому быть председателем на нашей конференции?

— Предлагаю президента США Трумэна, — сказал Сталин.

— Английская делегация поддерживает это предложение, — сказал Черчилль.

— Принимаю на себя председательствование на этой конференции, — сказал Трумэн.

Столь прозаичными словами началась встреча «большой тройки», знаменующая смену двух эпох. О переносе начала конференции с июня на июль ходатайствовал Гарри Трумэн. Просьба американского президента была удовлетворена, через месяц так через месяц. Лишь немногие посвященные в самой Америке знали, что Трумэн хочет явиться на конференцию «с козырной картой»: первое испытание атомной бомбы близилось к завершению. 25 апреля 1945 года военный министр США Стимсон сказал Гарри Трумэну, сменившему на посту президента внезапно умершего Франклина Рузвельта: «Если проблема должного использования этого оружия будет разрешена, мы сможем сформировать послевоенное устройство таким образом, чтобы спасти мир и нашу цивилизацию». В эти же дни о спасении западной цивилизации в бункере на Вильгельмштрассе болтали Гитлер, Геббельс и Борман.

Известно, что, отправляясь в Берлин, Трумэн воскликнул: «Если она взорвется, у меня, конечно, будет дубина для этих парней — русских и японцев». Русские были союзниками, японцы — врагами, утопившими американский флот в Пёрл-Харборе.

Соглашаясь быть председателем конференции, Гарри Трумэн уже получил условленную шифровку * об успешном взрыве атомной бомбы в пустыне штата Нью-Мексико. На фотографиях, сделанных в Цецилиенхофе, у Трумэна тонкие поджатые губы, недобро загнутые книзу, острый и тонкий нос, острое и холодное выражение глаз, круглые очки без оправы усиливают это впечатление. Если Черчилль по общему мнению похож на английского бульдога, то Трумэн напоминает какую-то надменную птицу. Он не торопится известить присутствующих о том, что 16 июля успешно испытана атомная бомба, он выжидает.

И во время заседаний, и в перерыве между ними фотокорреспонденты делают много снимков для истории. На фотографиях Трумэн занимает место в центре «большой тройки».

24 июля в 17 часов 12 минут начинается восьмое заседание глав правительств, на котором обсуждаются меры относительно признания новых правительств стран-сателлитов Германии — Италии, Болгарии, Румынии, Венгрии, Финляндии.

Этот день Гарри Трумэн выбирает, чтоб сообщить Сталину об испытании нового оружия «исключительной разрушительной силы». Трумэн жадно ждет реакции Сталина, но, к удивлению американского президента, Сталин никак не реагирует на это сообщение. Трумэн разочарован, он ожидал совсем другого.

* Текст шифровки, которую генерал Гровс отправил в Потсдам Трумэну: «Операция сделана сегодня утром. Диагноз еще неполный, но результаты представляются удовлетворительными и уже превосходят ожидания — доктор Гровс доволен».

Тринадцатое, заключительное, заседание «большой тройки» начинается 1 августа в 22 часа 40 минут.

Часы отбивают полночь прежде, чем Трумэн объявляет:

— Объявляю Берлинскую конференцию закрытой. До следующей встречи, которая, я надеюсь, будет скоро.

— Дай бог, — говорит Сталин. Из ответа ясно, что глава Советского правительства начинает сомневаться в вероятности такой встречи.

Берет слово новый премьер Великобритании Эттли. Он сначала благодарит Сталина за отличную организацию конференции, затем произносит:

— Я хотел бы выразить надежду, что эта конференция окажется важной вехой на пути, по которому три наших народа идут вместе к прочному миру, и что дружба между нами тремя, которые встретились здесь, будет прочной и продолжительной.

— Это и наше желание, — говорит Сталин.

— Я благодарю вас за доброе сотрудничество в разрешении всех важных вопросов, — говорит американский президент.

— Конференцию можно, пожалуй, назвать удачной, — говорит Сталин.

— Объявляю Берлинскую конференцию закрытой, — торжественно объявляет Трумэн.

Часы показывают 00 часов 30 минут. 2 августа 1945 года.

Больше никогда уже главы трех правительств не соберутся вместе за одним столом.

Покидая Потсдам, Черчилль, возможно, уже продумывал содержание своей речи, которую он произнесет в американском городе Фултоне, это и будет началом «холодной войны».

Покидая Потсдам, Трумэн уже мог назвать японские города, обреченные на атомное уничтожение.

В Хиросиме и Нагасаки люди просыпались с восходом солнца, шли на работу, завтракали, обедали, ужинали, возвращались с работы, ложились спать. Школьники посещали школы. Молодые люди влюблялись. Женщины рожали. Врачи делали операции. Жизнь людей, далеких от войны, шла своим чередом.

Через четыре дня, всего через четыре дня поднявшийся над Хиросимой атомный гриб возвестит всему миру, что отныне милосердия более не существует, ибо милосердие и оружие массового уничтожения не совместимы.

Часы в Хиросиме остановились 6 августа 1945 года в 8 часов 15 минут, показывая время, когда это произошло.

И уже навсегда:

Страна, сбросившая первую атомную бомбу: США.

Самолет: бомбардировщик «В-29», бортовой номер 82, бортовая надпись: ЭНОЛА ГЭЙ *.

Экипаж летающей крепости: 12 человек.

Население Хиросимы: 255 200 человек.

Убито: 78 753 человека.

Пропало без вести: 13 983 человека.

Поражено излучением: 37 424 человека.

Вес атомной бомбы: менее 5 тонн.

Мощность заряда: 12 500 тонн тротила.

Когда президент США Гарри Трумэн в последний раз переступил порог зала в Цецилиенхофе, он уже с нетерпением ждал этого дня и этих жертв.

* У американских пилотов была традиция своим самолетам давать имена. Энола Гэй — это имя матери полковника Тиббэтса, командира 509-го авиаполка, который пилотировал самолет с бомбой на Хиросиму.

В его власти было не допустить атомной бомбардировки Хиросимы. И Нагасаки.

И люди остались бы живы...

Президент Трумэн ведал, что творил. 15 июня 1945 года военному министру США Стимсону был вручен меморандум группы американских физиков, составленный по инициативе лауреата Нобелевской премии Джеймса Франка.

«Мы считаем своим долгом, — было сказано в нем, — выступить с призывом не применять атомной бомбы для удара по Японии. Если Соединенные Штаты первыми обрушат на человечество это слепое оружие уничтожения, они лишатся поддержки мировой общественности, ускорят гонку вооружений и сорвут возможность договориться о международном соглашении относительно контроля над подобным оружием».

У президента еще было достаточно времени поразмышлять над высказанными соображениями. Тем более что эти люди были из числа создателей бомбы. Патриоты Америки. С ними легко было встретиться, еще раз обсудить все последствия атомной бомбардировки, прежде чем принять окончательное решение.

Они этого ждали...

Его не посадили на скамью подсудимых рядом с Герингом в Нюрнберге. И не предали анафеме в Ватикане. Его даже не мучили угрызения совести. Он тщательно, даже слишком тщательно одевался и с лучезарной улыбкой позировал фотографам.

Подозреваю, что он был троллем.

Он просто не мог быть человеком — таким же, как и те, что испарились на мосту Айои в Хиросиме, оставив на камнях свои тени.

ШОКОЛАД

Мы играли в футбол, когда на площади Щорса показались американцы. Мяч мы вырезали из гусеничной резины подбитого «тигра». Танк мы нашли на кладбище в густых зарослях сирени, куда он влетел, не разбирая дороги, прямо по могилам.

Мяч получился тяжелым и твердым, как камень. Сначала он жутко отбивал ногу, но потом мы стали привыкать, а когда уже совсем привыкли, появились эти американцы. Трое офицеров в морской форме.

Мы еще утром знали, что в бухте стоит американский сухогруз, который пришел к нам, потому что в Ялте началась конференция. Говорили, что на эту конференцию Рузвельта и Черчилля везли через наш город, чтобы показать им, как он разрушен.

Они ездили по городу как раз в то время, когда мы сидели на уроках. Учились мы в бомбоубежище под школой, потому что нашу школу разбомбило — остались лишь обгоревшие стены и засыпанные штукатуркой и стеклом лестничные площадки до второго этажа.

Мы с Котькой Греком сидели на кирпичах, и вместо парт у нас тоже были кирпичи, а у некоторых были столы и стулья. У нас тоже раньше был стол на двоих и два стула. Стол притащил я, стулья — Котька. У нас были самые шикарные стулья в классе, и все нам завидовали. Но в один прекрасный день кто-то стащил наш стол и наши стулья, и с тех пор мы с Котькой сидели на кирпичах. Котькина бабушка Яка тогда очень рассердилась и пошла в учительскую проверять, не поставили ли их туда или к директору. Но в учительской стульев не было, а к директору она не пошла.

Мы сидели с Котькой на кирпичах и играли в морской бой, когда Марья Ивановна, наша учительница, сказала:

— Дети, завтра придите все нарядные, наденьте самое лучшее. Вы знаете, что

в нашем городе сейчас высокие гости, и не исключена возможность, что они придут к нам. Ведь наша школа была самой большой в городе.

Мы пришли с Котькой домой, и я сказал бабушке, что к нам завтра приедут высокие гости и пусть она оденет меня получше.

Бабушка сказала:

— Ждите, больше им нечего делать, как к вам в гости приезжать.

Ее тон меня обидел. А когда она увидела, что я обиделся, она приготовила мне белую рубашку и выгладила брюки, но никто к нам так и не приехал. Учительница сказала, что они уехали в Ялту на конференцию.

А на следующее утро ко мне прибежал Котька Грек и заорал, что пришел огромный «американец», и мы с ним побежали на бульвар, чтобы рассмотреть американский пароход. Он был огромен. А между берегом и судном курсировали амфибии, груженные какими-то ящиками. Американские матросы весело смеялись, глядя на нас, и махали нам руками.

Мы, конечно, очень удивились, когда вдруг эти американцы притопали к нам.

Мы тут все сразу стали форсить, особенно Котька. Он так всех обводил, что у меня созрело решение сделать его капитаном команды. Вот уже две недели капитаном был я, но сегодня Котька играл почище меня.

Даже Киндер старался. Он бегал, как чудик, и все время терял правую тапочку. Тапочки были брезентовые, на негнущейся подошве, вырезанной из старых автомобильных покрышек.

Киндер возвращался за тапочкой и натягивал ее на синюю в цыпках и царапинах ногу.

Они тогда еще были вместе: Леня, Юрка и их мама, бледная худая женщина. Мы знали, что она очень больна.

Я уже говорил, что каждое утро Юрка стоял возле магазина и ждал, когда мы отдадим ему мягкие, липкие, теплые и очень, очень вкусные кусочки хлеба. Дома считалось, что мы их съели по дороге. Все собранное за день Киндер относил на базар и менял там на мясо, или на крупу, или на американский комбижир, а потом шел домой, топил плиту и готовил обед.

Часто матери становилось так худо, что он сам и кормил ее, совсем как маленькую, из ложечки. Покормив мать, Киндер приходил к магазину и устраивал Юрке нагоняй, потому что Юрка, вместо того чтобы стоять и ждать, когда мы отдадим ему свои довески, гонялся за собаками, и сделанная из мешковины сумка развевалась за его спиной, как флаг.

Обычно после очереди мы тащились ловить рыбу или крабов. Киндер шел с нами. Он не брезговал ничем, даже зеленухами, только бесчешуйчатых, покрытых слизью «собак» он со злостью бил о камни.

В холодное время мы ходили на свалку или на кладбище охотиться на пичуг из рогаток, и, если нам удавалось подбить что-нибудь, мы отдавали птиц Киндеру. В такие дни он часто смеялся, подмигивал и похлопывал себя по животу, который почему-то у него был побольше наших, хотя сам он был тощий, как хамса.

Когда Котька забил гол, союзники захлопали в ладоши, а самый длинный американец поманил нас к себе. Он показал на какую-то коричневую коробку и сказал, что это шоколад. Как-то моряки угощали меня шоколадом, маленьким коричневым кусочком, который тут же растаял во рту. Другие забыли его вкус — это уж точно. Жереб даже спросил у меня, что вкуснее: виноград или шоколад. Тоже мне, нашел, что сравнивать!

— Виноград — это виноград, — сказал я. — А шоколад — это... это...

— Конфета, — подсказал мне Котька.

— Какая конфета! — Я рассмеялся. Чудак этот Котька, нашел конфету, умора, да и только!

— Конфета — это конфета. Подушечка, например, леденец, — сказал я. —

А вот шоколад — это шоколад. Это... — Я поцеловал кончики пальцев и закатил глаза. — Вот что такое шоколад!

— Да-а-а... — протянул Котька в задумчивости. Было похоже, что на этот раз он все понял.

И вот теперь мы, как загипнотизированные, смотрели на толстую коричневую плитку, которая плавала перед нашими глазами по воздуху то влево, то вправо.

— Шоколад! — повторил американец и, отойдя на некоторое расстояние, вытащил из чехла кинокамеру.

— Нас будут фотографировать, — сказал Котька и попытался прилизать свой чуб.

— Зачем? — спросил я.

— Так надо, — авторитетно сказал Котька. Ему было виднее.

Длинный офицер присел, навел на нас кинокамеру и кинул плитку. Плитка взлетела вверх и, кувыркаясь, упала на землю. Меня немного удивило, зачем он ее кинул, а не протянул нам, но когда Киндер подбил ее ногой, я все понял. Они думали, что мы вцепимся в этот шоколад и будем рвать его друг у друга, как голодные собаки. Мы будем драться, а они будут снимать, а потом показывать у себя в Америке...

Я крикнул:

— Киндер, пас! — и он мастерски пасанул мне эту плитку, а я с ходу послал ее Котьке — пусть тоже подержится: шоколад ведь!

Аппарат американца стрекотал, а сам он кричал: «Это шоколад, это шоколад!» А мы гоняли этот шоколад. И еще бы долго гоняли, если бы Вовка Жереб не пасанул его американцам. Тогда Киндер прыгнул на плитку, и понеслось...

— В Кейптаунском порту, — пел Киндер, — с какао на борту «Жанетта» поправляла такелаж...

Мы тоже вопили, а шоколад расползался под тапочками Киндера. Но Киндер не обращал на это внимания и топал ногами так, что поднялась пыль.

Потом Киндера стошнило. Он изгибался и рычал, как будто его выворачивало наружу. Мы бросились ему на помощь, но он лег на землю и стал громко и часто дышать. Мне показалось, что Киндер умирает.

Невысокий американец повернулся и пошел прочь. За ним потянулись остальные. Американцы, вдруг свернув с дороги и карабкаясь по камням, скрылись за стеной разрушенного дома. Вся правая сторона этого квартала лежала в руинах. Ее можно было пройти насквозь вдоль и поперек.

Нащупав рогатку, я кинулся следом. Я не собирался стрелять в кого-нибудь из них, нет. Я только собирался хорошим выстрелом разбить киноаппарат.

Я прошел напересрез и спрятался за кустами сирени перед стенкой, в которой была дыра. Я видел, как они остановились, и уже поднял рогатку, когда тот, что был поменьше остальных, вдруг врезал верзиле по роже.

Они стояли друг против друга, один ниже другого на голову и намного поуже в плечах.

Верзила мог убить своего противника одним ударом.

Третий американец, задрав голову, смотрел на небо. Вверху кружились чайки.

«Чайки над берегом. Будет шторм, — подумал я, — обязательно будет шторм».

А третий все смотрел на чаек. Он молчал. Он делал вид, что ничего не видит. Тогда тот, что был поменьше, снова врезал. На этот раз он бил хуком. Верзила отлетел в сторону и по стене сполз на пол. Он сидел на земле, расставив ноги, и не решался встать. Это стоило показать ребятам. Я бросился за ними. Но, не добежав до них, я увидел, как перепачканный сажей и известью верзила выбежал на дорогу и, оглядываясь, понесся на угол, откуда была видна бухта и пароход.

«Виктория» ушла через три дня. Все эти дни на берег выезжали амфибии, гру-

женные ящиками. В ящиках были подарки. Через месяц мама принесла мне ковбойку, бежевое пальто из верблюжьей шерсти и нательный комбинезон, который я почему-то стеснялся носить.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭСКАДРЫ

Утро 5 ноября было пасмурным. С Северной стороны порывами дул ветер, гнал серые волны на каменную стенку Приморского бульвара, пена подлетала высоко, падала на стены бывшей биостанции, где до войны был аквариум. У выхода из пустынной бухты сиротливо чернел маленький вахтенный буксирчик. Над Инкерманом собирались тучи. Казалось, что пойдет дождь. Поэтому во время переменки мы с Котькой остались в классе доигрывать в морской бой.

Мы играли в морской бой и ни на кого не обращали внимания, хотя в углу боролись два брата-близнеца Кравченко, по прозвищу Пчелы. Их прозвали так потому, что они напоминали пчел, вечно шумели и задевали друг друга. Сначала они боролись, но потом Игорь вылил Борису в рот чернила, и дальше их уже пришлось разнимать. Это сделал Вовка Жереб. Но тогда они вместе напали на Жереба, потому что им всегда было все равно с кем драться: друг с другом или вместе против третьего. Пришлось бросить морской бой и разнимать их. Потом уже весь наш класс разнимал друг друга. Драка кончилась, потому что вдруг раздался грохот. Я решил, что обвалилась школьная стена. Все притихли и уставились на потолок. Грохот повторился снова и снова. Где-то стреляли из орудий. Мы бросились наверх. Под ногами затрещала штукатурка и зазвенели осколки стекол.

На втором этаже я увидел Гешку и протиснулся к нему.

— Смотри, — взволнованно сказал он. — Возвращается...

В бухту медленно входила эскадра: трехтрубный крейсер с высокими башнями заслонил от нас стены Константиновского равелина.

— «Красный Крым», — сказал Гешка.

Гешка узнавал корабли, которые мы не видели три года. Они шли в кильватер, пять великанов, четыре крейсера и линкор.

Эскадра салютовала. Линкор стрелял из главного калибра. Грохот стоял такой, что можно было оглохнуть. В ушах звенело.

— Открывай рот, когда стреляют! — крикнул мне Гешка. Сбоку появился Котька.

— Айда на Приморский! — крикнул он. Мы побежали в класс за портфелями. Когда в классе собрались все, вошла учительница Мария Сигизмундовна.

— Эх, — сокрушенно сказал Котька. — Не успели...

Я не ответил. Во все глаза я смотрел на нашу учительницу. Только теперь я заметил, что она в новом платье и вообще какая-то необычная.

— Дети, — сказала она и улыбнулась, — ну вот и вернулись ваши отцы. Идите встречайте их.

Мы крикнули «ура» и бросились к выходу.

У выхода из школы уже стоял Витька Барабанщик и во всю силу наяривал марш турецких янычар: «Ту-ту, ту-ту, па-па, па-па, ту-ту-ту-ту, па-па, па-па». К нему бежал горнист, на бегу вставляя мундштук.

Мы не стали ждать, когда все соберутся, потому что там, где барабан, там и знамя; там, где знамя, там и строй, значит, надо идти в ногу. А кто же хочет идти в ногу, если вернулась эскадра. Ее ждали с 9 мая 1944 года. С тех пор как освободили Севастополь. И вот она вернулась. Это значит — будет салют. Это значит — победа.

Мы с Котькой бежали по улице, но бежали не только мы. На Приморском уже

было тесно. Мы протиснулись вперед и присели на камни.

Ветер стих, но море все еще было неспокойно. Брызги летели на наши лица, на одежду. Мы их не замечали. Совсем недалеко от нас у огромных бочек стояли серые гигантские корабли. На кораблях семафорили. К берегу неслись катера с крючковыми на корме. Катера швартовались у Графской пристани.

— Вечером нас отпустят на берег, — кричали матросы женщинам, которые толпились на причале, — вечером!

Это нам быстро надоело. Мы решили бежать на Телефонную пристань, куда швартовались только что прибывшие эсминцы, но тут к нам подошел Шурка Цубан.

— Пацаны, что это вы здесь делаете? — спросил он.

— Смотрим, — сказал Котька. — На катера смотрим.

Шурка вдруг понизил голос:

— Аля со мной! Вот такая идея, — и он вытянул большой палец.

Мы следом за ним перебежали на другую пристань, где стояли яличники и курили. Они ждали пассажиров.

Катера еще не ходили. Их просто не было. Ни старых, ни новых. Пока через бухту переправлялись на яликах. На Корабельную сторону стоило три рубля, на Северную – пять. На Корабельную еще ходили два автобуса, на Северную — только ялики.

— Стойте здесь, я сейчас, — сказал Шурка и осмотрел яличников. Все это были старики. Они ловили рыбу и зарабатывали на перевозе. От них всегда пахло рыбой. Утром они привозили рыбу на базар и оставляли там своих жен, а сами мыли ялики и гребли к Графской. Мы знали многих из тех, кто стоял здесь. Шурка подошел к дяде Остапу, у которого был моторный баркас. Дядя Остап как раз подтягивал свой баркас поближе, чтобы он не бился о соседний ялик. Шурка махнул нам рукой. Мы подошли.

— Дядя Остап, — сказал он, — пошли в море к кораблям.

— Катись, — сказал дядя Остап, не обращая на нас никакого внимания.

— Чудак, — сказал Шурка, — ты что, зыби испугался?

Дядя Остап посмотрел на Шурку так, будто его тридцать лет не видал. На Шурку это не подействовало.

— Сам подумай, — сказал он, — мы первые. Они нам сейчас папирос, махорки набросают. Свои ведь вернулись.

— А ты ведь дело говоришь, — сказал дядя Остап. — Прыгайте в лодку, Цубан, на руль.

Оттолкнулся от пирса и крикнул остальным:

— Мы пошли до эскадры. Может, махоркой разживемся.

— Садитесь на весла, — приказал он нам и склонился над мотором.

На пирсе забегали рыбаки. Они быстро отвязывали концы и прыгали в свои ялики. Перевоз вмиг опустел. Как назло, наш мотор завелся не сразу. Несколько раз он было зафырчал, но через два-три оборота глох. Дядя Остап ругался и откачивал насосом замасленную воду. Наконец мотор заработал.

— Правь на линкор, — велел дядя Остап. Шурка круто повернул руль, и нас залило.

Дядя Остап выругался и сам сел на руль.

Встречная зыбь била в скулы баркаса, обдавая нас холодными солеными брызгами. Время от времени нас заливало, и тогда по дну баркаса начинала перекатываться вода. Мы черпали воду консервными банками и выливали ее за борт.

Линкор вырастал впереди из моря, как скалы на мысе Феолент. Он был широк, раза в два шире, чем крейсер. Из бортов торчали орудия.

Мы подошли к линкору почти вплотную. Чтобы увидеть людей на палубе, пришлось сильно задирать голову. Зыбь налетала на броню. Звук был как от пощечин. Нас мог-

ло разнести в щепки. Дядя Остап не глушил мотор. Он обвел баркас вокруг линкора и подвел его с подветренной стороны.

На палубе толпились матросы. Они махали нам бескозырками, что-то кричали, но из-за мотора их не было слышно.

— Отталкивайтесь, когда надо будет! — крикнул дядя Остап и заглушил мотор. Он сел на весла.

Мне хотелось кричать «ура». Мне хотелось потрогать линкор руками. Мне хотелось подняться на его палубу. «Милый, хороший линкорчик», — шептал я. Я вел себя, как девчонка.

— Корешки, — вдруг крикнул Шурка, — махорочки киньте!

Дядя Остап, бросив весло, дернул его за штаны. Шурка плюхнулся на мокрые рыбины.

— Чего ты? — заорал он.

— Молчи, — сказал дядя Остап. — Ты что, не видишь, линкор вернулся. — Он шмыгнул носом.

«Вот так черт», — подумал я.

— Братцы! — кричали сверху. — Земляки...

Кто-то крикнул в мегафон:

— Отец, подвали к трапу!

У трапа стоял мичман.

— Ну, как там? — спросил он. — Сильно, да? Все глаза в бинокль просмотрел. Содом и Гоморра.

Дядя Остап сокрушенно махнул рукой.

— А твой дом где?

— На Розочке.

— Ну, Розочка еще ничего! — крикнул дядя Остап. — На улице Розы Люксембург уже кое-что восстановили. Строится уже народ. Халабуды понаделали, мазанки.

Ему хотелось поговорить, но нас качало, и баркас было трудно держать у трапа.

Наверху застучали матросские ботинки, и матросы, став цепочкой, стали передавать мичману хлеб, банки с тушенкой, коричневые пачки с махоркой и даже две пачки папирос «Дюбек».

Шурка кланялся и кричал:

— Спасибо, корешки...

Мичман засмеялся.

— С такой гвардией мы мигом город восстановим, а?..

— Восстановим! — крикнул дядя Остап. Мы крикнули: «Спасибо» — и дядя Остап подналег на весла.

Когда он завел мотор, мы с Котькой открыли банки с американской колбасой. Шурка нарезал хлеб. Колбаса попалась уже нарезанная. Мы уничтожали бутерброды и смотрели на удаляющийся линкор.

— Житуха, — сказал Шурка.

Мы выкурили еще по папиросе. Потом дядя Остап разделил тушенку и хлеб. Папиросы и махорку он забрал себе.

— Вам баловаться, а мне курить, — сказал он.

К вечеру море утихло. От кораблей отвалили большие серые баркасы. Они выбрасывали партию матросов на берег и возвращались за следующей.

На берегу играл духовой оркестр. На берегу стояли тысячи севастопольцев. На площади Ленина обнимались, кричали, и плакали, и смеялись. Мы с трудом протискивались в толпе, и вдруг мне захотелось побыть одному. Я повернулся и пошел обратно.

Сначала я пробрался к самой пристани и стал смотреть, как матросы выходят на берег. Творилось что-то непонятное. Один матрос обнимал мраморную колонну на Графской, гладил ее. Другой плакал в объятиях слепой женщины. Не знал я, что матросы умеют плакать.

На Приморском бульваре уже никто не плакал. По аллеям ходили девушки под ручку с матросами. Напротив памятника Погибшим кораблям стояли братья Кравченко, держа за руки невысокого моряка, и на их рожах было написано, что это их отец. Братья ничего не замечали. Они орали оба сразу и размахивали руками.

«Сегодня вернулась эскадра, сегодня праздник... Сегодня весело... Дети, вы дождались своих отцов... своих отцов!»

Я влез в пулеметное гнездо на спуске к морю и скрутил самокрутку. Самокрутка получилась мокрой и толстой. Спички у меня были. Я закашлялся — махорку я курил впервые. Кашлял и думал: «Почему я не плачу, ведь я очень любил своего отца?»

От махорки кружилась голова. На полу валялись гильзы. Это были немецкие гильзы. С ободком. Я ткнул одну ногой, она зазвенела.

— Там кто-то есть, — прошептал женский голос за стеной. Отверстие заслонило чье-то лицо. Лицо уплыло. Остался кусок неба с рваными, как у осколков, краями. Темно-сиреневый осколок с голубыми звездами. Я затянулся в последний раз.

...Возле моря стоял Шурка. Он держал в руках флотский ремень.

— Видал? — сказал он. — Совсем новый. Хочешь, тебе достану? Они сегодня все добрые.

— Не стоит. Иди достань себе бескозырку, — сказал я.

— Идея, — сказал Шурка, примеряя ремень. Он все еще был велик, и Цубан повозился с ним, пока ремень не стал как раз. Он ушел за бескозыркой.

Я сел на камни у самой воды. Море горбило свою спину. Море почесывалось о черные камни и тихо урчало. Утренний шторм поднял зеленые скользкие листья морской капусты и облепил ими скалы. И запах был сильный, запах моря.

Если броситься в море, то сначала будет очень холодно и в воде рассыплются короткие голубые искорки... В голове плыло... Вспомнилось что-то очень далекое... Было холодно, и отец был в шинели, когда я поскользнулся и хлопнулся в воду. Отец выдернул меня из воды и укутал в шинель. Потом мы ехали на такси и у меня стучали зубы. Но заболел не я, а он — «от переживаний», как сказала мама.

Это произошло на этом самом месте, где теперь сидел я. Отец вообще любил сидеть на этом камне...

Я вздрогнул, когда почувствовал на своей спине чью-то большую теплую руку.

— Ты не дождался его?

Я кивнул. Я не поворачивался, чтобы человек не убрал свою руку.

— Ну ничего. Дождешься.

— Нет, — сказал я, — девятого августа сорок первого года под Киевом...

— У меня тоже, — сказал он. — Всех. Здесь, в Севастополе. Я ходил сейчас туда. Одна стена стоит. Других нет... Спинка от кроватки сына... Он твой ровесник... был...

Позади слышалась буйная чечетка под аккомпанемент аккордеона.

— Знаешь, им всем повезло. Они уже отвоевались. Слышишь, как танцуют?

— А тебе?

— Для меня война еще не кончилась. Подал рапорт. Думаю, отправят после праздников.

Сначала стало светло, потом раскололся воздух.

Со мной рядом сидел старшина второй статьи. Он был какой-то очень большой. Еще я заметил глубокий шрам через всю левую щеку. Старшина взъерошил мне волосы.

— Не бойся, — сказал он. — Это салют.

Ракеты опускались медленно. Некоторые падали в воду, и в том месте вода светилась. С Хрусталки били трассирующими из автоматов. Чечетка позади стала совсем бешеной. Когда взлетали ракеты, видно было, как мелькают ноги матросов. И сверкали клавиши аккордеона...

БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА

В одном из путеводителей по Берлину я прочитал:

«В конце Унтер-ден-Линден, в направлении западноберлинского района Тиргартен, стоят знаменитые Бранденбургские ворота, построенные

в 1788—1791 гг. Лангхансом как „Ворота мира"».

...Я сидел в подвале, превращенном в кинотеатр, в душном сыром подвале, единственном кинотеатре в городе, где война пощадила всего семь зданий, и где ютились в руинах несколько тысяч женщин и детей, и где ветер поднимал смерчи пыли, где не было электричества и вечера проходили под мерцание коптилок, сделанных из зенитных гильз, где женщины не спали, тоскуя по убитым мужьям.

...Я сидел в кинотеатре, уставившись на экран — кусок побеленной стены, — и видел Хиросиму... или Нагасаки... после атомной бомбардировки... и впервые все мы, уже пережившие войну и, быть может, потому такие мудрые... как мудрые старички... смотрели на экран с чувством все нарастающей тревоги:.. словно уже наперед знали, чем все это обернется для всех живущих на земле...

словно догадывались, что эти сверхбомбы наши союзники адресовали не только японцам, но и нам...

словно нам уже известны были слова рослого плечистого генерала Лесли Гровса, сказанные им в американском конгрессе: «Уже через две недели после того, как я принял на себя руководство Манхэттенским проектом *, я никогда не сомневался в том, что противником в данном случае является Россия и что проект осуществляется именно исходя из этой предпосылки»...

словно на экране мелькали не кадры кинохроники, а демонстрировалась секретная карта — приложение к директиве Объединенного комитета военного планирования США за номером 432/Д от 14 декабря 1945 года, на которой были выделены Москва, Ленинград, Киев и еще семнадцать промышленных городов нашей страны, намеченные для атомной бомбардировки...

словно мы заранее знали, что наши союзники за океаном не ограничатся директивой, а будет разработан и утвержден план, названный именем римского императора — «Траян», согласно которому 1 января 1950 года с ближайших от советской границы аэродромов поднимутся все те же «летающие крепости» «В-29», несущие в своих люках атомные бомбы, и на огромной высоте, недоступной для зенитного огня, пересекут границу, чтобы сбросить свой страшный груз на семьдесят наших городов...

знали, что на смену плану «Траян» придет план «Дропшот» * — атомный вариант уже известного плана «Барбаросса» — внезапный налет натовских бомбардировочных армад — тысячи самолетов с обычными бомбами — и триста летающих атомоносцев, поднятых 1 января 1957 года, чтобы стереть с лица земли сто наших городов, — разом миллионы убитых и облученных, тысячи испарившихся мужчин, женщин и детей — и вместо реквиема бодрящие ритмы буги-вуги — а с запада и юга зубья танковых клиньев — следом бронетранспортеры, «форды» и «студебеккеры» с солдатами: 69 американских и 95 натовских дивизий — американский вариант блицкрига, санкционированный президентом Трумэном, в которого уже вселился дух берлинского маньяка...

Еще я вспомнил, как в сорок четвертом в Ялту приехал предшественник Трумэна на посту президента Франклин Делано Рузвельт, его умное доброе лицо, его кресло на колесах и сильные мужские руки поверх пледа... который накануне войны усмирил американских фашистов и объявил войну гитлеровской Германии... который поднял волну уважения к Америке и американцам, вселив надежду, что после

* Кодовое наименование секретных работ по созданию атомного оружия.

* Теннисный термин, означающий короткий подсекающий удар.

войны мы останемся друзьями... и который должен был бы сидеть за этим круглым столом в Цецилиенхофе... в этом сводчатом зале, где вопреки ожиданиям людей, страждущих мира, не по нашей вине родилась угроза ядерной войны.

Лидер первых американских колонистов Джон Уинтроп, ступив в 1630 году на Массачузетский берег и глядя на своих спутников, сказал, что взоры всего человечества устремлены в данную минуту на них и что они, пришедшие с ним в Новый Свет, могут стать «сияющим городом на верху горы...»

6 августа 1981 года — в годовщину бомбардировки Хиросимы — поклонник Джона Уинтропа сороковой президент США подписал приказ о промышленном производстве первых нейтронных бомб, снарядов и боеголовок для ракет...

И было символично, что в мае 1985 года — в сороковую годовщину Победы над фашистской Германией — этот человек, уже ставший сорок первым президентом США, в сопровождении канцлера ФРГ Гельмута Коля посетил военное кладбище в Битбурге и возложил цветы на могилы эсэсовцев.

И было с его стороны недальновидной жестокостью в канун сороковой годовщины атомной бомбардировки Хиросимы отвергнуть предложение нашей страны о совместном моратории на ядерные испытания. «Когда же это может случиться? — был задан ему вопрос на пресс-конференции в Белом доме. — Через год?» — «Не знаю, не знаю», — раздраженно ответил президент.

. . . . . .

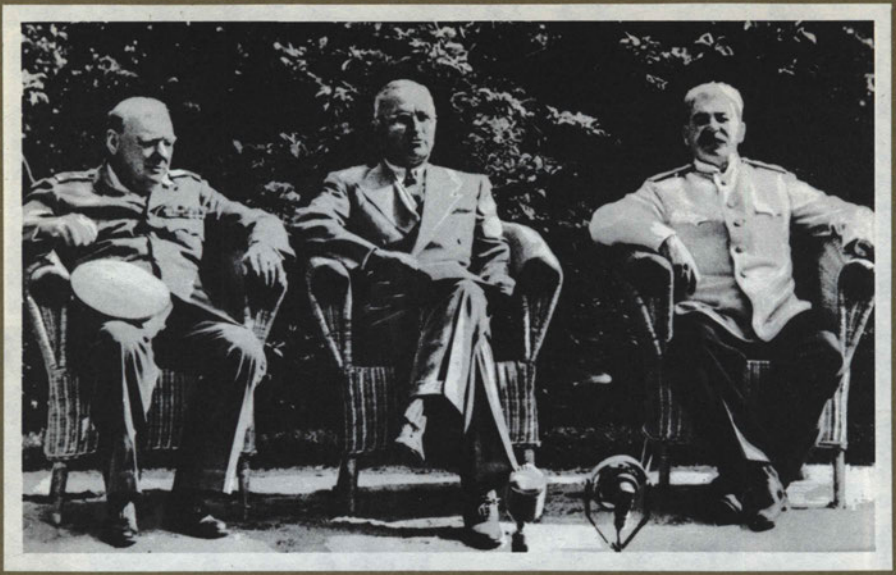
...По темно-серой, как мокрый асфальт, поверхности Шпрее плыли лебеди, и волнистый, будто выложенный шифером, клин тянулся за ними следом...

И маленькая девочка, которая еще ничего не знала ни о мировых войнах, ни о ядерных бомбах, ни о программе «звездных войн», присев на корточки, цветными мелками рисовала на тротуаре картину: светило щедрое солнце... вырос цветок... и теперь строился дом...

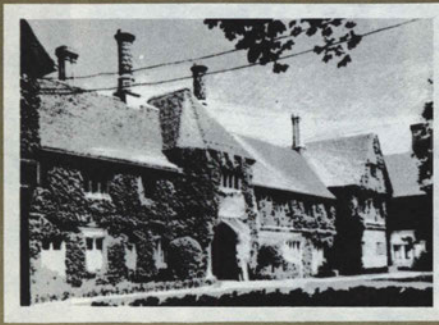
Символично, что освобождение Севастополя и штурм Берлина снимали одни и те же фотокорреспонденты. Символично, что флаг над куполом панорамы взвился 9 мая 1944 года — до Победы оставался ровно один год.

Этот снимок сделан накануне. В безмятежном майском небе наши истребители, но город еще находится в руках врага. Стотысячная 17-я немецкая армия в траншеях, окопах, в дотах и дзотах, на батареях ждет начала штурма. Приказ Гитлера категоричен: Севастополь не сдавать! Немцы помнят, как долго они не могли овладеть этим городом, теперь они намерены показать, что тоже не лыком шиты, в Берлин уходит радиограмма: «Русские удерживали Севастополь восемь месяцев, мы будем удерживать его восемь лет!»

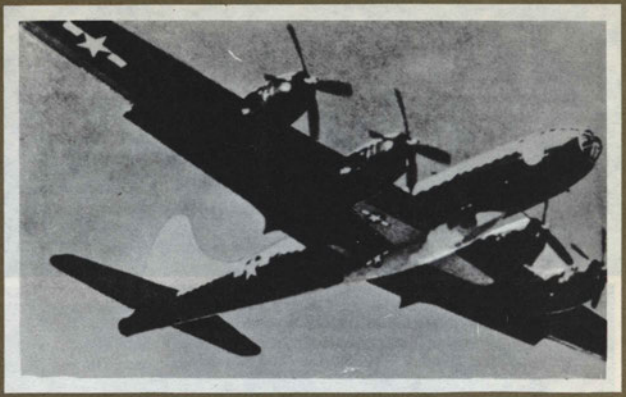
Глядя на эти кадры военной хроники, вспомним слова английского журналиста: «Одной из загадок войны останется вопрос, почему в 1941—1942 годах, несмотря на подавляющее превосходство немцев в танках и авиации и существенное превосходство в людях, Севастополю удалось продержаться 250 дней и почему в 1944 году русские взяли его за четыре дня!»

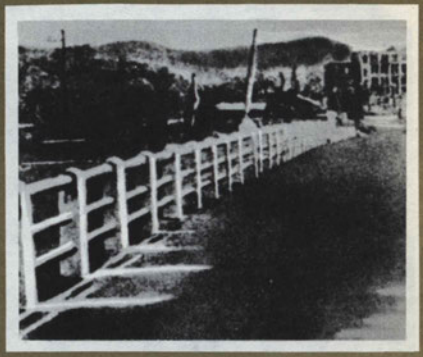


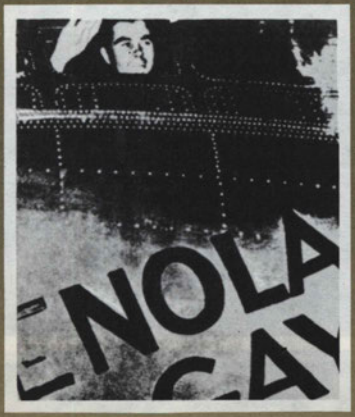
В Потсдаме Трумэн уже не только знал об успешном испытании атомной бомбы, он знал больше, в его мозгу пульсировали четыре слова: Хиросима, Кокура, Нигата, Нагасаки.



6 августа в 2 часа 45 минут «летающая крепость» Э н о л а Г э й, пилотируемая полковником Тиббэтсом, начала разбег на аэродроме острова Тиниан. В 8 часов 14 минут 15 секунд на Эноле Гэй раскрылись створки бомбовых люков, и бомба, прозванная Малышом, полетела вниз — на Хиросиму.



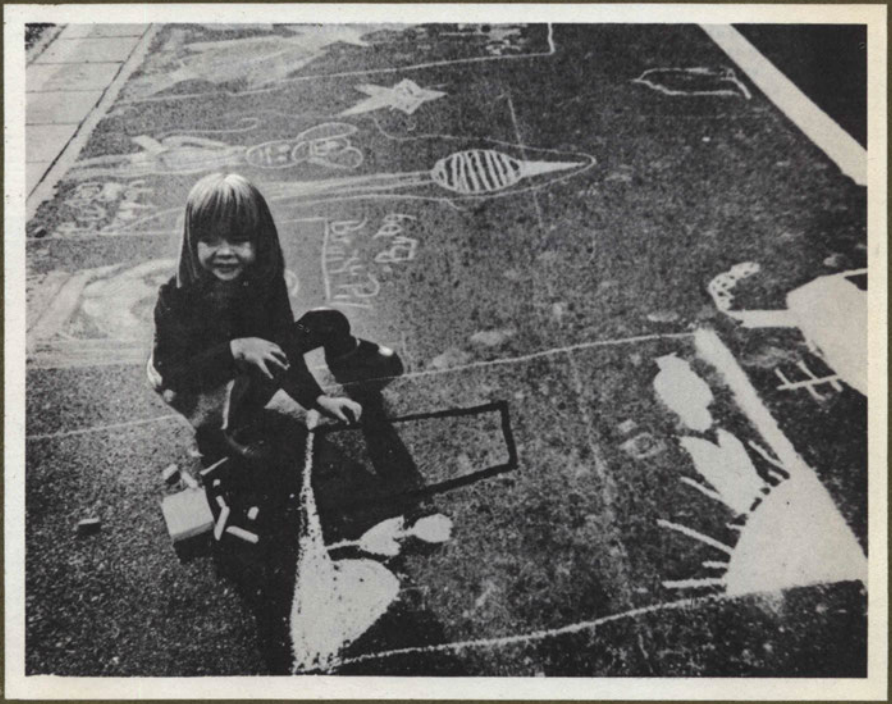




Тени людей, испарившихся в то страшное утро на мосту Анои в Хиросиме...

И признание Пола Тиббэтса, возведенного в ранг национального героя Америки: «Если бы сейчас сложилась такая же ситуация, как и сорок лет назад, я, не задумываясь, сбросил бы еще одну атомную бомбу».

А в Берлине, неподалеку от Бранденбургских ворот, маленькая девочка цветными мелками рисовала на асфальте картину: светило солнце... вырос цветок... и теперь строился дом...



ОГЛАВЛЕНИЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ В ТОТ ИЮНЬ 7

КРАСНЫЕ СТЕНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ 21

МИНЫ НА ФАРВАТЕРЕ 41

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КИЕВ 65

СРАЖАЮТСЯ АРМИИ, ПОБЕЖДАЮТ ЛЮДИ 87

ВКУС МЕДНОЙ ПРОВОЛОКИ 123

БРАНДЕНБУРГСКИЕ ВОРОТА 153

ДЛЯ СТАРШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Черкашин Геннадий Александрович

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ответственный редактор И. И. Трофимкин.
Художественный редактор В. Н. Данилов.
Технический редактор Л. Б. Куприянова.
Корректоры Т. Г. Янина и Л. Н. Комарова.

ИБ 8131

Сдано в набор 17.04.86. Подписано к печати 11.10.86. Формат $84\times90^{1}/_{16}$. Бумага офсетная № 1. Шрифт обыкновенный новый. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18,2. Усл. кр.-отт. 37,8. Уч.-изд. л. 18,59. Тираж 100 000 экз. М-18286. Заказ № 55. Цена 1 р. 30 к. Ленинградское отделение орденов Трудового Красного Знамени и Дружбы народов издательства «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 191187, Ленинград, наб. Кутузова, 6. Фабрика «Детская книга» № 2. Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 193036, Ленинград, 2-я Советская, 7.

Черкашин Г. А.

Ч48 Возвращение: Повесть/Оформл. А. Карпова. — Доп. переизд. — Л.: Дет. лит., 1986. — 206 с., ил.

В пер.: 1 р. 30 к.

Книга «Возвращение» — это возвращение в детство, в далекие, но незабываемые дни Великой Отечественной войны. Возвращение к памяти тех, кто не дожил до победы, к памяти известных и безымянных героев, остановивших и разбивших бронированную машину фашизма.

Р2

Ч $\frac{4803010102-189}{М101(03)-86}$ Без. объявл.

Larisa_F